Заур Зугумов

БРОДЯГА

Заглянуть
в глаза смерти,
чтобы ощутить
вкус к жизни

ПОБЕГ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Вторая книга Заура Зугумова не менее трагична и насыщена событиями, чем первая. Трудно поверить, что правда может быть настолько ошеломляющей. Каково быть несправедливо осужденным, нести на себе крест ложных обвинений в самых тяжких преступлениях, пережить все ужасы зон и тюрем, утрату друзей и близких, пройти через смертельную болезнь… Беспощадный рок, бессилие, страх и отчаяние преследуют узника, но несломленный дух и вольное сердце не дают ему упасть, удерживая на краю, давая шанс выжить и сохранить человеческое достоинство…

В долгие тюремные ночи можно проиграть в карты все, но можно и выиграть многое… честь, свободу… и даже саму жизнь.

- Заур Зугумов
  - Часть I
    - Глава 1
    - Глава 2
    - Глава 3
    - Глава 4
    - Глава 5
    - Глава 6
    - Глава 7
    - Глава 8
    - Глава 9
    - Глава 1
    - Глава 11
    - Глава 12
    - Глава 13
  - Часть II
    - Глава 1
    - Глава 2
    - Глава 3
    - Глава 4
    - Глава 5
    - Глава 6
    - Глава 7
    - Глава 8
    - Глава 9
    - Глава 10
    - Глава 11
  - Часть III

- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Глава 4
- Глава 5

○ Часть IV
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Глава 4
- Глава 5
- Глава 6
- Глава 7
- Глава 8

○ Часть V
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Глава 4
- Глава 5
- Глава 6
- Глава 7
- Глава 8
- Глава 9
- Глава 10
- Глава 11
- Глава 12
- Глава 13
- Глава 14
- Глава 15

○ Часть VI
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Глава 4
- Глава 5
- Глава 6
- Глава 7
- Глава 8
- Глава 9
- Глава 10
- Глава 11
- Глава 12
- Глава 13

        - Глава 14
        - Глава 15
        - Глава 16
        - Глава 17
        - Глава 18
    - Словарь
    - Приложение
- notes
    - 1
    - 2
    - 3

Заур Зугумов
Бродяга. Побег

Часть I
Побег

Глава 1
Подготовка к свалу

И вот наступил наконец день нашего побега. Это был первый день лета, а значит, и день моего рождения — 1 июня 1975 года. Как описать чувства, которые переполняют вас, когда уже сегодня вы должны перейти Рубикон, который может предстать перед вами в виде колючей проволоки, забора, «паутины», тропы наряда, а может быть, и вагона с тарной дощечкой? Думаю, что описать их сможет лишь тот, кто их испытал.

День этот выбран был, конечно, неслучайно. Мы рассчитали заранее, что в этот день менты искать нас особо не будут, да и шума поднимать не станут, решив, что мы спим где-то пьяные. Я еще задолго до дня рождения рассказывал многим, как бы хвастаясь, как я широко намерен его отметить. Этот совет был дан мне покойным Абвером [1]. Таким образом, мы выиграли некоторое время, которого так не хватает всегда беглецу. Конечно, некоторые детали плана я уже дорабатывал большей частью с Артуром. Нам также пришлось дополнить нашу экипировку и взять кое-что еще из припасов.

И вот как был претворен в жизнь первый этап плана побега. Накануне дня рождения мы были в ночной смене, а утром на съем [2] поставили вместо себя других, таким образом оставшись на бирже. Окружающие эту перестановку восприняли нормально, без подозрений, ибо этот день, как стало уже всем известно, был днем моего рождения, а такие действия практиковались в зоне частенько.

С утра, как только ночные смены ушли на съем, мы спрятались в штабе рядом с платформой и стали ждать утреннюю смену. Сороковая бригада, в которой работали наши подручные, выходила с утра. На воротах цеха мы нарисовали большого кота углем, как было условленно. Это означало, что мы притаились и ждем. Ждать, к счастью, пришлось недолго.

Здесь, в лагере, в отличие от свободы, администрация пыталась вдолбить всем и каждому: ни одной лишней минуты перекура или обеда, ни секунды бездействия или простоя; каждая секунда — премиальные деньги, каждая минута — чины и награды. Поэтому из работяг пытались выжать максимум, пока была возможность пользоваться дармовой рабочей силой, то есть пока не кончался срок.

Вагон вместе с автоматчиком подкатил к цеху, и началась обычная суета, какая бывает в таких случаях. Наша общая задача

заключалась в следующем: пока грузится вагон с тарной дощечкой и одновременно нашими подручными делается схрон, мы должны проскочить незамеченными в вагон. Это и был первый этап.

Затаившись в штабеле, как два диких зверя, выжидающих добычу, и вперяя свои взгляды в щель на платформу, мы терпеливо ждали удобного случая и следили, ни на секунду не отрывая взора от открытого вагона. Тарная дощечка — это брикеты (70 х 50 см), скрученные проволокой с четырех сторон. Грузили ее, конечно же, наши друзья.

Все было заранее приготовлено. Несколько досок — пятидесяток и пятиметровок — лежали неподалеку, и между делом их уже успели закинуть в вагон. Для этого они придумали такой способ: таскать брикеты по шесть штук на доске, чтобы быстрее загрузить вагон. Такая инициатива всегда нравилась конвою и не внушала подозрений. Таким образом, пока была загружена половина вагона, схрон был уже почти готов и все необходимые нам вещи лежали там и ждали нас.

Для того чтобы пронести их в вагон, потребовалась некоторая изобретательность. Тарную дощечку сбили гвоздями в виде двух брикетов, при этом внутри она была пустой, а сверху накрывалась крышкой. Таким образом, не привлекая ничьего внимания, в вагон и были занесены на доске два хорошо отточенных ножа с удобными рукоятками, такими, с которыми в старину ходили на медведя; узкое, хорошо отцентрированное по дереву полотно, 22 метра тонкого шелкового шнура, фонарь, смотровая труба, карта, часы, наследство покойного Абвера, деньги, две баночки с жеваным раствором елейника — чтобы сбивать собак со следа, лейкопластырь, мазь для ран, остро отточенные с обеих сторон маленькие гвозди-скобы, три бинта, флакончик с йодом, по два широких кожаных ремня и баночка из-под кофе с древесным клеем, специально перемешанным с раствором елейника и предназначенным замазывать щели в стенах и полу вагона.

Вагоны, которые загоняли на биржу, были все старые, со сгнившей древесиной, но, даже если бы они были и новыми, процедура не была бы изменена. Так было намечено, заранее предусмотрено, и мы должны были строго придерживаться разработанного плана. Ни табака, ни сигарет, ни махорки с нами не было. Со дня побега мы автоматически бросали курить. Почти все, зависящее от наших подельников, было сделано, но подходящего момента, чтобы проникнуть в вагон, все еще не было.

Уже начали загружать вторую половину вагона, и мы не на шутку забеспокоились — читатель согласится с тем, что было от

чего. Но не мы одни проявляли это чувство. Наши друзья тоже начали нервничать, им приходилось потруднее нашего, ну а учитывая их образ жизни вообще, с их стороны этот поступок можно было считать просто геройством. Мы хорошо все понимали.

Автоматчик стоял как вкопанный возле вагона, а рядом с ним стоял учетчик, и уже почти час ни тот ни другой не трогались с места. Один считал, другой смотрел. Тут и мышь не смогла бы проскочить, но мы все же проскочили, и опять это была заслуга наших подельников: изобретательности им было не занимать. От основной ветки железной дороги, которая опоясывала биржу, отходили ветки по 50—100 метров в длину к каждому цеху, который производил что-либо на вывоз за пределы биржи. Была специальная бригада стрелочников, члены которой, получив с утра разнарядку, ходили целый день, передвигая стрелки в ту или другую сторону в зависимости от погрузки. Таким образом, к концу смены формировался целый состав с готовой продукцией у внутренних ворот биржи. Каждый день ровно в пять часов вечера поверхностно проверенный состав выводили с территории биржи на станцию Железнодорожная, где его формировали для отправки по стране.

Но главное — он проходил на станции капитальный шмон с собаками. Пройдя его, беглец мог быть наполовину уверен, что он ушел. Основная ветка по бирже проходила почти перпендикулярно дальней от нас стороны вагона. И вот, выждав момент, когда стрелочник, перекинув маятник стрелки, пошел дальше, один из подельников в мгновение ока спрыгнул с платформы и, подбежав к стрелке, установил ее на прежнее место. Стрелка была за вагоном, поэтому ни десятник, ни автоматчик его не видели, зато мы его видели хорошо; мало того, он даже дал нам знак рукой, чтобы были на стреме. Мы поняли его и стали ждать, что же будет дальше.

К счастью, ждать нам пришлось недолго. Примерно через полчаса тепловоз с несколькими вагонами выскочил из-за фибролитового цеха и неожиданно для всех завернул на нашу колею. Испуганный стрелочник побежал вперед, махая руками и крича что-то в расчете на то, что он успеет перекинуть стрелку назад, пока машинист тормозил локомотив. Но, к счастью для нас, было уже поздно. Почти одновременно визг и скрежет тормозов совпали с ударом тепловоза о наш вагон. Солдат от неожиданности, в испуге (а он как ни в чем не бывало до этой минуты разговаривал с учетчиком) споткнувшись, отскочил от вагона и упал с платформы прямо рядом с рельсами, и только чудо спасло его от неминуемой гибели. Мне даже показалось, что

я видел, как его волосы встали дыбом. В тот же момент десятник, надо отдать ему должное, спрыгнул с платформы, чтобы помочь ему.

Этого момента нам хватило с лихвой, чтобы в доли секунды перескочить через баланы и буквально влететь в вагон, тем более что от сильного толчка он приблизился к нам на несколько метров. Мы недолго думая вскарабкались под крышу и спустились в схрон. Один из подельников стал тут же закрывать нас брикетами, другой же стоял на атасе. Но все было сделано так быстро и проворно, что никто ничего не заметил.

Кому не приходилось хотя бы раз в жизни вступать в мрачную пещеру неведомого? Когда кончился весь этот кипиш, поднятый из-за столкновения, и тепловоз отошел по своему первоначальному маршруту, солдат зашел в вагон и стал внимательно проверять груз. Мы притаились, но что он мог заметить? Мы сидели на полу вагона, в углу, схрон был величиной где-то метр в высоту и два в длину. Всю тяжесть брикетов, высившихся под потолок, удерживали три доски-пятидесятки. А вокруг тем более были сплошные брикеты. Когда мы услышали, как солдат, спрашивая что-то у наших подельников, вышел из вагона, а они разговаривали специально громко, чтобы мы могли услышать, что творится в вагоне, нам стало ясно — нужно готовиться к следующему этапу. Он был посложней, но главным, конечно, оставался шмон за зоной. Нужно было теперь позаботиться о том, чтоб собаки не унюхали нас. Беглец никогда не бывает уверен, что он надежно укрыт, поэтому мы законопатили все щели в полу и в обеих стенах вагона, а их было великое множество. Вагон был совершенно гнилой. Удивительно, как он вообще выдерживал весь этот груз.

Древесный клей вперемешку с елейником отбивал у собак запах человека; мало того, он был до такой степени вонючим, что запах его могли терпеть разве что люди, поставленные судьбой перед самым суровым выбором, вроде нас. Закончив свои приготовления к тому, чтобы удачно миновать Сциллу и Харибду легавых, мы молча стали ждать, что преподнесет нам судьба, но были уверены в том, что все сделали для того, чтобы преодолеть будущую преграду на нашем пути — большой шмон.

Время, как обычно в таких случаях, будто бы остановилось. Мы сидели на полу вагона в абсолютной темноте, тесно прижавшись друг к другу, для того чтобы синхронно менять положение тел, когда становилось совсем уж невмоготу и тела затекали. Каким-то внутренним чутьем я ощущал, что Артур спокоен, это и мне непроизвольно поднимало настроение. Ведь дорога назад уже заказана. Но такая мысль, конечно, никому из

нас не могла прийти в голову даже на мгновение. Мы всей душой пытались вырваться отсюда, но приходилось ждать. А терпение — это великий дар, который дан человеку Богом. В эти несколько томительных часов я впервые ощутил так остро и буквально непреложную истину о том, что ждать и догонять — два самых тяжелых и неприятных занятия в жизни.

Вагон уже давно был загружен, ждали тепловоз, и вот наконец он прибыл. Лязгая буферами, зацепив наш вагон, тепловоз дотащил его к основному формирующемуся составу. Через некоторое время начался поверхностный шмон. Мы, затаив дыхание, замерли, но, слава Богу, все прошло удачно. Мы услышали, как с противным скрежетом открылись старые ворота и состав потащили на станцию.

Глава 2
Заслон

Это была уже свобода, хотя в некотором смысле и здесь нас ждали острые ощущения и, безусловно, одно из главных испытаний. Здесь, на станции, либо это мне только казалось, либо это было в действительности, но даже обычная станционная суета носила какой-то другой характер, резко отличающийся от лагерного. Мы ясно слышали голоса сцепщиков, смазчиков и прочего рабочего люда. Вагон наш таскали то туда, то сюда, и нам казалось, что только его и таскают по всей станции. «Помещение», в котором мы находились, было лишено какого-либо комфорта: нам приходилось сидеть, тесно прижавшись друг к другу, поэтому толчки и дерганье вагона в разные стороны доставляли нам массу неудобств. Мы все были покрыты синяками и ссадинами, но это, конечно, мелочи, на которые я обратил внимание лишь потому, что они всплыли у меня в памяти как неотъемлемая часть воспоминаний о тех далеких и полных опасностей часах.

Наконец состав был сформирован, и его потащили на исходную ветку, откуда он должен тронуться в путь, минуя, конечно, сначала капитальный шмон. Мы опять стали ждать. Кругом стояла почти мертвая тишина. Казалось, все вымерло вокруг — это было так непривычно. Время тянулось мучительно медленно, но я принципиально не смотрел на часы. Вдруг мы ясно услышали откуда-то издалека лай собак и такой знакомый солдатский жаргон, распространенный в этих краях. Могло показаться, что на нас надеты шапки-невидимки, так ясно и четко мы слышали, что творилось вокруг и о чем в метре от нас говорили люди. Когда несколько конвойных с собаками подошли вплотную к нашему вагону, а точнее, к тому углу, где мы затаились, мы перестали дышать как по команде. Наши сердца бились в унисон. Как же велико было наше напряжение, можно только догадываться.

— Боря, глянь, собаки что-то носы воротят от этого вагона, — услышали мы где-то почти рядом противный вологодский говор конвойного.

Наступила пауза, стало тихо как в могиле. Я даже могу с уверенностью сказать, что слышал где-то в нескольких метрах от себя частое дыхание овчарки.

— Да нет, — услышали мы ответ другого солдата, явно подвыпившего. — Это вагоны до такой степени вонючие и старые,

что даже собаки и те нос воротят. Чего только в них не возят, пока они не прибывают сюда, и почти никогда не чистят. Салага! Вот послужишь с мое, тогда не только в запахах, но и кое в чем другом начнешь разбираться. Ну ладно, пошли, нам еще полсостава впереди надо облазить.

Голоса стали удаляться. Думаю, нет надобности пояснять, что мы пережили за несколько минут диалога двух стражей порядка и как были благодарны беспечной самоуверенности жадных до спиртного солдат. Пока мы отходили от только что пережитого, вновь послышался лай псов откуда-то из хвоста поезда. Мы поняли, что идет вторая группа, сторонняя, как ее называли конвойные.

На таких узловых станциях, как наша (а их по ветке было несколько: Воркута, Инта, Печора, Ухта, Железнодорожная, Котлас), их было восемь, шедших одна за другой. Одни шли под вагонами, при этом обязательно было три собаки, две другие шли следом, но уже вдоль вагонов с обеих сторон, и третья — по крыше вагона.

Таким образом, как читатель видит сам, шанс проскочить через этот заслон был ничтожно мал, а учитывая особую породу собак (это были почти всегда немецкие овчарки, натренированные годами именно для этой своей собачьей миссии), он почти сводился к нулю.

Именно лай собак этой сторонней группы мы и услышали. Они шли медленно, до нас доносился разговор солдат и неторопливый шум шагов по гальке насыпи полотна. Они шли почти не останавливаясь, не остановились они и у нашего вагона. Тут мы еле успели перевести дух, как услышали глухой топот кованых сапог по крыше вагона. Это была последняя группа конвоя, а значит, и последний экзамен, который открывал нам дорогу к относительной свободе. А тот факт, чтобы свобода обрела свое действительное значение, зависел почти всецело от нас и немного от капризной Госпожи Фортуны, без которой почти любое крупное дело терпит провал. Итак, мы уповали на Бога, и нас переполнял оптимизм.

В какой уже раз затаив дыхание, мы стали ждать. И как только шум вперемешку с лаем стал удаляться, мы немного успокоились, но ни на долю секунды не позволили себе расслабиться. Мы вновь стали ждать, но уже на сердце, конечно, полегчало. С момента нашего заточения до того момента, когда закончился последний шмон, прошло около двенадцати часов. За это время мы не сказали друг другу ни слова, объясняясь только пожиманиями рук. Так мы договорились заранее и четко придерживались уговора.

Теперь нам предстояло осуществить третий пункт плана побега, и вот в чем он заключался. От станции Железнодорожная, то есть от нашей станции, до станции Котлас Архангельской области были еще Микунь и Урдома, но на них товарняк останавливался крайне редко, а если и останавливался для дополнительной погрузки, то его оцепляли конвоем с собаками, но шмона почти не бывало, исключая поверхностную проверку. Таким образом, доехав до Котласа (а это 250 километров) и пройдя там капитальный шмон, мы могли некоторое время продолжить путь в этом же вагоне, выпилив дно, ибо за Котласом уже ждала нас как бы Большая земля и шмонов не было.

Дальше же нам следовало действовать по обстоятельствам. Главное — у нас имелись деньги. Но станция Котлас была серьезным испытанием для нас. Поэтому еще раньше, когда был жив Абвер, он заметил на этот счет: «Если в дороге ты хоть на долю секунды засомневаешься в том, что сможешь проехать Котлас и не сгореть, тут же пили доску и покидай вагон. Времени, думаю, у тебя хватит: доски в вагонах везде гнилые, и получаса тебе хватит перепилить любую из них тем инструментом, который у тебя есть».

Таким образом, автоматически начинал действовать запасной вариант. Здесь все зависело от того, где именно я выпрыгну. Ибо километр, пройденный по тайге, иногда равен многим тысячам, пройденным по пересеченной местности. Плюс погоня, а без нее не обходится почти ни один побег, и в нашем случае она неизбежна. Весь вопрос в том, смогу ли я проскочить заслон, которым должны будут перекрыть мой путь в районе Котласа легавые. В любом случае я был подготовлен к разным вариантам, но уже в самом начале побега план претерпел некоторые изменения, я имею в виду Артура. И теперь, сидя в темной и вонючей каморке и согнувшись в три погибели, я искал правильный выход из создавшейся ситуации, но здесь вмешался случай — этот перст Божий, посылаемый нам Всевышним, когда на радость, а когда и на горе.

Глава 3
В капкане

Многоголосый стук буферов вагонов возвестил нам о том, что мы тронулись в путь, это было уже утро следующего дня. Поезд, потихоньку набирая ход, стуча колесами о стыки полотна, увозил нас на восток. И только когда он набрал полный ход, мы осмелились заговорить. Ощущение такое, будто мы не разговаривали целую вечность. Пообщавшись немного, поделившись впечатлениями от пережитого, мы стали аккуратно распределять наши припасы.

Почти целые сутки мы находились в этой мышеловке, законопаченные в буквальном смысле этого слова со всех сторон. Было очень душно, пот застилал и щипал глаза, одежда была мокрой насквозь, вонь стояла несусветная, но мы не могли расконопатить ни одну из щелей, ибо впереди была станция Микунь. Миновав ее, мы скоро остановились на каком-то полустанке, у светофора. И когда через какое-то время состав дернулся, одна из досок, которая держала весь груз сверху, чтобы он нас не придавил, выскочила из паза (видно, частые толчки вагонов расшатали ее и груз сверху уже не давил на нее) и одним концом рухнула вниз, зажав при этом ногу Артуру. Образовался треугольник, где катетами являлись стена вагона и доска, а гипотенузой — брикеты, которые каким-то чудом удерживались наверху, но могли в любой момент рухнуть и задавить нас.

Поезд уже почти набрал ход, я зажег фонарик и стал осматривать все вокруг. Артур полулежал на левом боку, ногу его зажало концом доски, но при желании, резко дернув, ее можно было вытащить, но тогда мы рисковали очутиться погребенными тарной дощечкой заживо. Я даже и на секунду не хотел представить такой конец для нас обоих.

Решение было однозначным: любыми путями выбираться из этой мышеловки. Но между «решить» и «сделать» порой глубокая пропасть. Следует отдать должное Артуру, он вел себя стоически: не паниковал и ни на что не сетовал, а терпеливо ждал, что же на этот раз преподнесет нам судьба. Хотя боль от прижатой доски казалась терпимой, но все же…

Это обстоятельство и в меня вселило некоторую долю уверенности и оптимизма, хотя всего этого было мне и раньше не занимать, но все же в такой момент, когда жизнь друзей зависит от того, в унисон ли бьются их сердца, такое поведение друга всегда пример для подражания. Мужество и сила воли обладают

таинственным свойством передаваться другим.

Действия мои были по возможности спокойны и слаженны. Я достал полотно, расконопатив самую большую щель, и стал пилить. Артур тем временем сверял время по карте. Мы находились где-то в 180 километрах от станции Котлас, когда доска была распилена и лаз готов. Свежий ветер ворвался в наше мрачное жилище и тут же опьянил нас живительным ароматом таежного воздуха. На какой-то момент каждый ушел в свои думы, но только лишь на какой-то момент.

Теперь в нашем схроне стало светло, мы хорошо видели друг друга, оттого и было как-то легче на душе с принятием следующего этапа. Нам любыми путями следовало как можно быстрее покинуть вагон, но самое неприятное, что первым сделать это должен был я. Лишь только после того, когда ни меня, ни пожитков наших уже не будет, Артур, резко выдернув ногу, должен постараться нырнуть в проем, но могло случиться и так, что его засыплет тарной дощечкой.

К сожалению, выбора у нас не было, а решение наше продиктовано обстоятельствами. Так что, уповая на Всевышнего, мы стали ждать, когда наш состав станет где-нибудь на полустанке у светофора. С начала нашего пути поезд у светофора останавливался всего один раз, и после этой злополучной остановки произошло то, что произошло. Когда он остановится в следующий раз, и остановится ли вообще? Вот какие вопросы одолевали нас, когда потихоньку, поскрипывая тормозными колодками, поезд стал замедлять ход и остановился у огромного моста через Вычегду. До границы с Архангельской областью оставалось полтора десятка километров, до Котласа — полторы сотни.

Сначала я, высунув голову, постарался оглядеться; убедившись, что кругом тихо, я высунулся по пояс и стал осматриваться вокруг с тщательностью полководца, намечающего поле битвы. Мешкать было нельзя, я быстро побросал оба наших самодельных рюкзака на шпалы и сам выскочил туда, ужом проскочив в отверстие, которое только что выпилил. Еще раз оглядевшись и убедившись, что людей поблизости нет, я просунул вновь голову в это отверстие и сказал как можно спокойней: «Вперед, бродяга! Все у тебя получится, давай не тормозись!»

Вытащив голову из дыры, я вперил свой взгляд в это отверстие и точно помню, как молил Бога, чтобы показалась голова моего друга. Всевышний внял моим молитвам, но решил, видно, еще раз проверить нас на вшивость. Не прошло и минуты, как голова Артура показалась из деревянного склепа. Вытянув

руки вперед, он хотел проскочить на мой манер, но на полпути тормознулся, точнее, комплекция его дальше не пускала. Тут я действительно чуть не заплакал от обиды, и, думаю, читатель поймет, отчего. Каково же было Артуру? Он извивался как змея, стараясь руками зацепить что-нибудь, мотал головой как раненый бык, скрежеща зубами, но странно — лицо его оставалось при этом спокойным. Я как сейчас его помню.

На лице человека, если уметь по нему читать, написаны все его пороки и добродетели. Человек может придать лицу нужное выражение: смягчить взгляд, растянуть губы в улыбке — все эти мускульные движения в его власти, но вот основную черту своего характера ему не скрыть: все, что происходит у него на душе, можно с легкостью прочесть. Даже тигр может изображать подобие улыбки и ласкового взгляда, однако по низкому лбу, по выдающимся скулам, по громадному затылку, по жуткому оскалу вы сразу признаете в нем тигра. С другой стороны, собака может хмуриться и злобно скалить зубы, но по ее мягким, искренним глазам, по умной морде, по угодливой походке вы поймете, что она услужлива и дружелюбна. На лице каждого существа Бог написал его имя и свойство.

Около минуты длилась эта молчаливая борьба человека с обстоятельствами, когда поезд издал протяжный гудок, очнувшись, казалось бы, от какой-то дремы. Я схватил обеими руками его плечи и стал изо всех сил тянуть его на себя вниз. Беда в том, что ему не во что было упереться ногами, а у меня не хватало сил вытащить его. И вот, издав еще один гудок, будто предупреждая нас о неотвратимом, поезд вновь содрогнулся вагонами и со страшным скрежетом стал, поскрипывая, трогаться с места. Мой взгляд непроизвольно упал на колесо. Оно медленно, с нарастающей силой набирало обороты. Вцепившись обеими руками в Артура, я уже еле двигал ногами; еще немного — и мне пришлось бы отпустить его, иначе я рисковал сломать обе ноги. В решающий момент жизни Бог придает человеку такую силу, о которой он никогда даже и не подозревал. Изловчившись, я подтянулся руками на его плечах, поджав под себя ноги, оторвался от земли и затем резко дернул его вниз.

В следующее мгновение мы буквально упали на шпалы. Так мы на них и лежали, молча наблюдая, как над нами поезд набирал ход, унося тот злосчастный вагон, который чуть не стал для моего друга деревянным саваном.

Когда все осталось позади, не могу сказать, что владело мною с большей силой — усталость или благодарность. Чувствовал я, во всяком случае, и то и другое: усталость, какой еще не знал до этой минуты, и благодарность Создателю, какую, полагаю,

испытывал достаточно часто, хоть никогда прежде не имел для нее столь веских оснований. Перевернувшись на спину, мы почувствовали капли дождя, падающие на лицо, а, открыв глаза, увидели затуманенное небо.

Глава 4
По плану Абвера

Это был еще один шаг к свободе. Подобрав рюкзаки и согнувшись чуть ли не до земли, мы побежали к лесополосе, не забывая оглядываться по сторонам. Когда же удачно добрались до нее, решили перевести дух, осмотреться и решить, как действовать дальше.

Глядя на Артура, становилось ясно, что некоторую часть своей кожи он оставил в проеме дыры, поэтому мне пришлось оказать ему кое-какую медицинскую помощь. Затем мы тщательно проверили свою экипировку, ибо нам предстоял большой переход, и от того, как мы подготовлены, зависело все остальное. Оделись мы легко и просто. На теле по две пары китайского теплого белья, сверху теплые шерстяные спортивные костюмы, подпоясанные крепкими кожаными ремнями, широкими и прочными, на которых болтались большие ножи. На ногах — китайские кеды. Времени у нас было в обрез.

Так неожиданно по воле рока вступал в действие второй вариант, запасной, — тайга. С самого начала, как учил меня Абвер, нужно запутать следы, и, пока погоня станет плутать, отрыв будет огромен, что и позволит в конечном счете спастись. Но не каждый раз на карту ставится жизнь, поэтому действия должны быть как никогда обдуманными, четкими и решительными.

Обсудив в последний раз кое-какие детали, перекусив наскоро кусочком шоколада и запив его парой глотков спирта, мы тронулись в путь. Главное — не только сбить со следа погоню, но и сбить ее с метки, то есть не дать нашим преследователям понять наши планы. Также нужно постоянно помнить о секретах в тайге.

Поблизости было два населенных пункта — Айкино и Яренск — Архангельской области. Мы решили пойти прямо перпендикулярно Вычегде в сторону Баренцева моря. Дождь прекратился. Тяжелые тучи успели разбежаться, точно разогнанное стадо, на очистившееся небо выплыла луна и залила своим ясным, ровным светом высокие деревья и их густую листву, осыпанную жемчугом дождевых капель. Местами голубоватый кроткий луч пронизывал густые лиственные своды и собирался в чаще листьев и цветов.

Я невольно залюбовался этим пробуждением природы, но скоро опомнился. Нужно было спешить. Необходимо было

убежать дальше, чтобы поставить между нами и преследователями непроходимую преграду. Я резко оторвался от приятного зрелища, снова сориентировался, и мы вновь пустились в путь. С предельной осторожностью продвигаясь вперед и делая невероятные усилия, для того чтобы избежать лишнего шума или даже малейшего шороха, который мог бы нарушить ночную тишину, мы временами останавливались и прислушивались, нет ли где какого-нибудь постороннего звука, не относящегося к немолчному ропоту, производимому океаном зелени дремучей тайги. Но нет! Ничего не было слышно, кроме постукивания последних капель дождя о мокрые листья, тихого хода насекомых в древесных стволах или чуть слышного шороха крыльев мокрой птицы.

Так мы прошли в глубь тайги несколько километров, специально оставляя примятой траву, чтобы след наш был виден даже невооруженным глазом, таким образом давая понять преследователям, что мы в тайге новички; затем резко повернули на 180 градусов и пошли назад. Эти действия были похожи на то, как ведет себя олень во время облавы на мягком грунте, сохраняющем четкие отпечатки его копыт.

Такой прием имеет кроме прочих преимуществ еще и то, что обратным следом он запутывает и охотников, и свору гончих. У охотников этот прием называется «ложным уходом в логово». Дойдя до половины пройденного до этого пути, мы теперь стали удаляться в сторону Тюменской области, прямо перпендикулярно только что пройденному маршруту. Пройдя еще с километр и изрядно наследив, мы опять повернули на 180 градусов и пошли назад. Мы перешли наш первоначальный маршрут и углубились далее, опять перпендикулярно ему, но уже шли в сторону Архангельской области и, пройдя несколько километров, остановились.

Таким образом мы сделали «крест». Так назывался один из приемов ухода от погони в немецкой школе разведки, которому научил меня покойный Абвер. Этот метод помогал обойти и сторожевые секреты солдат. Их можно было заблаговременно вычислить.

Откровенно говоря, мы чуток подустали, но не настолько, чтобы валиться с ног. Когда же мы тронулись в путь вновь, то почти через каждые десять метров скатывали шарики из древесного клея, смешанного с елейником, который у нас еще остался помимо самого раствора елейника, специально приготовленного для этой цели, и бросали позади себя.

Мы направлялись к берегу Вычегды, до которого было несколько километров, но продвигались очень медленно и

осторожно. Дело в том, что было еще одно немаловажное обстоятельство в нашем предприятии: над тайгой стояли белые ночи. А это значит, что темно было всего несколько часов в сутки, все остальное время был день. Вот исходя из этого чуда природы, нам и приходилось подстраиваться под обстоятельства, связанные с дальнейшим продвижением по тайге. Наконец, когда опять стало светло, а мы шли до этого в полной мгле, звериная тропа вывела нас к тому месту, откуда уже был виден берег Вычегды. Здесь сосны росли гуще вокруг широкого луга, над их зелеными кронами возвышались клен и дуб, подобно вечным, зорким стражам. Листья осины, дрожавшие на летнем ветру, что-то шептали чуть слышно. Красные, желтые, синие и белые таежные цветы оживляли колыхавшуюся траву. Жужжание пчел, перелетавших с цветка на цветок в поисках сладкого нектара, наполняло воздух.

Вытащив трубу, я стал осматривать местность. Следуя нашему плану, мы собирались переправиться на другой берег реки. О броде нечего и думать, поэтому я искал место поуже. Все вокруг было тихо и спокойно, мы наедине с природой — это радовало и в то же время настораживало нас. Продвигаясь потихоньку вперед, мы вышли на просторную и совершенно открытую поляну, но это место казалось самым узким из всего русла реки, которое мы успели рассмотреть в трубу, насколько мог охватить наш взор.

Мы оба выросли на берегу моря, поэтому умели прекрасно плавать и нас, не то что река, не испугал бы даже океан во время шторма, да и в горных реках плавать было не привыкать. Так что, быстренько раздевшись, мы уложили вещи в рюкзаки, они стали круглые как колобки и чуть тяжеловаты, но и это нас не пугало. У наших ног река катила насыщенные песком, мутные воды, на которых плавали и кружились всякого рода обломки, а кое-где всплывал иногда черный от времени и воды конец топляка. Мы вошли в воду и поплыли, но преодолевать реку пришлось на спине, чтобы не замочить рюкзаки. Спокойной Вычегду назвать было нельзя, но главное — мы каждый раз опасались, как бы не напороться головой на топляк, тогда бы нас уже ничто не спасло, а друг друга спасти мы бы просто не успели. Но наконец и эта преграда была преодолена. Мгновенно выскочив на берег, мы тут же скрылись в лесополосе и, не теряя из виду берег, быстро оделись. Водные процедуры, несомненно, пошли нам на пользу, мы взбодрились и посвежели. От бессонной ночи не осталось и следа. Теперь нам предстояло выкинуть ментам еще один фортель — это был «круг». Мы резко пошли направо, по-прежнему оставляя четкие следы на траве, в сторону Архангельской

области, и постепенно уходили все больше и больше влево. Наконец мы вновь вышли к реке, сделав таким образом незамкнутый круг, вошли в реку и пошли вновь в сторону Архангельской области, теперь уже стараясь не наследить. Пройдя несколько километров, мы наткнулись на огромную сломанную сосну, конец ствола которой лежал в воде. По нему мы и забрались опять в лесополосу, предварительно смазав ствол и место, где мы остановились, елейником. Таким образом, мы прилично оторвались от погони, но нам предстояло пройти еще несколько сотен километров по таежным просторам.

О будущем мы старались не думать, ибо каждый из нас готов был войти скорее в стаю волков добровольным собратом, лишь бы жить на свободе, нежели влачить жалкое существование среди дегенератов и садистов, именующих себя администрацией колонии. Я уже не говорю о чем-то ином, ибо одного этого воспоминания о легавых хватало для того, чтобы удесятерить наши силы, тем более мы знали, что при поимке нас ждет неминуемая смерть.

Подкрепившись шоколадом и несколькими глоточками спирта, все обсудив и взвесив, мы с новыми силами, на втором дыхании вновь тронулись в путь, периодически сбивая собак со следа, то углубляясь в тайгу, то вновь выходя на берег, то делая спираль, то идя напрямик, все дальше и дальше уходя от погони. А в том, что она началась, сомнений у нас не возникало.

Глава 5
Мы с тобой одной крови…

Человек, которого преследуют, наделен безошибочным нюхом. Шли третьи сутки нашего побега. Уходя от погони все дальше и дальше, мы черпали силы в своей смертельной тревоге и все шли и шли, молча, тяжело дыша, с бездумным взглядом, страшные в своем гневе. Только ночь смогла остановить наш исступленный бег. На этот раз мы действительно выбились из сил. Всего несколько часов темноты, но нам поневоле пришлось остановиться, ибо слишком много неумолимых опасностей подстерегает беглецов в тайге.

Пока еще не стемнело, мы выбрали большое дерево с толстыми сучьями; взобравшись на него, пристегнули себя к толстым стволам двумя ремнями каждый и мгновенно уснули свинцовым сном, какой всегда наступает после изнурительных усилий и душевных потрясений и почти всегда сопровождается мрачными кошмарами.

Я очнулся от дремоты, граничащей с кошмаром, и увидел прямо под деревом огромного волка-одиночку. Он сидел в каких-нибудь пяти метрах от дерева, на котором мы отдыхали, и тоскливо поглядывал на нас. Вид у него был совсем не свирепый. Бесцветные и холодные, как агаты, глаза волка светились безумной тоской, но я знал, что тоска эта порождена страшным голодом. Мы были пищей, и вид этой пищи возбуждал хищника. Пасть его была разинута, слюна капала на траву, и он облизывался, предвкушая поживу. Пока я успел все это приметить, каким-то странным образом и Артур пробудился ото сна. Как будто моя тревога телепатически передалась ему во сне.

Мы обменялись взглядами и стали искать выход, молча, не тратя зря сил на разговоры. Одно лишь было очевидным: с волком предстояло сразиться. Страха у нас не было, это точно, зато была лютая злость. Случай нередко нагромождает больше трагедий, чем мог бы создать их Шекспир. Мы прекрасно понимали, что нам надо спешить, иначе мы рискуем попасть в лапы по крайней мере своры «двуногих волков». Здесь, в предстоящей схватке с лютым зверем, мы были уверены в ее исходе, там же мы даже не могли надеяться на мало-мальский успех.

Артур срезал толстый сук в виде копья и стал обстругивать и подтачивать его конец. Я же, решив проверить, насколько все же волк агрессивен, сломал толстый сук и бросил его в зверя. Серый

огрызнулся, оскалив клыки до самых десен, тоска в его глазах сменилась такой кровожадной злобой, что я вздрогнул. Последние сомнения исчезли: он ждал нас, чтобы либо умереть, либо жить, насытившись нами. Что ж, логика его была проста и понятна, самое главное — она была открытой и честной, в отличие от человеческой логики: коварной и жадной. Ибо, в отличие от человека, дикий зверь убивает, лишь только когда он голоден или защищая потомство. К тому времени, пока я выяснял окончательные намерения нашего серого собрата и врага, Артур заточил копье, и хоть оно и было деревянным, но имело внушительный вид и, безусловно, могло быть грозным оружием против любого зверя. А потому мы и решили после нескольких минут обсуждения: Артур прыгает с копьем и ножом впереди волка, а я — сзади, но прыгать нужно было одновременно. На счет «три» мы ринулись вниз. Но волк тоже был не промах. Мгновенно оценив, где можно быстрее добиться желаемого, он бросился на меня, ударив передними лапами в грудь, и успел, вцепившись зубами в правую часть лица, вырвать клок мяса. Но и я за это время всадил нож ему в брюхо по самую рукоятку. Артур, замахнувшись копьем, стоял на изготовку, боясь меня задеть, но когда волк падал с куском мяса в зубах, воткнул в него копье с невероятной силой и, казалось, пригвоздил к земле. Серый лежал без движения, я же присел на корточки и, сорвав кусок травы, приложил его к лицу, которое было залито кровью, а чуть ниже левого глаза зияла рваная рана.

Правая сторона груди тоже была порвана лапой зверя, но несильно. Кое-где свисали куски кожи, да и только.

Артур в следующее мгновение кинулся ко мне и на секунду оставил позади себя волка, думая, что тот мертв. Умирающий, но не мертвый, собрав, видно, весь остаток своих сил, зверь бросился в последний свой бросок и вырвал кусок мяса на ноге Артура. Я успел всадить еще раз в брюхо волка нож, испачканный его же кровью, но мне кажется, я всадил его уже в труп.

На этот раз волк был мертв, но какой ценой далась нам эта победа? Я на какое-то время забыл о себе, бросившись к Артуру, пытаясь как-то приспособить оторванный кусок мяса на ноге, откуда фонтаном била кровь. Трудно вспомнить сейчас, сколько времени ушло у нас на то, чтобы оказать друг другу помощь. Скобами, которые мы предусмотрительно захватили с собой, были схвачены в нескольких местах моя щека и нога Артура, а на раны наложен лейкопластырь.

Все бы еще ничего, если бы не нога друга. Совершенно ясно, что идти уже, как прежде, он не сможет. Нелегко себе представить, как может не просто идти, а уходить от погони в

тайге человек, у которого вырвана икра на ноге. Я был в отчаянии, но виду, конечно, не подавал.

Ни один игрок, поставивший на карту все свое состояние, не испытывал, наверно, такого волнения, как мы с Артуром в пароксизме исступленных надежд. Все действия, которые нам было необходимо провести, мы проделывали без единого слова. Казалось, скажи что-нибудь один из нас — и вся злость и обида вырвутся наружу. Проявление подобных эмоций всегда ведет к неминуемой гибели, мы это хорошо знали, а в нашем положении это было очевидным. Поэтому по возможности спокойно, оказав друг другу посильную медицинскую помощь, мы, выкопав яму, сбросили туда волка, аккуратно засыпали землей и утрамбовали ее, а сверху посыпали травой и сухими ветками. Вокруг этой странной могилы нашего собрата по жизни и врага по обстоятельствам я накидал кусочки клея с елейником.

Позже мы узнали, что невыносимый запах, вонючий и гнилой, который отбивает нюх у любой собаки, не помог. Запах мертвого волка оказался сильнее, и они нашли его. Такова природа, и обмануть ее крайне сложно даже изредка. Стоит на мгновение заглянуть в глаза смерти, чтобы ощутить вкус к жизни.

Я сломал подходящую ветку, и Артур сделал из нее костыль, у него это неплохо получилось. Отдохнув еще немного и обсудив дальнейший план действий, мы вновь тронулись в путь. Теперь о стремительном продвижении вперед не могло быть и речи. Мы прекрасно понимали, что оказаться раньше погони за заслоном, который неминуемо нам должны будут приготовить где-то по дороге на Котлас, мы уже не могли. Единственным правильным выходом из создавшегося положения, решили мы, будет углубиться в тайгу и выждать время — в расчете на то, что погоня решит: мы каким-то образом успели все же проскочить раньше их — и будет искать нас совсем в другом месте.

Глава 6
Трясина, пещера, река

За это время мы бы могли залечить свои раны, отдохнуть немного, ну а еды летом в тайге всегда хватает. Но увы! Как ни печально, но мы просчитались.

А существует ли вообще человек, способный правильно оценить обстоятельства, в которых находится? Вычисление, которое мы проделываем в своей голове, и то, которое сделано свыше, — это два разных вычисления. Руководим ли мы судьбой или она руководит нами? Сколько хорошо обдуманных планов провалилось и сколько еще провалится! Сколько бессмысленных планов осуществилось и сколько их осуществится еще! Главной причиной нашего фиаско в будущем была могила волка, и не менее важной то, что начальником первого отдела управления был полковник Куприянов, в прошлом кадровый разведчик, фронтовик, бог весть как попавший, на наше горе, в систему ГУЛАГа.

Когда после трех суток побега, что бывает крайне редко, ему доложили — беглецы не пойманы, он удивился, ну а когда он узнал от поводырей-следопытов о мудреных «крестах» и «кругах», «спиралях» и всякого рода других отвлекающих маневрах, призадумался. Как было не знать ему, кадровому разведчику, о методах Абвера? Но, судя по нашим личным делам, мы не могли иметь ничего общего ни с немецкой разведкой, ни с ее методами, и все же чутье подсказывало опытному чекисту: что-то тут не то… И на нашу погибель, он решил сам возглавить поиски. Через сутки после принятия решения и бесплодных поисков полковник решил подключить к поиску комяков-следопытов, уже будучи уверенным в том, что его людям не под силу эта задача. Комяк — охотник, следопыт — и индеец в прериях или джунглях — это родные братья, на земле для них нет секретов, поэтому они и нашли могилу убитого нами волка. Куприянов слишком хорошо это знал, и после такой находки и прозвучал приказ: брать только живыми, ибо он понял и кое-что другое. Мы были ему интересны, в общем, он был заинтригован, но об этом мы узнали позже, и у нас было время оценить друг друга по достоинству, но об этом впереди.

Еще двое суток мы пробирались в глубь тайги в сторону Кировской области, пытаясь разными ухищрениями сбить погоню со следа. Однажды чуть не напоролись на секрет. Теперь уже, как только темнело, мы выбирали большую поляну для капитального

обзора, садились в ее центр спина к спине и по очереди дремали, пока не рассветало вновь, а затем трогались в путь. На шестые сутки побега, подойдя к выбранной поляне, некоторое время я никак не мог ее разглядеть. Но вот сквозь белесый туман, придающий ночной темноте странный фосфоресцирующий оттенок, проявились очертания вышки. Она стояла как вымершая, но так мог подумать разве что дилетант, не знающий ни тайги, ни ментов, но только не беглец. Мы поняли, что этот секрет последний в этом районе, ибо несколько их мы обошли предыдущей ночью стороной, и дальше уже только простор тайги, а единственная опасность — дикие звери.

К сожалению, она оказалась не единственной, но, слава Богу, на этот раз все обошлось. Осторожно обойдя вышку справа, мы стали углубляться дальше в тайгу и так потихоньку шли в потемках, осторожно ступая и аккуратно раздвигая, но не ломая, ветви деревьев и кустарников. Шли мы гуськом: впереди я, держа в левой руке копье, которым Артур пригвоздил волка, а в правой сжимая тесак — на всякий случай он был у меня на вздержке. Следом, стараясь идти по силе возможности след в след, шел Артур, тоже сжимая в одной руке нож, другой рукой облокачиваясь на костыль, заточенный на всякий случай так же остро, как и копье. Мы стремились отойти как можно дальше от этой вышки, превозмогая усталость и темноту, как вдруг копье, которым я прощупывал почву перед собой, неожиданно быстро ушло в землю. Я чуть не вскрикнул от неожиданности, ибо сам не понял, почему стал медленно погружаться, — это оказалась топь. Мы могли бы догадаться раньше, что за последней вышкой менты обязательно должны приготовить какой-то сюрприз — на всякий случай, на то они и менты, но, к сожалению, мы были не в том настроении, чтобы здраво анализировать события. Мы здорово подустали, и это еще слишком мягко сказано. Я сказал, что чуть не вскрикнул, но и этого моего порыва хватило, несмотря на темень, чтобы Артур увидел и оценил все мгновенно.

Ноги мои были уже по колено в трясине, туловищем я упал на сухое место и воткнул нож в землю, по-прежнему сжимая в левой руке копье. Артур присел на колени, обхватил, будто оплел своими руками, мои руки, уперся здоровой ногой в землю и потихоньку вытащил меня из болотной топи.

Кто не испытал подобного рода потрясений, которые судьба преподносила нам чуть ли не каждый из семи дней нашего побега, тот, конечно, никогда не сможет в полной мере понять, что же мы чувствовали после каждого поединка с обстоятельствами, которые судьба преподносила нам со щедростью Великого Могола. Мы сидели на берегу, возле

болотной жижи, еле переводя дыхание, раненные и почти разбитые обстоятельствами, грязные и голодные, но гордые и счастливые в своем единении.

Теперь волей-неволей нам пришлось остановиться и ждать рассвета, ибо в темноте блуждать по краю болота может только сумасшедший. Я стал счищать ножом грязь, которая облепила меня почти по пояс, поскольку в дальнейшем она затруднила бы мое движение.

Артур прилег отдохнуть. Я уже давно обратил внимание, какие нечеловеческие усилия требовались от него, чтобы идти молча. Нога его сильно распухла, но он терпел, а здесь еще — на тебе — болота. Глядя на тихо дремлющего друга, я прекрасно понимал, что, остановись мы на более продолжительный ночлег, его уже будет не поднять, он просто физически не сможет идти. Сейчас же силы ему давал страх погони, который, как известно, бывает присущ даже людям исключительно мужественным. Тело и мозг, подгоняемые страхом, работают с удвоенной энергией.

Так что, решил я, пока мы не найдем подходящего места, об отдыхе нечего даже мечтать. Задумавшись, я почти не заметил, как начало светать. Туманная дымка клубилась над болотом, даже птиц в этом месте не было слышно; тихо как в могиле. Не успел я дотронуться до Артура, как он тут же открыл глаза, будто и не спал вовсе. Я тут же принял беспечный вид, слегка улыбнувшись. Моя улыбка могла сказать ему многое, я рассчитывал на это, ибо он знал ее слишком хорошо, а точнее, хорошо знал, в каких случаях я так улыбаюсь.

Наспех позавтракав кусочком шоколада и кое-какими ягодами, которые мы собрали по дороге, запив все это несколькими глоточками спирта — наш обычный рацион, — мы вновь тронулись в путь. Задача предстояла на этот раз очень сложная. Необходимо идти вдоль берега болота, пока оно не кончится, тем самым преимущество, которое у нас было до этого, то есть расстояние, на которое мы углубились, сводилось к нулю. Каждый из нас это понимал, но не высказывался на этот счет. Сейчас нам нужно было выбрать направление, и мы пошли влево, то есть в противоположную сторону от Котласа. Нам вновь предстоял путь неблизкий во всех отношениях и, если бы надежда не придавала мне силы, я уж, наверно, давно свалился бы наземь и отказался от своей затеи.

Целый день мы шли вдоль этого злосчастного болота и прошли очень маленькое расстояние, потому что нам приходилось идти с опаской, сначала проверяя копьем почву впереди, а затем уже делая шаг. Мы так же следовали друг за другом, и, когда уже день клонился к вечеру, вышли на берег

какой-то безымянной речки: на карте ее, по крайней мере, не было. Болото закончилось, но нам пришлось еще несколько часов идти вдоль берега этой речки, прежде чем мы увидели огромный холм, высившийся прямо напротив, на другом берегу. Я без труда перенес Артура на спине через речку, она была неглубокой и не особо бурной. Немного отойдя от берега к холму, мы увидели прямо перед собой углубление. Проверив почву, а она была очень рыхлой, решили: я возвращусь назад, немного поплутаю, сбивая след, и к темноте вернусь, а Артур тем временем должен проделать ножом как можно большую дыру в этом углублении. Когда я возвращался, уверенный в том, что погоня выйдет на нас нескоро, было почти за полночь, но еще светло. Потихоньку начал накрапывать дождь, и мне подумалось, что неплохо бы сейчас спрятаться где-нибудь в сухом и теплом месте и душевно отдохнуть — и морально, и физически. Каково же было мое удивление, когда, перейдя через реку, я увидел настоящую пещеру. «Да, — подумал я, — Артур зря времени не терял и потрудился на славу, не считаясь со своим состоянием».

Теперь мы могли спрятаться от дождя, максимально обезопасив себя от голодного зверья, ну а змей в тайге не бывает. Обработав рану Артура на ноге, приведя и остальные раны в порядок, мы поужинали тем же провиантом, который был у нас в наличии, залезли в пещеру и уснули мгновенно, ни о чем больше не думая, целиком полагаясь на волю Всевышнего.

Темнота окутала землю, только что взошедшая луна струила свой неверный свет, бросая уродливые тени на пышную листву. Редкие матовые лучи ее проникали до самой земли, но этот свет только сгущал кромешную тьму тайги. В эту ночь проспали как никогда и проснулись лишь утром.

Глава 7
«Собаки лаяли, меня кусали…»

Мокрые листья и влажные лепестки чудесных цветов сияли в лучах солнца. Тайга потихоньку пробуждалась ото сна. Слышалось многоголосье птиц. Река, весело журча, несла свои воды куда-то в неведомую даль. Мы не спеша привели себя в порядок и стали обдумывать наше дальнейшее существование. Все сводилось к простой логике — нужно ждать, мы отдавали себя в руки Провидения. Либо мы пережидаем погоню здесь и нас не найдут, либо на этот раз Фортуна отвернется от нас и мы погибнем. К сожалению, мы оба словно ослепли и не могли разглядеть прямо перед собой спину богини удачи. К обеду начало припекать, я решил искупаться и заодно постирать наши вещи — в них было, наверно, по нескольку килограммов грязи. Но что-то, а точнее, какой-то отдаленный звук заставил меня остановиться и прислушаться. Под сердце впился омерзительный червь беспомощности и страха. Вскоре последние сомнения исчезли: это был лай собак. Как описать то чувство, которое охватило нас в этот момент? Страх вперемешку со злостью, обида и проклятие всего человеческого рода, нечто, что не поддается описанию, это нужно прочувствовать! Молча стояли мы рядом, непроизвольно вытащив и зажав в руке ножи. Прятаться не имело смысла, и, видно, сами обстоятельства нам диктовали: встретить смерть лицом к лицу.

Через некоторое время из лесу выскочили две овчарки; остановившись на несколько секунд и принюхавшись, они бросились в реку и поплыли в нашу сторону. Зажав покрепче ножи, мы вновь приготовились к схватке. Пес, который выскочил из воды первым, бросился на Артура, и я успел увидеть боковым зрением, как он воткнул отточенный костыль прямо в брюхо этой псине. В следующее мгновение я уже отражал нападение черной как вороново крыло овчарки, которая бросилась на меня почти одновременно со своим собратом и испытала ту же участь.

Выставив правую руку с ножом вперед, перед тем как пес схватил меня за эту руку, я перекинул нож в левую и вонзил его в глотку собаке по самую рукоять и даже провернул его там — такую злость и ярость я испытывал. Мы оба упали на землю, прямо передо мной лежала морда умирающей псины, а в зубах у нее был кусок мяса, который она успела вырвать из моей руки. Кровь била из нее фонтаном. В последнее мгновение жизни все приобретает значение. Я постарался поднять голову и

прислушаться. Туман медленно застилал мне глаза.

Беспрерывный гул тайги, шорох листьев, жужжание насекомых, голоса птиц и окрики ментов — все смешалось в убаюкивающее, ласковое мурлыканье.

Казалось, будто я лежу в стороне, далеко от мириад жизней, звуки которых долетают до меня только как смутный отголосок. Но в последние секунды сознания я все же успел увидеть, как солдат-поводырь умолял, чуть ли не плача, начальника конвоя:

— Товарищ капитан, прошу вас, разрешите, я и пули тратить не буду, разорву собственными руками, ведь глядите — Индус умирает!

Сквозь мутную пелену, которая уже начала заволакивать мне глаза все плотнее, я увидел у ног этого вояки черную немецкую овчарку с разорванным брюхом и ее кишки, вываленные на траву.

— Отставить! — услышал я ответ капитана. — Приказано взять живыми!

Больше я ничего не помнил, я потерял сознание. По-видимому, то, что назначено судьбой, бывает не столько неожиданным, сколько неотвратимым.

Глава 8
Барак усиленного режима и моя сокамерница — мышь

Правосудие, являясь во всей своей силе, тяжело отзывается на наших чувствах, и хотя мы и осознаем его справедливость и преклоняемся перед ним, однако стремимся отвлечься от тяжких впечатлений, которые оно производит. Но мы не должны забывать одного заключения, к которому приводит нас история: не в стремлении к удовольствиям, но и не в победе над гордостью и самолюбием заключается величие души, а в осознании своих ошибок и слабостей.

Чем больше мои воспоминания уносят меня в то далекое, безвозвратное прошлое, тем яснее и объективнее я могу подойти сейчас к пройденному этапу своей жизни.

Признаюсь откровенно, сравнение не в пользу нашего времени, потому что я все чаще прихожу к выводу, наблюдая нынешнее общество, что большая часть людей, живущих сейчас на свободе, мыслит и действует так, как каторжане в лагерях той дальней поры.

Чтобы лучше понять меня, нужно чуть глубже проникнуться проблемами общества и задуматься, а поводов для этого, без сомнения, предостаточно. Но все же выводы делать, я думаю, еще очень рано: кто его знает, на какую сторону ляжет карта времени. Судьба подчас ставит такие заслоны и препятствия на нашем жизненном пути, что предугадать их практически невозможно, ибо это прерогатива Божья.

Вас подстерегает полный финансовый крах или смерть близкого человека, невесть откуда взявшаяся болезнь или тюрьма. Это, конечно, ощутимые удары, и порой человек не всегда может оправиться от них. Но бывает и иначе — это катастрофа или несчастный случай, что в принципе одно и то же. И когда вы приходите в сознание, то, как правило, находитесь в чистой палате, на кровати с белоснежными простынями, а перед вами на стуле сидит мать или любящая жена и глядит на вас добрыми и заплаканными глазами.

Первое, что при таких обстоятельствах приходит на ум любому человеку, — это восхвалить Всевышнего за спасение. Что же касается всего остального, что помогает выжить, то это, опять-таки в первую очередь, забота, внимание родных и близких. Тебя любят, ты нужен кому-то — это радует и вселяет оптимизм, с которым человек идет на поправку.

Почти то же самое происходило и со мной, когда на вторые сутки после описанных мною событий я пришел в сознание. Правда, с некоторой существенной разницей: палату мне заменила камера, белоснежную постель — деревянные нары, а любящую жену — мышь, которая, уж не знаю сколько времени, наблюдала за мной, сидя рядом на нарах в метре от меня. Она как будто понимала, что если я даже захочу, то достать ее не смогу, потому что рука, которая лежала ближе к ней на нарах, была почти полностью спрятана под бинтами.

Очнувшись от приятного дуновения ветерка откуда-то сверху, я минут пять — десять лежал с открытыми глазами, не шевелясь и осмысливая все, что со мной произошло за последнюю неделю, шаря глазами по углам камеры в поисках кабура. Но его нигде не было, и это меня почему-то сразу насторожило. Еще не придя ни к какому выводу относительно своей дальнейшей участи, я все же отметил про себя, что камера мне почему-то нравится, хоть в ней и не было кабура — главной артерии тюрьмы.

Я лежал посередине сплошных нар, слева и справа от меня могли бы поместиться по два, а если прижаться потесней, — и по три человека. Прямо напротив была дверь. В правом углу стоял бачок с парашей, в левом — выпирала четверть круглой печи, доходившей до потолка и обогревавшей в зимнее время две камеры — мою и соседнюю; половина же этой печи выходила в коридор, оттуда ее и топили. Прямо надо мной было окно, судя по приятной утренней прохладе — без стекол, но зато с толстыми железными прутьями.

Но главным, конечно, был не интерьер этой камеры, а мой сокамерник, а точнее будет сказать, моя сокамерница — мышь. Мы с ней потом неплохо поладили. Я подкармливал ее хлебом из той пайки, что мне давали, она же развлекала мое мрачное одиночество тем, что выделывала всякого рода пируэты, а иногда и становилась на задние лапки. Но, услышав малейший шорох, стремглав проскальзывала в нору под нарами, и следующего ее визита приходилось ждать по нескольку часов. Вероятно, все зависело от степени ее голода и любопытства. Кстати, по части любопытства мышь, я уверен в этом, даст фору любой из представительниц прекрасного пола.

Что бы там ни было и как бы все ни происходило, но я, так же как и любой другой на моем месте, возблагодарил Всевышнего за то, что еще жив. В этой связи следует признать, что существует некая таинственная благодать, ниспосылаемая Провидением страдальцам, иначе ясность духа некоторых из них показалась бы невероятной тому, кто сам не испытал горя.

Некоторое время спустя после моего пробуждения, когда я

смог осмотреться, насколько это было возможно в моем положении, и уже даже успел немного поразмыслить над превратностями судьбы, я услышал давно знакомый звук, который всегда ласкает слух любого арестанта. Это был стук мисок, а значит, прибыла баланда.

Я сказал «знакомый», а не «желанный». Как ни странно, я сам себя поймал на мысли, что есть не хочу. Не было того привычного инстинктивного бурчания как всегда пустого желудка, не сосало под ложечкой — ничего этого не было, хотя уже несколько суток я ничего не ел. Когда баландер остановился у моей камеры, я услышал, как заскрипела проржавевшая заслонка, закрывавшая шнифт, и голос баландера: «Командир, командир, подойди к четвертой камере, побегушник пришел в себя». Через несколько секунд, с хриплым лязгом упав наружу, открылась кормушка и в камеру ворвалась знакомая вонь баланды. Одновременно и почти в ту же секунду показалось заспанное лицо ключника. Глаза его, округленные и выпуклые, как у оглушенного карпа, вперились в меня, а губы тем временем повторяли банальное: «Ну что, очухался, беглец, благодари Бога, что еще жив, а не на погосте».

Я невольно улыбнулся и был даже уверен в том, что, если бы я чувствовал себя еще хуже, чем сейчас, все равно не сдержал бы улыбки. Уж больно смешон был этот лапотник, пытавшийся с помощью грозного голоса и посредственной мимики изобразить ярого и непримиримого мента.

К счастью, это было не так, и впоследствии мы с ним вполне поладили, ибо в сущности своей дубак был неплохим малым — простым и добродушным деревенским парнем. К сожалению, такие люди здесь в надзоре за изолятором и БУРом долго не задерживались. Их переводили куда-нибудь подальше от этих «злачных» мест, например в хозчасть, стоило только проведать начальству о мягкости характера и доброте их души.

Несколько дней меня никто не трогал, и я уже было подумал по наивности, что, пойманный, потерял для легавых всякий интерес. Но я глубоко ошибался, даже не догадываясь, какие жизненные повороты готовит мне судьба в самом ближайшем будущем.

После того как я пришел в себя, я успел «пригладить» шныренка. Не обделенный Богом, но обиженный людьми симпатичный молодой человек, кстати москвич, решил было испытать удачу в карты, еще не успев даже толком разместиться после этапа, так, видно, шкура зудела и чесалась. Но откуда ему, сопляку, было знать, что таких, как он, «булок с маслом» здесь, на северных командировках, ждали годами. Результат сказался очень быстро: он двинул фуфло. И чтобы не стать петухом, за

несколько часов до выплаты долга спрятался в изолятор, зная, что, пока не истекла последняя секунда срока выплаты долга, никто не имеет права не то чтобы потребовать, но даже и заикнуться о нем. Это правило всегда строго соблюдается в тюрьме, и он знал это наверняка.

Менты, видно, сразу его пожалели, и, откровенно говоря, было за что, поэтому он содержался в одиночке. Он был действительно красив как девушка. Лишь только на ночь дверь его камеры закрывалась, а так три раза в день он принимал баланду с зоны и раздавал ее, ну и шнырил у мусоров по мелочам вроде гарсона, но шнырем по изолятору был другой человек. Уже в преклонном возрасте старый парчак и к тому же молчун, но дело он свое знал туго. Его кликуха — Фигаро — была тому прямым подтверждением.

Ведь ему нужно было угождать мусорам, но не только в этом была его основная миссия. Главное, что он давно для себя уяснил: быть полезным каторжанам и в первую очередь — блатным. И не дай Бог ему было дать маху именно здесь! В таких случаях ни его, ни ему подобных не смог бы спасти никто, разве что только Всевышний. Но, судя по спокойной и жиганской обстановке во всем изоляторе, шнырь был в своем роде неглупым и добрым малым, что, естественно, всегда ставилось ему в заслугу.

Прямое тому подтверждение — его отношение к молодому фуфлыжнику чуть ли не как к сыну, естественно, бескорыстное, иначе бы мы учуяли разницу. В этом можно было не сомневаться — ведь в изоляторах и БУРах всегда сидит отрицалово, то есть люди, идущие вразрез с режимом содержания, да и с администрацией тюрем и лагерей в целом и, как правило, с большим тюремно-лагерным опытом. А как известно, нигде в ГУЛАГе так не познается и не закаляется человек, как в камерной системе.

Вот через этого самого шныря я и узнал, что Артура во всем помещении изолятора и БУРа нет; наладил также связь с бродягами, которые находились в это время «под крышей».

Что же касается связи с зоной, то здесь было немного сложнее. Обычно весточку на зону посылали через тех, у кого заканчивался срок, указанный в постановлении о водворении в изолятор, и он выходил в зону, но я-то сидел в одиночке! Но и при таком раскладе было много нюансов: можно ли доверить ксиву человеку, который выходил? Каково должно быть само содержание ксивы? Не все, конечно, можно доверить и шнырю — ведь все они кумовские, по-другому и быть не могло, вот и приходилось бродягам проявлять изобретательность. Но в моем положении за эти несколько дней я и так достиг немало.

«Заживет как на собаке» — это, я уверен, сказано про таких, как я.

В этой связи мне хотелось бы отметить одну важную деталь: чем жестче условия, в которых вы пребываете, тем быстрее вы приходите в себя, если, конечно, на то есть воля Божья, тогда как к людям, избалованным судьбой, при тех же и даже, может быть, несколько более щадящих обстоятельствах фортуна очень часто поворачивается задом. Мне кажется, что судьба человека чаще всего в его руках.

За эти несколько дней я уже стал чувствовать себя намного лучше, чем можно было ожидать исходя из общих условий содержания. Этому сопутствовало то, что шныренок баловал меня, дубак был не особо строг, а камерная тишина действовала на меня успокаивающе, создавая философскую атмосферу и вселяя оптимизм, который мне после поимки был ох как необходим.

Но имелось и еще одно обстоятельство, благодаря которому я быстрее пришел в себя. Заключалось оно в том, что в то время, которое я описываю, никто не дотронулся до меня даже пальцем. То есть на сей раз мне, как бы странно это ни было на первый взгляд, дали оторваться не люди, а звери в прямом смысле этого слова, а человек, как ни удивительно, здесь был относительно ни при чем. И вот это самое обстоятельство почему-то приносило какое-то успокоение душе. Это, пожалуй, трудно будет объяснить словами, но понять, я думаю, можно.

Глава 9
Московский гость

Ночной метод допроса практикуется разве что на Петровке. Ну в Бутырках частенько, бывало, выдергивали ночью на допрос, но никак не на зоне. Здесь нет в этом необходимости, потому что почти все и про всех узнают сразу. Поэтому я был удивлен, когда в одну из ночей меня вывели в присутствии дежурного помощника начальника колонии (далее — ДПНК) из камеры и повели на допрос. Я еще не мог тогда знать, что меня ждал некий гость из Москвы. А такие люди редко обнаруживали в себе желание быть увиденными кем-то, и не только в зоне, поэтому допрос в данных обстоятельствах происходил всегда ночью, но и по инструкции, как я узнал позже, им нельзя было показываться прилюдно.

Я шел по длинному коридору, соединявшему здание изолятора с зоной, еле передвигая ноги, но меня, как ни странно, никто не подгонял. Впереди шел ДПНК, я следом, а замыкал шествие солдат из лагерного наряда. Так, молча и не спеша, мы добрались до кумовских кабинетов, которые находились в противоположной от здания администрации стороне зоны. В коридоре маленького, старого и неказистого сруба мы с солдатом остановились, а ДПНК вошел в кабинет старшего кума (Юзика) и почти тут же вышел, оставив дверь открытой, тем самым как бы приглашая меня войти, но ни словом, ни жестом не давая знать об этом. Я так же молча вошел в кабинет. Дверь за мной, немного поскрипывая, потихоньку закрылась, и я остался стоять возле нее, не трогаясь с места.

Обстановка кабинета мне была знакома, я здесь уже бывал несколько раз, а вот его обитателей, их было двое, я видел впервые. Прямо напротив меня у противоположной стены под непременным портретом Железного Феликса за столом сидел очень грузный мужчина с отталкивающей внешностью, напоминающий свинью перед родами. На вид ему было далеко за пятьдесят. Голова и усы а ля фюрер были седые, а мундир с полковничьими погонами резко выделял эту белизну. Глаза были большие и круглые, налитые кровью, как у быка, увидевшего красную тряпку. Он навалился на стол ладонями так, что они от этого даже покраснели.

Все это я успел заметить в доли секунды, в следующее мгновение грубый, под стать внешности, голос полковника приказал мне сесть. Указывать куда, надобности не было, так как

почти посередине кабинета стоял привинченный к полу стул. Я молча подошел к нему и так же молча сел, при этом пытаясь искоса разглядеть второго гостя, который сидел за столом слева от меня — между двумя окнами. Я вновь услышал тот же грубый и повелительный голос: «Ну рассказывай, беглец!» В этот момент наши взгляды скрестились, как два клинка, и от неожиданности у меня по телу пробежали мурашки.

Сказать, что глаза полковника были свирепыми, значит не сказать ничего. Они горели такой лютой ненавистью и злобой, что, казалось, вот-вот выкатятся из орбит. Чтобы сгладить некоторое замешательство и выиграть тем самым время, я переспросил его, как бы не торопясь, выжав из себя при этом подобие улыбки: «А что говорить-то, начальник?» В следующий момент, буквально в долю секунды, вскочив и перегнувшись через стол, чего трудно было ожидать от такого грузного и, казалось бы, неуклюжего человека, полковник нанес мне такой удар правой, что я ковырнулся с табурета и, отлетев к стене и ударившись об нее, тут же рухнул на пол. Каждая клетка моего существа либо ныла, либо нестерпимо болела.

В другое время и при более благоприятных обстоятельствах я мог так закосить, что любому бы показалось, что у меня, самое малое, — сотрясение мозга. Но не сейчас. Не знаю почему, но это я знал точно. Я лежал молча, не шевелясь, не издавая ни звука, как раненый зверь, и, затаившись, следил за действиями «охотника». Медленно, по-кошачьи осторожно выйдя из-за стола, он стал приближаться ко мне. Инстинктивно я сжался сильнее, мне оставалось только ждать. Подойдя чуть ли не вплотную, он, ехидно ухмыльнувшись, спросил: «Так ты не знаешь, что говорить, да? — Вопрос был каверзный, с издевкой. — Ну что ж, сейчас я тебе напомню». И, даже не дав мне опомниться, замахнувшись ногой, он нанес мне молниеносный удар в челюсть. Я сразу же на какое-то время потерял сознание и очнулся лишь от очередного удара по почкам, ощутив соленый вкус крови и несколько выбитых зубов во рту.

Трудно сейчас вспомнить, что я чувствовал тогда, о чем думал. Ведь под мусорской пресс я попадал не впервые, но было что-то еще, чего я до сих пор понять не могу. Я знал, что меня привели на допрос, а не убивать, но знал я также хорошо и то, что если даже и убьют, то просто спишут — и делу конец. Кто я такой есть? Побегушник, нарушитель, зек…

Откуда мне было знать тогда, что все бы так и произошло еще в момент нашей поимки, если бы не одно «но». И слава Богу, что я это понял после следующего допроса, точнее сказать, мне помогли прозреть. И кто бы мог подумать, что это сделал

старший кум управления?

А пока эта мразь вошла во вкус и била меня со всего маху, наотмашь куда попало. Я закрывался руками, ногами, скрючившись в три погибели, но все было тщетно — удары сыпались как камнепад. Я понял, что долго не выдержу, и в какой-то момент во мне проснулось что-то от хищного зверя.

Я помню точно, что даже зарычал. Злость на этого садиста помутила мой рассудок. Забыв о боли и вообще обо всем на свете, я как раненый волк вскочил на ноги, издал душераздирающий крик, от которого эта тварь остолбенела, и нанес ему такой удар между ног, что, в свою очередь, уже полковник заревел как свинья, когда ее режут, и не упал, а рухнул на оба колена и, раскачиваясь как маятник из стороны в сторону, продолжал истошно визжать.

Теперь видно было, что пришла моя очередь остолбенеть, и, дело прошлое, было от чего. Это животное в полковничьих погонах стояло на коленях посреди кабинета и выло как раненая гиена, побывавшая уже в когтях обозленного льва. Но созерцание прекрасного, к сожалению, почти всегда мимолетно, ибо через несколько секунд после моего удара я был оглушен чем-то сзади по шее и, рухнув как подкошенный рядом с этой падалью, окончательно потерял сознание.

Глава 1
Служили два товарища…

Не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как я впал в беспамятство, но, когда я очнулся на хребте шныря изолятора, который нес меня по коридору из зоны в БУР, точно помню, было уже светло.

С того момента, как шнырь принес меня в камеру и аккуратно положил на нары, я не спал трое или четверо суток. Тихо постанывая от боли, я то проваливался куда-то в бездну, то вновь возвращался в реальный мир. Были минуты, когда мне становилось уже все безразлично и даже не оставалось сил на борьбу. Но все же чаще я безумно хотел выкарабкаться, цепляясь за жизнь обеими руками, ногами и даже зубами, — так мне, по крайней мере, казалось. Голова моя гудела и болела не переставая, было больно даже шевелить веками и переводить взгляд из стороны в сторону, поэтому я почти не открывал глаз. Остальные части тела были просто воплощением непереносимой сплошной боли.

В моменты некоторого просветления, когда боль хоть немного отступала, я был уже почти уверен, если раньше еще и сомневался, в том, что судьба моя, видно, была целиком соткана дьяволом, а Бог только подшил рубец. Но, как говаривал один очень мудрый ветхозаветный еврей, «все проходит», прошли и для меня эти мучительные дни и ночи, оставив незаживающий рубец на сердце. Под ним осталась смерть, а наверху — жажда жизни, борьба за нее.

Я стал потихоньку-полегоньку приходить в себя. Во время моего полузабытья, когда мне бывало особенно худо, я почему-то решил про себя, что если когда-нибудь придет такой день, когда я смогу нормально, без головных болей и кошмаров, поспать хотя бы несколько часов, значит, я пошел на поправку. И вот когда однажды, на пятые сутки, я проснулся от непродолжительного сна, я уже знал точно, что худшее позади.

Но сказать, что своим выздоровлением я был обязан молодому организму, жажде жизни, оптимизму и прочему, — значит, здорово слукавить. До сих пор не знаю: то ли камера моя не всегда была закрыта, то ли все эти дни молодой шныренок сидел в моей хате, но, когда бы я ни открыл глаза, он постоянно был рядом, хоть и открывал я их очень редко. И не просто был рядом, а ухаживал за мной как самая настоящая нянька, все время что-то запихивая мне в рот то из ложки, то из кружки.

Когда я окончательно пришел в себя, то увидел рядом с собой на нарах разные лекарства, несколько бинтов, вату, начатую плитку шоколада, 750-граммовую банку, наполненную хорошим «купеческим» чаем, в миске было налито сгущенное молоко. Думаю, что любой старый каторжанин и бродяга со мной согласятся в том, что мне было от чего прийти в некоторого рода смятение. После того, что я сделал, меня должны были, по идее, либо добить, либо приморить до кондиции, но никак не отхаживать. Да еще как! Даже самые что ни на есть блатные в то время не пользовались такими привилегиями, какие были предоставлены мне в момент моего отходняка. Здесь было над чем призадуматься. Хотя превратности судьбы научили меня хладнокровно принимать любые неожиданности, но в данном случае, чем больше я старался понять логику действий ментов, тем больше запутывался. А ларчик-то, как оказалось, просто открывался.

Из опыта прошлых лет я твердо уяснил для себя одну непреложную истину: если человек живет в обществе, где его члены очень строго относятся к канонам этого самого общества и не менее строго соблюдают их, то и он, в свою очередь, должен, независимо от своих желаний и потребностей, так же свято чтить их, не менее строго блюсти и всегда в точности выполнять. А это, смею заметить, не всегда одно и то же и не всегда, соблюдая каноны, хочется их выполнять. Человек должен быть честным как перед людьми, с которыми он живет, так и перед самим собой. И это независимо от общества, в котором он вольно или невольно оказался или даже сам избрал его для себя. Главное, я полагаю, порядочность мыслей и действий — ведь жизнь имеет настоящий, глубинный смысл, лишь когда человек одержим идеей и живет ею.

Каков будет конец жизненного пути — это уже другой вопрос. Он может быть и печален, и радостен. Все будет зависеть от избранного в юности пути, то есть от самой идеи; но очевидным всегда должно быть одно — ты должен быть честен! И как бы парадоксально ни звучали эти слова в устах человека, который всю жизнь воровал и бродяжничал, но это истинно так. Умный меня поймет, а дураку без надобности.

Нетрудно догадаться, что после подобного ухода я очень скоро пришел в себя, а когда был уже почти в ажуре, меня опять выдернули на допрос. Я, естественно, ждал его и был, исходя из обстоятельств, во всеоружии, но на этот раз, забегая вперед, скажу: я был приятно удивлен, а мои худшие опасения оказались напрасными. Но кто знает, как может лечь карта в том или ином случае? Ведь это тюрьма — и этим все сказано.

В кабинете, куда меня завели вновь, все было так же, как и в предыдущий раз, за некоторыми существенными изменениями… Вместо двух полковников восседал один. Он же кум управления полковник Баранов. На вид он был строен, поджар, спортивен, и даже седеющая и редеющая шевелюра не мешала ему выглядеть значительно моложе своих пятидесяти с гаком.

Когда я вошел, он почему-то встал из-за стола, за которым в прошлый раз сидел его коллега из Москвы, и, с каким-то не мусорским любопытством окинув меня взором с ног до головы, предложил сесть за стол возле окна, где в прошлый раз сидел он сам. Затем медленно, не торопясь, переложил со своего стола на мой сначала пачку папирос «Беломорканал», а затем так же медленно и молча положил спички. Закурив папиросу, он предложил мне сделать то же самое и, не обращая больше на меня никакого внимания, стал ходить взад-вперед.

Этот расхожий жест барина-кума не сулил никогда ничего хорошего порядочному человеку, поэтому я тут же насторожился и, искоса поглядывая на кума, не дотрагивался до папирос, хотя, откровенно говоря, давненько не баловался «пшеничными», да еще и «Беломором с каналом». Минуты две кум молча неторопливыми шагами мерил кабинет, о чем-то сосредоточенно думая и искоса поглядывая на меня, будто решая для себя что-то серьезное, затем, затянувшись покрепче, вновь продолжал свое занятие. Со стороны он был похож на каторжанина, который годами меряет свою камеру неторопливыми шагами и так же глубоко о чем-то размышляет. Представив это, я даже непроизвольно улыбнулся, хотя, признаться, было не до того.

Наконец полковник подошел к своему столу, затушил папиросу в пепельнице, затем взял зачем-то новую из пачки, которую положил мне на стол, не спеша закурил, сел, закинув ногу на ногу, и так же не спеша начал говорить, при этом с каждой минутой рассеивал мое недоумение по поводу столь заботливого ухаживания за мной после первого допроса с пристрастием. Вот что он мне рассказал.

С этим полковником, назовем его условно Москвич, потому что я даже не знаю ни его имени, ни фамилии, полковник Баранов был знаком чуть ли не со школьной скамьи. Тоже вместе они учились в каком-то военном училище, или как там его тогда называли, в общем, это не столь важно, главное, что они оказались вместе на войне, на одном фронте, в одно и то же время, но на разных должностях. Полковник, тогда еще капитан Баранов служил в разведке, а Москвич — в органах НКВД того же фронта. К счастью, или наоборот, они не виделись ни разу до тех пор, пока случай, о котором я сейчас расскажу, не свел их вновь.

Шел последний год войны, а точнее, оставалось всего несколько месяцев до ее окончания. Полк капитана Баранова базировался в районе Кенигсберга, а сам он со своей ротой расположился возле какой-то мельницы.

Был в роте у капитана солдат, который прошел с ним всю войну и не раз спасал ему жизнь, да и не только ему. В боях этот солдат проявлял чудеса храбрости и был, как всем казалось, заговоренным. На нем не было даже царапины. Люди храбрые от природы обычно бывают просты и бесшабашны почти во всем. В общем, в один из ясных мартовских дней после очередного успешного задания группа солдат во главе с нашим героем решила это дело отметить. Они залезли на мельницу, напились там, и, когда хозяева застали их за бражничанием, солдаты учинили погром.

Слухи об этом дошли до штаба фронта, и поэтому приехала комиссия для разборок. Во главе комиссии был не кто иной, как старый друг капитана Баранова. Как только капитан ни просил за этого солдата, кого только ни подключал для его спасения — все было тщетно. Человека, у которого вся грудь была в медалях и орденах, Москвич приказал расстрелять перед строем, якобы для острастки других. С тех пор они не виделись. Сразу после войны кадрового разведчика отправили на Север, осваивать топи ГУЛАГа, а Москвич оказался, как и положено было таким, в московском аппарате НКВД.

Обычно по окончании дежурства начальник любого управления обязан был докладывать в Москву о наличии или отсутствии происшествий. Поэтому о побеге как о происшествии чрезвычайно важном было тут же доложено, а чуть позже полковник Баранов как кум управления доложил по отдельному телефону о незаурядности события (читатель, думаю, помнит, какими зигзагами мы уходили от погони). Вот в связи с этими событиями и был откомандирован сюда Москвич.

Так через тридцать лет встретились два старых сослуживца, некогда два старых друга, но давно уже два врага. Москвич, видно, давно уже забыл того солдата, которого расстреляли по его приказу — за войну подобного рода приговоры ему приходилось выносить не единожды — а вот полковник Баранов об этом помнил всю жизнь и потому презирал и ненавидел этого надменного и высокомерного хлыща в военной форме. И вот волею случая он стал свидетелем того, как эта мразь показывает свое истинное лицо, жалобно визжа после удара. Кум управы за свои долгие годы службы в ГУЛАГе становился свидетелем не одного случая, когда били и истязали людей. В большинстве своем это, конечно, были блатные, но он никогда не слышал,

чтобы истинный бродяга издал хоть один звук. Они молча переносили все муки и страдания, а этот… Все это мгновенно пронеслось в голове у кума, а зрелище, которое он наблюдал после моего удара, было для него до такой степени приятным, что он тут же дал себе слово, по возможности не дать упасть с моей головы ни одному волосу. Так он мне и сказал и, к его чести, в будущем сдержал свое слово.

Глава 11
Люди и нелюди

Для того чтобы понять этого человека, нужно представить себе кадрового разведчика, прошедшего войну, награжденного многими орденами и медалями в самой что ни на есть клоаке военного ведомства страны, каким видели военные ГУЛАГ того времени. И это назначение в таежную глушь полковник Баранов (он знал это точно) получил благодаря хлопотам своего старого «друга». Но в его ненависти к Москвичу, как мне кажется, не это было главным. Все эти годы полковник, видимо казнил себя за то, что не смог предотвратить смерть человека, который дважды спас ему жизнь и который был действительно героем.

Сейчас трудно представить себе подобные откровения между полковником управления и арестантом, придерживающимся воровских идей, да еще и недавно совершившим побег, да еще какой побег, но все было именно так.

После того как полковник выговорился, а говорил он около часа и выкурил при этом несколько папирос, он закурил вновь. Тут уж и я, забыв о предосторожности, поддался этому соблазну. Тишина и табачный дым окутали кабинет старшего кума зоны. Мы курили и думали каждый о своем. Но как бы ни тронул меня рассказ полковника, я все же прекрасно понимал, что мы находимся по разные стороны барьера. Да и кто знает, как поведет себя этот человек после столь душевного откровения? Я уже давно уяснил для себя, что никакому менту ни в каких случаях в жизни не может быть никакой веры.

К счастью, на этот раз я ошибся.

Мы молча выкурили по папиросе. Затушив ее в пепельнице, будто она и была его врагом, он поднял голову и сказал мне тоном, не терпящим возражений: «Запомните, Зугумов, я всегда знаю, кому и что можно говорить, и никогда не теряю присутствия здравого смысла. Я все ж таки кадровый разведчик, ну а вам могу сказать на прощание, что вы должны благодарить Бога за то, что в нужный момент оказались в нужном месте, а маму за то, что она родила вас таким, какой вы есть. Сейчас идите в камеру и подумайте над завтрашними показаниями. Москвич не уедет отсюда до тех пор, пока не получит конкретный ответ: откуда вам известны методы Абвера? О том, что произошло здесь в прошлый раз, кроме нас троих, никто не знает. С ним я уже уладил все, что нужно было уладить, так что об этом не думайте. Что же касается вашего языка, то, насколько я

разбираюсь в людях, вы этим пороком [3] не страдаете, иначе я бы не говорил вам всего того, что рассказал только что».

Я поблагодарил его за откровенность и человечность, скупо, как того требовал лагерный воровской этикет, попрощался и, уже взявшись за дверную ручку, хотел было выйти, когда услышал за спиной маленькое дополнение к сказанному, которое в принципе и было главным для меня в нашем разговоре. «Запомните, Зугумов, Виктор Абвер мертв, и он, я думаю, не одобрил бы, если бы вы вдруг стали геройствовать. Проигрывать тоже надо уметь с достоинством, а главное — с умом. Вы проиграли, так будьте же умнее обстоятельств, это уже я вам советую».

Подобного рода методика диалога-допроса, видно, применялась в том ведомстве, к которому был причислен мой собеседник, так что удивляться не приходилось.

Уже по дороге в изолятор я понял, что кумовья знают все, да и глупо было бы думать иначе. Я еще ни разу даже не видел старшего кума зоны — Юзика, а он, как читатель, может быть, помнит, был опером высшего класса и даже совмещал работу опера зоны со следственной работой на свободе.

Но тем не менее, видно, не посчитали нужным подпустить его к делу на этой стадии, и уже одно это говорило мне о многом. Я думал почти всю ночь и пришел под утро к такому выводу. Я действительно не наврежу покойному Абверу, если скажу, что, общаясь с ним некоторое время, я слушал его рассказы, некоторые подробности запомнил и вот при побеге решил их применить. Ну а о том, что побег не был мною заранее тщательно подготовлен, говорил уже тот факт, что мы были пойманы. Если бы я изучил все нюансы подобного предприятия, они бы нас не взяли. Этой версии я и решил твердо придерживаться.

Не ведая, что предначертано свыше, не знаешь ни чего хочешь, ни как поступить лучше, а потому или бредешь к миражам вслед за своей фантазией, или следуешь за разумом, еще более опасным, нежели фантазия, ибо он ведет то к добру, то к злу. Но все же главным для меня было то, что я не один. Где Артур? Почему его вообще нет в изоляторе? Что с ним? Вот вопросы, на которые я не знал ответов, но надеялся получить их во время допроса. Было и еще одно обстоятельство, которое доставляло мне головную боль. Как состыковать показания? О том, что я должен грузиться, не было и речи, ибо, во-первых, я принадлежал к воровской масти, а Артур был мужиком по жизни, а в этих случаях, по неписаным воровским законам, вину на себя всегда берет бродяга. Ну а во-вторых, так уж ложилась карта по ходу дела.

Но, слава Богу, опасения и переживания мои были

напрасными, ибо после завтрака мне ответил на все вопросы все тот же полковник Баранов, ну а все остальное было делом моей изобретательности.

Почти с момента нашей поимки Артур находился на «головном», в санчасти, у него началась на ноге гангрена. Видно, у этого нечистого мусорского волка были действительно ядовитые зубы, а как можно было еще назвать эту тварь, которая не дала фактически нам уйти и обрекла на такие муки.

Начальником санчасти на «головном» была подполковник Полина Ивановна, фамилию этого ангела-хранителя зеков Княж-погоста, да и не только зеков, я, к сожалению, не помню. Она, можно сказать, спасла не только ногу Артура, но и его жизнь.

Эта женщина-врач заслуживает того, чтобы я уделил ей хоть несколько строк в своей книге. Во-первых, за все мои двадцать с чем-то лет, проведенных в тюрьмах и лагерях, я не встречал такого человека. Именно человека, ибо назвать ее мусором или лепилой не поворачивается язык. Это была ладная и красивая на восточный манер женщина. Красивые ноги подчеркивали ее статность, а кучерявые волосы, черные, как вороново крыло, и миндалевидные глаза придавали ее облику какую-то загадочность. Еврейка по национальности. Врачом она была от Бога. Ей было абсолютно безразлично, кто лежит в данный момент на ее операционном столе — заключенный или вольный человек, она делала для них все возможное и невозможное. Я затрудняюсь сказать, что ее удерживало в этом Богом и людьми проклятом месте, где она проработала в должности врача около 15 лет. Скорей всего, из-за практики — она у нее была огромная. За многие километры, иногда и по непроходимым таежным дорогам, ехали к ней люди за врачебной помощью, а иногда и за простым советом. Порой зная, что в лагерной больнице кто-то крайне нуждается в ее экстренной помощи, она иногда в одной ночной рубашке бежала из дому в санчасть, забыв обо всем, кроме одного — как спасти человека. Многих она спасла, проведя уникальные по сложности операции, и я уверен, что многие из бывших каторжан, да и не только каторжан, вспоминают ее с теплом, уважением и благодарной любовью.

Что касается Артура, то он уже поправлялся, но самостоятельно передвигаться после операции еще не мог. Хоть он чуть было и не лишился ноги, но голова его, слава Богу, была на месте. Мусорам он сказал: «Пока не увижу показания Зугумова, ни писать, ни говорить ничего не буду, хоть режьте меня на части». У нас, на всякий случай, был свой маяк, разработанный еще в лагере в Дачном поселке, в Орджоникидзе, так что Артур мог выявить любой поддельный почерк мгновенно.

Почти все это рассказал мне полковник, даже вслух предположил, что у нас есть свой «цинк» какой-то. Он был умным кумом и порядочным человеком настолько, насколько можно было быть порядочным в его шкуре. Наблюдая за ним, за манерой его разговора, за мимикой, движениями, я все больше проникался к нему уважением, но выражалось оно у меня лишь в душе, все же по жизни мы оставались врагами. Но если быть до конца откровенным, то врагом я его уже не считал — по большому счету, конечно. Но все же решил положиться на время, как всегда делаю в случае каких-либо сомнений.

Показания свои я написал собственноручно, и полковник позволил мне даже черкнуть короткую малявку Артуру. Забегая вперед, скажу, что она дошла по назначению. В день моего последнего допроса, а он, можно сказать, был первым и последним, мы проговорили с Барановым почти до вечерней поверки. Многое из сказанного им тогда мне пригодилось в дальнейшей жизни, на многое он мне открыл глаза, но никогда и никому я не говорил об этом. Да и сейчас, думаю, не стоит, потому что понять меня будет нелегко, а если говорить точнее, то, по большому счету, меня поймут единицы, а эти единицы — старые каторжане и, как ни странно, старые гулаговские рыси — менты.

Глава 12
Встреча с Артуром и этап на Весляну

Со времени последнего допроса прошло около недели, когда однажды после вечерней поверки дверь моей камеры открылась вновь и в нее, прихрамывая, вошел Артур, таща за собой чуть ли не волоком огромный кешарь. Сказать, что мы были рады встрече, — значит ничего не сказать. Мы проговорили до самого утра, а после утренней поверки, по окончании 15 суток после поимки и моего водворения в изоляторе, ДПНК зачитал нам постановления о том, что мы переводимся на следственный режим содержания, ибо против нас возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РСФСР — побег.

После этого нас перевели в другую камеру, выдали матрацы, одеяла и подушки с несколькими простынями и наволочками. Как положено, и в нашей маленькой каморке-камере началась чисто тюремная жизнь, хотя в принципе она и не прекращалась. Через стенку с обеих сторон были камеры изоляторов, поэтому почти целый день у нас уходил на движения. От одного нужно было что-то принять, другому передать, третьему ответить на маляву и так далее.

Что касается быта, мы, естественно, жили в более привилегированных условиях, то есть на общем положении, а такое положение обязывает арестанта ко многому. Здесь не существовало таких понятий: не могу, не хочу, не получается, некогда… Было одно понятие: обязан — и этим все сказано. Друзья и земляки нас поддерживали с зоны как могли и чем могли, помимо того, что шло с общака. По лагерным меркам, мы, можно сказать, почти ни в чем не нуждались, до такой степени непритязательны были наши потребности и так высоко было чувство товарищества у всех наших близких, а близкими нашими помимо личных друзей были все бродяги этой командировки.

Прошло около месяца. Мы думали, что так и будем сидеть до суда под следствием в зоне, но для этих целей в управлении была пересылка — Весляна, а точнее, одна из двух ее частей, называемая бетонкой. Вот туда нас и этапировали. Читатель, возможно, помнит, как в предыдущей книге я описывал недолгий путь из Весляны в зону, поэтому не буду повторяться.

Итак, мы прибыли на пересылку без каких-либо задержек и приключений. Я как-то рассказывал об одной из ее частей — «деревяшке», что же касалось «бетонки», то отличалась она немногим. Разве что пол здесь был сплошь цементным, нары

везде одноярусными и сидели здесь только отрицаловка под раскруткой и воры. Правда, и отношение мусоров всех категорий к нам было совершенно иным, чем к людям, только что прибывшим этапом и находившимся на «деревяшке». Меня и Артура поместили в одну камеру — № 3, что нас, конечно же, обрадовало. Для администрации пересылки не имело значения — подельники мы или враги; главное, чтобы без кипиша. Здесь, на Севере, для всех, кроме блатных, существовал один устав: «закон — тайга, медведь — хозяин» — так любили выражаться менты этих мест по случаю и без такового. Это было их любимой присказкой.

В камере, где теснились шесть человек, нас встретили чисто по-жигански. Тем более что я повстречал здесь своего старого приятеля и земляка, с которым еще в детстве вместе крал и беспризорничал и которого уже много лет не видел и даже не знал, где он. Это был Юрка Солдат. Артур тоже его немного знал.

Солдат поджег с корешами зону в поселке Вэжаэль и при разборе загрузился сам. Теперь вот ждал суда, как и все мы, сидящие под раскруткой за то или иное преступление.

Но эта приятная встреча с Юркой была не единственной. Как я был рад, когда узнал, что из воров на пересылке сидят Коля Портной и Гена Карандаш.

Уже в день нашего прибытия на пересылку, после вечерней поверки, воры подтянули меня к себе в хату. С Портным и Джунгли я расстался сравнительно недавно, а вот Гену не видел несколько лет.

Как он, бедолага, изменился за эти годы! Я его помнил живым и бодрым старичком, готовым всегда при случае блеснуть тонким юмором и посмеяться. Он был всегда подтянут, аккуратен и одет с иголочки. Теперь же я видел перед собой лишь тень Гены. За эти несколько лет он сильно сдал, осунулся, сгорбился, похудел до неузнаваемости. Да, видно, годы и тюрьма дали о себе знать, ведь ему в то время было без малого лет 65. Думаю, нетрудно догадаться, как мы обрадовались встрече. Карандаша вывезли из сангорода, и куда отправят, он, естественно, не знал и ждал разнарядки.

Дипломат же остался на сангороде, на больничке.

Что касается Портного, то, забегая вперед, скажу, что он так и остался на пересылке и освободился оттуда 25 декабря 1975 года. Я хорошо запомнил этот день, но об этом чуть позже. Увы, мы виделись с ним в предпоследний раз — вскоре после освобождения он скончался. Карандаша же через несколько месяцев после нашей встречи вывезли за пределы Коми АССР, и с ним мы, к сожалению, тоже больше никогда не встретились. Он

умер, и, к стыду своему, я даже не знаю, где именно, но точно знаю, что где-то в тюрьме…

Как обычно, время пролетело незаметно, нам было что вспомнить. Перед утренней поверкой я ушел к себе в камеру, и воры пообещали, что постараются перетащить меня к себе, как в прошлый раз, но, к сожалению, не получилось. Особой беды в этом не было. В любой момент, когда ворам было нужно, любой из бродяг или мужиков мог оказаться в их хате до следующей поверки. Все, или почти все, здесь у урок было схвачено.

Порой, живя на свободе и наблюдая за суетой, враждебностью и всякого рода аферами вокруг жилищных вопросов, я всегда удивлялся людям, которые за несколько квадратных метров жилой площади могли поставить ни во что самых близких людей, и это еще мягко сказано. Когда мне попадаются подобные, частенько вспоминается камера № 3 на «бетонке», на пересылке Весляна. И сразу становится ясным, что никто из этих горе-маклеров никогда не испытывал ничего подобного тому, через что довелось пройти нам, а если бы и захотел испытать, то в такую камеру его бы, конечно, не пустили никогда. Место таких чертей на параше. Делайте выводы сами.

Вся камера (где-то 6 х 4 м) была покрыта почти сплошняком деревянными нарами. Лишь где-то около метра от конца нар до дверной стенки был проход, где мог тусоваться только один человек: от параши до противоположной стенки, а точнее, до четверти выпираемой печи, которая доходила до потолка и обогревала зимой две камеры, а топилась из коридора. Это был распространенный вид построек-печей здесь, на Севере.

Спали мы, тесно прижавшись друг к другу, иначе бы всем места не хватило. На один час в сутки всех нас выводили на прогулку и оправку. В камере не было почти ничего лишнего, этакая спартанская обстановка, созданная гулаговским режимом. Ни матрацев, ни подушек — ничего, что могло бы хоть отдаленно напомнить о том, что люди, находящиеся здесь, обыкновенные подследственные, которые имеют право содержаться на общих основаниях. Постель нам заменяли наши личные вещи, которые валялись под нарами. Не было даже радио.

Зато у каждого имелось по нескольку колод стир. Карты были почти единственным нашим времяпрепровождением. Играли мы, естественно, без интереса, на маленькие бумажные кружочки, называемые наклейками. Они лепились на лицо в зависимости от проигранных партий. Длилась игра очень долго и требовала максимальной собранности, памяти и, конечно, ума.

Ни ложек, ни мисок, ни кружек, кроме как во время кормежки, в камеру не давали. Даже попить воды приходилось

просить у ключника.

Казалось бы, как можно ужиться в таких условиях абсолютно разным по характеру и привычкам людям? Но все это не было для нас главным. Основным же критерием в нашей жизни оставалось то, что нас объединяла воровская идея. Проведя в этой камере лето и осень, я не могу припомнить, чтобы кто-нибудь из нас хотя бы просто поругался между собой, не говоря уже о чем-то более серьезном. Целый день из нашей камеры доносился смех. Никому и в голову не могло прийти переживать из-за предстоящего нового срока. Это шло вразрез с нашими понятиями.

Как-то в пору моей юности один из авторитетнейших урок того времени, Вася Бузулуцкий, спросил у меня: «Как думаешь, Заур, кого боятся воры?» Этот вопрос застал меня врасплох и привел в замешательство. Я думал целую неделю, да не один, а почти целой камерой. Дело в том, что сидели мы в грозненской тюрьме в одной хате, но ответ так и не смогли ни у кого узнать. А ответ был предельно прост и в комментариях не нуждался: дураков.

Но вернемся на пересылку. Режим содержания здесь был, если можно так выразиться, тюремным раем. За день наша кормушка открывалась самое малое 50 раз. Грели нас отовсюду, и не просто грели — арестанты делились от души чем могли. Грев шел как с общака, так и личный. Почти каждые десять дней приходил этап с Большой земли. Общак пересылки пополнялся, по сути, за их счет. Через забор с пересылкой была головная зона Весляны — 3/1, оттуда с общака мы получали основной грев. В сангороде нас тоже не забывали, я уже не говорю о ворах. Их забота о нас была постоянной, и не только в плане грева, но и с моральной точки зрения, что было для нас куда важнее…

Поистине иногда, когда мы перестаем верить в непосредственное явление и прямое откровение Бога, покровительство и помощь неба проявляются посредством дружбы, солидарности и преданности нам подобных.

Так в суете тюремного бытия проскочило лето, но оно принесло мне, наверное, самое желанное известие из всех, которые я получал когда-нибудь. Из письма жены я узнал, что 21 июня у меня родилась дочь Сабина. Это известие внесло кое-какие коррективы в мое отношение к жизни, заставило много над чем задуматься, но не более. Я не знал еще тогда, что ненависть к ментам будет всегда брать верх над привязанностью к ребенку, но подсознательно понимал это, поэтому счел своим долгом написать честно письмо своей жене, по возможности объяснив ей ситуацию, в которой я находился. В конце письма сделал маленькую приписку, разрешив ей поступать так, как она считает

нужным в отношении обустройства своей дальнейшей судьбы.

Но, как бы я ни хотел выкинуть все из головы, образ моей дочери, такой, как я ее себе представлял, стоял передо мной до тех пор, пока через годы, проведенные в неволе, я не увидел ее воочию.

Гену Карандаша уже забрали на этап, а через несколько дней после этого на пересылку заехали два вора — Бичико и Толик Тарабуров (Тарабулька). Как говорится, свято место пусто не бывает. Бичико был уже в возрасте где-то около сорока. По Коми его знали как вора почти все, кому положено знать. Как и все грузины, он был очень общительным и добрым человеком.

Что касается Толика Бакинского или, как его еще называли, — Тарабульки, то о нем чуть позже будет особый рассказ, ибо с ним жизнь сводила меня по командировкам не раз. Пока скажу лишь одно: он был моим ровесником, невысокого роста, очень надменным, симпатичным молодым человеком. Таким, какими бывают почти все молодые блатняки, обремененные огромной властью в эти годы.

Естественно, наше знакомство и общение с ворами были постоянными, а раз в неделю я получал весточку из сангорода от Дипломата, после разлуки с Карандашом он тоже занемог, но потом взял себя в руки.

Глава 13
«Народный суд»

Расслабляться вору в таких условиях никак нельзя, да и не только вору. Где-то в конце октября нас с Артуром заказали на этап. Буквально за несколько дней до этого Дипломат прислал нам всего понемногу в дорогу, как будто знал, что заберут на днях. Нога у Артура давно зажила, но он так и продолжал хромать всю жизнь. Эта тварь в образе волка своими бивнями задела сухожилие…

Уезжали мы из зоны на пересылку в летнюю жару, возвращались же, когда в небе уже летали белые мухи. Нас вновь посадили в ту же камеру, откуда вывозили, и мы стали ждать суда, который был и не судом вовсе, а так — балаганным представлением. Судите сами, можно ли назвать судом действо, во время которого не предоставляется адвокат, не дается последнее слово подсудимому, не говоря уже о прениях сторон. Но для того времени и места, где мы находились, все это было естественным ходом событий. Впрочем, все же хоть чуть-чуть написать об этом цирке надо, исключительно в назидание нынешним служителям правосудия, к сожалению, особо не блещущим ни компетенцией, ни демократическими устремлениями, ни правозащитой.

В кабинете хозяина зоны, куда нас привели сразу после утренней поверки, сидели несколько человек. Среди них старший лагерный кум Сочивка, сам хозяин — Марченко, а также молодой человек в очках а ля Берия и строгом бостоновом костюме, похожий на педанта и интеллигента местного разлива. Рядом с ним сидела женщина, по существу ничем особым не отличавшаяся от остальных особей подобного рода, потому что женщиной назвать ее было очень трудно. Эта карлица сидела за столом хозяина зоны, и весь вид ее говорил о том, что хозяин положения — она. В ней почему-то сразу чувствовалась какая-то внутренняя собранность, да и внешняя тоже. Я точно помню, что первое, что мне пришло на ум, так это ее сходство с черепахой. Аскетизм воззрений сквозил во всем ее облике, особенно ярко, наверное, выражаясь в глазах. Они просто пылали каким-то диким пламенем, как у пантеры, готовой броситься на добычу. Вот эта особа и была нашим судьей. Ну а молодой человек был прокурором.

Нас пригласили сесть, и спектакль, в котором нам отводилась роль зрителей, начался. Целый час мы слушали мнение кума и

хозяина о нас, затем минут по двадцать судья с прокурором говорили о советском правосудии, которое не должно щадить таких паразитов общества, как мы. Затем, после почти двухчасовых дискуссий между собой, вспомнили и о нас, задав вопрос, на который просто необходимо ответить: «Признаете ли вы себя виновными?» Я ответил, что перед людьми, которые находятся в этом кабинете, я никакой вины абсолютно не чувствую. Артур был солидарен со мной. Не знаю, поняли ли они мою иронию, думаю, что да, а впрочем, им до лампочки все то, о чем мы говорили.

После этого нас увели в камеру. А вечером, после поверки, пришел ДПНК и от имени народного суда Коми АССР объявил нам приговор: мне добавили один год, а Артуру полтора. Хотелось бы мне знать, чем хоть они руководствовались, давая такие сроки? Позже мне объяснили, что раз у Артура десять лет основного срока, значит, у него больше резонов бежать, чем у меня с моими четырьмя годами.

Не знаю, насколько была верна эта версия, но нас она уже не интересовала. Единственное, что действительно огорчало нас, так это то, что нам в самом скором времени предстояло расстаться. При определении режима мне вменили статью 24 УК, то есть особый режим содержания, — меня признали особо опасным рецидивистом. Руководствовались они тем, что этот лагерный срок — моя шестая судимость.

Ровно через неделю Артура выпустили в зону. Мы думали, что больше никогда не увидимся, поэтому расставание наше было трогательным. Но судьба распорядилась иначе. Еще месяц я находился в камере один, на общих основаниях, и ждал этап на одну из командировок особого режима. В нашем управлении их было два: один открытый — Чиньяворик, другой закрытый — Иосир.

За то время, пока я еще находился в зоне, но в камере, друзья мои собрали меня на этап. Они даже справили мне всю полосатую робу, начиная со шкар и кончая бушлатом и шапкой; даже клифт сшили с подкладкой из вольного одеяла. В общем, я был готов.

Шел к концу 1975 год. Морозным декабрьским утром меня заказали на этап. Я давно ждал его и душой уже, можно сказать, давно был там, где мне и надлежало находиться, — воображения мне было не занимать.

Часть II
Сознание ломает бытие

Глава 1
Полосатый рейс

В предыдущей книге я описывал в общих чертах структуру особого режима, поэтому, думаю, нет нужды повторяться, хотя некоторые характерные особенности как самого режима, так и людей, связанных с ним, читателю, пожалуй, будет узнать небезынтересно.

Как-то давно, уж не помню, в какой тюрьме или на какой из пересылок, я услышал анекдот о полосатиках — так называли лиц, к которым был применен особый режим, или сокращенно ооровцах, то есть особо опасных рецидивистах.

Вот его содержание: «Пересыльная тюрьма. Большая общаковая камера, контингент в основном молодежь, придерживающаяся воровских традиций, мужики, ну и, как обычно, пара-тройка парчаков и „гребень“ в придачу. Так вот, в один из дней открывается дверь и в камеру входит полосатик с двумя увесистыми сидорами. В общем, затаренный сверху донизу. (Я уже говорил, что до указа 1961 года все режимы на тюрьмах и пересылках сидели вместе.) Для вороватой и неискушенной молодежи того времени ооровец был почти всегда чуть ли не живой тюремной легендой. В связи с этими понятиями молодые арестанты, естественно, сразу нашли ему шконарь, проходняк, уже на подходе был чифирь с „музафарским“ чаем, как вдруг, еще не распаковавшись и не успев расположиться, полосатик заявляет: „Ребята, не обессудьте, но я обиженный!“ Раздосадованные таким поворотом событий арестанты уже указывают (что важно понять) ему место где-то недалеко от параши, но, учитывая все тот же статус полосатого, хоть и обиженного, оставляют его в покое. Так и харчуется „сам на сам“ этот субъект с недельку, пока в камеру не вводят нового постояльца, и тоже с особого режима. Увидев того, кто уже неделю как в камере, вновь прибывший ооровец приветствует его по-братски. Молодые сокамерники ему говорят: „Поостерегись, братан, это обиженный“. Абсолютно сбитый с толку новичок, зная этого человека многие годы заключения, смотрит вокруг, чтобы понять, что за чепуху они мелют, как вдруг его взгляд останавливается на двух кешарях, которые, как вы помните, этот лис, а по-другому его и не назовешь, занес неделю назад переполненными в камеру. „Да! — улыбнувшись присутствующим сокамерникам, говорит вновь прибывший ооровец. — С такими сидорами я тоже пидор!“»

Думаю, мораль этого анекдота понять несложно, она в

принципе и определила мои представления о контингенте, который находился на особом режиме. Но это было до тех пор, пока я не встретился с ворами, которые в принципе и сидели в основном на особом, начиная с Гены Карандаша и заканчивая Колей Портным.

Последнего вывезли именно с Иосира, и воспоминания об этом лагере были еще свежи в его памяти, и он делился ими с тем, кто находился с ним рядом, в том числе и со мной. Поэтому, прибыв в зону, я имел хотя бы некоторое представление о том, кто сидит в этих шести бараках особого режима Иосира, а из двух зон особого режима управления мне выпал по распределению именно Иосир.

Лагерь закрытого типа, поэтому почти вся хозобслуга была с черного, то есть со строгого, режима. Здесь все жили по мастям, как и в любом воровском лагере на других режимах, но со значительным дополнением. Если в обычном лагере некоторых вновь прибывших и никому не известных арестантов приходилось узнавать иногда годами, то на особом режиме этого этапа дознания кто есть кто — не было, потому что вновь прибывших здесь фактически тоже не было. Человек, попавший хоть раз на особый режим, по статье 24 УПК — особо опасный рецидивист, уже сидел там постоянно, за какое бы преступление он ни был осужден, независимо от того, в лагере ли оно совершено или на свободе. Если же попадались единицы наподобие меня, то и они никогда не нуждались в дознании. Пока шла подготовка к отправке на зону, по беспроволочному телефону уже прозванивалось, кто едет и какой багаж везет за плечами.

Да и сами люди, осужденные на особый режим, знали, что плести лапти здесь бесполезно. Обычно еще не наступал отбой, а о человеке уже знали все, что было нужно, даже в каком роддоме тот родился, если это кого-то интересовало. Так что каждый знал свое место под этим барачным лагерным солнцем в клеточку, и поэтому здесь была относительная тишина и покой, а главное — идеальный воровской порядок во всем.

На любом особом режиме, тем более закрытом, всегда находилось по нескольку душ воров, и Иосир в этом плане не был исключением. Здесь мне довелось свидеться и познакомиться с самыми авторитетными ворами России нашего времени: Васей Бриллиантом, Песо, Русланом Осетином.

К сожалению, двоих из них, Васи и Песо, уже нет в живых, а вот с Русланом после долгого перерыва мне удалось встретиться, но, к сожалению, опять в неволе. В 1996 году я находился в Матросской Тишине, на «тубонаре», а он сидел напротив, «на кресту». Затем, когда 11 сентября меня увозили в Бутырки, он же

и провожал меня так, как мог проводить только истинный вор.

Но на Иосире у меня ни с Русланом, ни с Васей общения, по большому счету, не было, потому что они сидели в БУРах-одиночках (на особом режиме в БУР сажали только на год, и обязательно в одиночку). Здесь не было общих буровских камер, как на строгом, на котором и больше шести месяцев БУРа не давали, — это потолок.

А вот с Песо мне довелось побывать не только там, но и в зоне на Княж-погосте, да и на сангороде на Весляне немного. Общение с этим удивительным человеком дало в будущем ощутимые плоды, а светлая память о нем, так же как и о других ворах, у меня сохранилась на всю оставшуюся жизнь.

В то время Песо было где-то немного за сорок. Высокий средней упитанности грузин, всегда подтянутый и аккуратный во всем. Даже пуговицы на телогрейке он застегивал все до единой. По всему видно, что в свое время он получил неплохое воспитание. Я ни разу не слышал, чтобы он на кого-либо повысил голос. Что же касалось авторитета, то он у него был сродни разве что авторитету Васи Бриллианта, Черкаса, Огонька, Хасана, Каликаты да Васи Бузулуцкого, ну а эти воры на все времена не нуждаются ни в каких комментариях. Одним словом, это была личность, да и не только в преступном мире.

В бараке, где мне пришлось провести полгода, из воров находились Песо, Хайка и Студент. Барак был большой, где-то на 80—100 человек, и в этом бараке сидели те, кто свято чтил воровские законы, и те, кто честно придерживался их, то есть воровские мужики. Были, правда, и те, кто оступился где-то, когда-то, на каком-то отрезке пути в сложных лабиринтах ГУЛАГа, но если воры их прощали, в основном за прежние заслуги, то и они были в этом бараке.

Здесь, так же как и во многих других местах заключения, я встретил нескольких своих знакомых, с которыми либо где-то воровал, либо где-то сидел, либо где-то вместе бродяжничал. Но главным, конечно, было то, что, как только я зашел в барак, меня позвал к себе Песо. В проходе сидели воры и те, кто близок к ним. Мы познакомились, попили чайку, погуторили. Мне задали несколько вопросов, скорее исходя из «регламента», чем по надобности, а затем Песо сказал мне: «За тебя, Заур, пришла малява из сангорода от Дипломата, этого нам достаточно, будешь рядом, а пока располагайся и отдыхай с дороги». На этот случай рядом с ворами и бродяжней, что их окружает, всегда были свободные шконари, на одном из них я и расположился.

Глава 2
Воровская почта

К камерной жизни среди воров мне было не привыкать, приходилось и мне также писать малявы по поручению и от имени воров, но такого объема работы, какой пришлось делать здесь мне и другим, сродни мне, арестантам, я до сих пор еще не видел и не выполнял. Любая мало-мальская разборка, затрагивающая в какой-то степени воровские устои, включала в себя маляву, которую посылали либо сюда, на Иосир, либо на сангород Весляну, в зависимости от того, где было большее количество воров, и вся эта корреспонденция шла со всего Устимлага. В малявах этих была лагерная жизнь такого огромного региона страны, как Коми АССР. Помимо разборок туда включались отчеты лагерных и тюремных положенцев об общаках, о действиях шпаны во благо и на благо преступного мира и всего хода воровского — в общем, почти вся информация о жизни во всех лагерях и пересылках Коми.

Естественно, один и даже пять воров с таким потоком информации не справились бы никогда. Вор никогда не оставлял без внимания ни одну маляву, кем бы написана она ни была, главное, что обращались именно к вору, а значит, чтили, признавали, а коли так, то отказа со стороны воров тем, кто к ним обращался, не было ни в чем. В основном писать, а точнее, отвечать на такие малявы приходилось нам — тем, кто рядом с урками. Малява так и начиналась: по поручению и от имени вора такого-то маляву пишет тот-то.

У воров было дел не меньше. Им приходилось тоже успевать отвечать на самые серьезные малявы. В частности, это касалось тех вариантов, когда адресат должен знать руку вора и тем самым доказать авторство малявы тем, кто должен был увидеть написанное; малявы чисто воровского толка, малявы, заключающие в себе серьезные разборки на уровне положенцев зон, ну и все остальные подобного рода.

Некоторым читателям, возможно, все написанное может показаться простым времяпрепровождением арестантов в тюрьме, но, уверяю вас, все далеко не так просто. Жизни и судьбы людей решались порой на клочке бумаги, исписанном мелким, почти мизерным почерком, спрятанном в заднем проходе, провезенном через множество лагерей и пересылок и называемом малявой.

Зная всю сложность пути подобного рода корреспонденции, ее важность и значимость с вытекающими из этого

соответствующими последствиями, мы старались всегда быть собранными и предельно внимательными, зная, что от этих наших качеств может зависеть чья-то честь, судьба и жизнь, что в конечном счете для порядочного, настоящего человека почти всегда одно и то же.

Помимо подобного рода деятельности хватало, конечно, и других дел, связанных с пользой для общего блага, но если писать обо всем, то может получиться отдельная книга, да и для непосвященных это, пожалуй, будет скучновато.

Хотелось бы также отметить такую весьма важную деталь, что для нас не существовало ни дня, ни ночи, ни обеда, ни ужина, ни чего бы то ни было другого, если надо было сделать что-то, существенно полезное для общего блага. Смею уверить скептиков — это не пустые слова.

Глава 3
Касты и масти: урки, бродяги, мужики

Вот в таких или почти таких заботах у нас и проходило время заключения, хотя я бы не сказал, что урки подпускали к подобным делам всех без разбора. Достаточно маленького пятна в биографии, и путь в воровское сообщество таким людям был отрезан навсегда. Под словами «воровское сообщество» в данном контексте я, естественно, имею в виду не быть вором, а находиться рядом с ворами.

Здесь царил строгий воровской уклад, и каноны его гласили: «Даже если захочет, бродяга маху дать не сможет, у него просто это не получится, потому что он бродяга!» Это следовало понимать так, что человек, прожив много лет по законам определенного общества, в данном случае воровского, спонтанно или как бы ненароком нарушить их не сможет, потому что у такого человека уже выработалось определенное постоянство во всех жизненных перипетиях, видимо связанное с какими-то рефлекторными данными.

Отсюда вывод: «Бродяга косо не насадит», — говорит сам за себя и в немалой степени определяет саму структуру воровского братства. Что же касается ошибок, то не ошибается тот, кто не живет; но ошибка ошибке рознь, так же как и проступок — проступку.

Так что не следует считать правдой, а тем более серьезно относиться к россказням и фантазиям всякого рода писак и говорунов о том, что кого-то внедрили в воровскую среду, и прочую ерунду на этот счет. Ну а фильмы с подобного рода сюжетами говорят лишь о бездарности сценариста и моральной непорядочности режиссера, ибо они лгут зрителю с экрана, считая его, зрителя, глупым, тупым обывателем.

В этой связи я хотел бы уверить любого и каждого, что, если человек не то чтобы не принадлежал к воровской масти, а даже если бы и отсидел не один десяток лет в тюрьме, он не смог бы засухариться среди воров, это исключено. Случались, конечно, единичные случаи, но это обычно были старые бляди или скурвленные мрази, которые в свое время находились рядом с ворами не один год, но их разоблачение было обычно делом самого ближайшего времени.

Каждый день, проведенный на Иосире, в бараке среди людей, которые меня окружали, я узнавал что-то новое, делал какие-то выводы, что-то мотал, как говорится, на ус, что-то отклонял, что-

то вбирал в себя как губка, в общем, жил и дышал полной грудью всем тем, что меня окружало.

Глава 4
Разжалование на строгий

Так незаметно подкралась весна.

У Песо сильно болел желудок, а здесь ему стало совсем невмоготу, один за другим начались приступы, и в конце концов его вывезли на сангород и тут же сделали операцию — чуть ли не полжелудка вырезали, но, слава Богу, тогда все обошлось. К лету мы ждали его назад в зону, как вдруг нагрянула какая-то шальная комиссия из Москвы. Планы многих каторжан изменились, но вот только в лучшую или худшую сторону, никто еще не знал, разве что Всевышний, но нам, грешникам, было до Него не достучаться.

Меня вызвали на эту комиссию абсолютно неожиданно, где-то в середине июня — точно помню, что день моего рождения уже прошел. Я был в полном недоумении и в какой-то мере в замешательстве, когда один из членов этой самой комиссии — белобрысый тип в круглых очках-линзах и фетровой шляпе — объяснил мне:

— К вам, Зугумов, по ошибке секретаря суда незаконно был применен особый режим, поэтому вы вновь возвращаетесь на строгий, и тем самым законность восстанавливается. Я надеюсь, вы довольны тем, что справедливость восторжествовала? — с ехидной улыбкой спросил меня этот пижон от юриспруденции.

Доволен ли я? Да я готов был голыми руками задушить этого хилого блюстителя закона. Судя по возрасту и положению, которое он занимал среди членов комиссии, он не мог не знать, что люди, подобные мне, сами, независимо от того, в лагере их судят или на свободе, просят в последнем слове у суда не снисхождения к содеянному, а при избрании судом режима содержания — особый режим.

Но делать было нечего, как говорится: против лома нет приема, а ломом как раз в данном случае был закон.

— Ничего не поделаешь, — сказали мне кореша, когда я пришел в барак и сообщил им эту новость, и стали готовить меня в дорогу. Неожиданные повороты судьбы здесь давно уже никого не удивляли, разве что нервировали, меняя планы.

Как я узнал позже, особый режим мне действительно дали незаконно, ибо в случае совершения нового преступления в лагере он применялся лишь тогда, когда довесок к основному сроку был пять лет и больше. У меня же весь срок округлили до пяти лет, добавив год. Но, с точки зрения юриспруденции того времени, это был, конечно, сущий пустяк, ибо такими пустяками

грешили почти все правовые институты как на севере ГУЛАГа, так и по стране в целом, и удивляться этому не приходилось.

Глава 5
Записки путешественника

Я опять находился в дороге. Хоть и было на этот раз нас в «воронке» всего лишь трое, но тем не менее пот лил с нас градом. Благо еще, что все мы были щуплыми, а иначе, возможно, кто-то из нас мог бы и не доехать. Сидели мы, раздевшись по пояс, но больше всего меня удивляло то, что из нас троих я чувствовал себя лучше всех.

Уже чуть позже, пообщавшись с конвоем, я узнал, что у одного из моих попутчиков — невысокого молчуна, на котором не было живого места без наколок, — был рак. Другой по состоянию здоровья был, видно, ненамного лучше, да и выглядел вдвое старше меня.

— Скоро ли доедем до станции? — спросил я у одного из тоже изнывающих от жары конвоиров.

— А станции не будет, — услышал я в ответ, — едем на Весляну, на сангород, не видишь разве? — указал на «ракушника»: — Это спецэтап.

Все было ясно, и удивляться не приходилось, благо солдаты-конвоиры вели себя прилично и по истечении нескольких часов, уже и не помню скольких, мы прибыли на сангород, на станцию Весляна, чтобы выгрузить моих попутчиков, которые, кстати, за все время нашего пути не проронили ни слова. Я тоже их расспросами не беспокоил, понимая, хоть наверняка не до конца, что у них было на душе.

Единственное, что я услышал от них при расставании, когда они выходили из «воронка», было: «Прощай, братишка».

Я остался один. Духота была несусветной, тем более что мы стояли, ибо при движении еще какой-никакой ветерок погуливал по «воронку».

Я лежал на одной из трех лавок, в ситцевых шароварах, и обмахивался хозяйским вафельным полотенцем, мокрым от пота, когда услышал, как конвой кого-то подсаживает в «воронок». Перевернувшись со спины на бок в сторону двери и внимательнее приглядевшись — а в «воронке» в любое время суток был полумрак — я даже вскрикнул от удивления и неожиданности, узнав в этом сгорбленном, ворчливом, одышливом незнакомце Песо. Он тоже сразу узнал меня, но без малейшего удивления. Мы по-братски обнялись, и я помог ему расположиться.

Мы присели на лавочку, и, пока «воронок» ехал до станции, я вкратце успел рассказать, как здесь очутился. То же, что касалось

зоны, он знал, лежа на больничке, не хуже меня, но все же некоторые новости он еще не успел узнать: не было подходящего курьера, и я их ему поведал.

Что же касалось самого Песо, то ему все та же комиссия в связи с тяжестью болезни тоже изменила особый режим на строгий. Главный вопрос, конечно, заключался в том, на какую зону он попадет. Но вопрос этот волновал только меня, ибо очень редко кому доводилось приходить на зону с ворами, да еще с такими, как Песо.

Вору же не было разницы, куда его везут: там, где был вор, там все было воровское: порядок, законы, жизнь.

На станции мы просидели в «воронке» с Песо еще с полчаса, пока нас не поместили в купе «столыпина», где уже находилось несколько человек сродни нам.

В те времена в купе «столыпина» вместе сажали только тех, у кого в деле большими буквами было написано «ВОР», иногда и тех, у кого была надпись «придерживается воровских идей», но чаще всего к ворам не подсаживали никого. Теперь менты сделали некоторое исключение по одним им известным причинам, и вчетвером мы спокойно доехали до станции Железнодорожная, то есть я вновь прибыл туда, откуда бежал.

Для Песо же было двойной неожиданностью, когда его определили, так же как и меня, на «тройку». Дело в том, что Княж-погостское управление считалось самым худшим в Устимлаге. Что же касалось «тройки», то благодаря Юзику ее считали самой худшей из всех трех зон. Ну а появление такого вора, как Песо, естественно, было в первую очередь не на руку куму.

Но на этот раз палочку, видно, держал другой дирижер, так что куму пришлось принять этого уркагана.

К тому времени ни на «тройке», ни во всем Княже никого из воров не было. Хорошо помню, как тогда встречать Песо к вахте вышла вся «блатная тройка». Приезд на зону вора — большое событие в жизни лагеря, а уж такого, как Песо, — тем более, но особых перемен и новшеств оно за собой не принесло. Это было и понятно, ведь в лагере уже давно твердо был установлен воровской ход. Другой вопрос, чего это стоило бродягам все время поддерживать его с таким кумом, как Юзик, по большому счету никого не волновал. Страдать все привыкли и страдали. На войне как на войне… Да и очередной урка Боря Армян покинул зону не так давно.

Глава 6
Наследники Дзержинского и вшивые бега

И здесь, на «тройке», мы жили с Песо в одной секции и числились в одной двадцатой бригаде на лесозаводе. За исключением Юзика, все менты ходили к этому уркагану на поклон, почти все харчевались с его доброй воровской руки, а этот змей кум, хотя и был исключением, не оставлял меня ни на один день в покое.

Я до сих пор не могу понять, за что ненавидел меня этот садист. Ничем особенным среди остальных нарушителей режима я не выделялся. Но, видно, у этого демона на этот счет было свое субъективное мнение, и я все же склонен предполагать, что связано это с побегом. Но от моих предположений легче мне не становилось. Единственным, от кого не мог отмазать меня Песо, был кум. Это, конечно, если не считать, что из десяти раз запала дважды мне все же удавалось уйти от его недремлющего ока, и это, безусловно, было благодаря Песо. Но остальные восемь раз был изолятор, и причем количество суток я тянул себе сам из его лагерного стоса, в котором было в два раза больше тузов, чем в обычной колоде. Если же учесть, что в лагерном стосе колода начинается с семерок, а туз считался у кума как пятнадцать очей, то есть пятнадцать суток, то нетрудно представить и приблизительно подсчитать, по скольку суток приходилось сидеть в изоляторе тем, кто тянул карты из его дьявольской колоды. Так что я гнил в изоляторе по полной кумовской программе.

Дилетанту преступного мира подобное отношение могло бы показаться как бы милостью легавых, ведь по законам того времени в изоляторе достаточно было отсидеть два раза по 15 суток — и этого человека могли (и менты этим пользовались постоянно) посадить в БУР. Но весь садизм ситуации заключался в том, что в БУРе человек сидел как бы на общих основаниях, его отличало в основном то, что, во-первых, приходилось коротать все время в камере, а во-вторых, здесь матрацы давали только на ночь.

Что же касалось изолятора, то здесь ты не мог делать почти ничего, а единственной привилегией, которой мог пользоваться, — дышать, да и то зловонным запахом, постоянно доносившимся из параши.

Правда, была и еще одна привилегия, точнее будет сказать, это было нашим единственным увлечением — если не было в

камере стир, их заменяла другая, уверяю, не менее азартная игра, но ее мы придумали сами — это были вшивые бега. На нарах чертили круг. Каждый, кто желал участвовать, заранее отлавливал у себя подходящую вошь (а в том, что они есть, не могло быть даже сомнений) и ждал начала состязаний.

Как только делались ставки, которые обычно оплачивались по выходе из изолятора, вшей опускали одновременно в центр круга, и начинались бега. Я даже не могу передать, каким это было захватывающим зрелищем.

Молодые менты, которые только что пришли на зону и дежурили вместе со старыми ключниками, поначалу диву давались и никак не могли взять в толк, что же мы делаем, сидя в кругу на нарах, и чем так увлечены, ибо наше поведение было сродни поведению людей, сидящих за игорным столом возле рулетки. Старые менты подолгу держали этих салаг в неведении и в этом, видно, находили свой кайф.

Жили же легавые и каторжане обычно мирно, никто никому не грубил и не хамил. Если в день Бог посылал чаю хоть на пару глоточков чифиря, считалось, что день был прожит шикарно, ну а если удавалось еще и выщепить пару напасов махорочки, то можно было считать этот день бархатным подарком судьбы.

Так что благодаря исключительно кумовской заботе я не сидел пока в БУРе, но и изолятор, в котором гнила вся шпана зоны, мы в скором времени вспоминали как санаторий, но об этом позже. А пока мы — повседневные и постоянные обитатели сей мрачной обители, с опаской и постоянной злобой поглядывали на восточную часть зоны, где строился этот самый новый БУР вместе с изолятором. Весь бетон мразье, что его строило, мешало с солью, а Юзик не отходил от них до тех пор, пока при нем не насыпали соль и не размешивали этот раствор. Нужно было такое усердие для того, чтобы в построенной цементной коробке-камере была постоянная сырость. Ни зимой, ни летом стены здесь не просыхали вообще, по ним постоянно стекала вода. А это прямой путь к чахотке. Все делалась наглядно и, даже можно сказать, демонстративно, чтобы все видели будущее обитателей этого склепа.

Это был один из методов борьбы с нарушителями режима содержания в колонии. Порой уже издали можно было видеть высокую и стройную фигуру этого воплощения садизма и зла на самом верху постройки и, наблюдая, слышать, как он отдает свои козьи приказы.

Человеку образованному и обладающему определенной долей фантазии, глядя на эту мрачную личность, в голову могло прийти сравнение Юзика с сиракузским тираном Дионисием I,

который еще в четвертом веке до нашей эры построил в Сиракузах странную тюрьму, поместив во всех камерах подслушивающие устройства и что-то еще, слава о которой дошла даже до наших дней под названием «Ухо Дионисия».

Не берусь гадать, что будет через века, но знаю точно, что до сих пор постройку, а точнее ее архитектора, люди, находящиеся до сих пор в этом изоляторе, проклинают и будут проклинать столько, сколько будет существовать этот изолятор.

Но это была лишь часть тех изощренных методов, которые ожидали постояльцев каземата, изобретенного этим кумом Дионисием II.

Осень у арестантов считается самым тяжким и коварным периодом года да, наверное, и не только у арестантов. Недаром чахоточные говорят: «Мы живем от весны до осени». Что касается других лагерных болезней, то и они, естественно, протекают ненамного легче, но, в отличие от коварной чахотки, дают о себе знать сразу, равно как и старые раны, когда они неожиданно открываются. Где-то ближе к зиме Песо здорово занемог, открылись старые болячки, и его вновь вывезли на сангород — на станцию Весляна. Его отъезд был началом и без того не светлой полосы кумовского террора по отношению ко мне. При Песо Юзик еще как-то сдерживал себя, побаиваясь каких-то ответных действий уркагана, но с его отъездом препятствий для кума уже не было.

Глава 7
Мрази

Фактически как побегушник я должен был находиться в тридцатой бригаде и спать в отряде, в который входила эта бригада. На самом же деле спал я в одной секции с Песо и числился, так же как и он, в двадцатой бригаде, на лесозаводе. Но при любом лагерном раскладе на биржу путь мне был заказан — у меня в деле стояла жирная красная полоса: склонен к побегу.

С отъездом Песо Юзик решил восстановить статус-кво, и через несколько дней я уже числился в тридцатой бригаде и спал в отряде, куда входила эта бригада, только в секции, естественно, другой. Мы с Артуром взяли себе один проход, там и притухали.

Что представляла собой тридцатая бригада? Публика в ней была — хуже не придумаешь. Вообще-то она считалась бригадой склонных к побегу, но какой только нечисти в ней не было! А в принципе вся лагерная нечисть в ней и была.

Бригада была приравнена к склонным к побегу потому, что ни один из ее членов не выходил на биржу, заведомо зная, что ждет его там либо болото, либо горящая гора опилок, либо просто смерть, в лучшем случае без мучений. Иначе и быть не могло, ибо в лагере эти «труженики» под руководством кума строили для нас новый БУР, выполняли всю работу, связанную с укреплением запретной зоны, следили за каждым движением в лагере, которое могло дать хоть малейший сбой в сложном механизме лагерного уклада. Те, кто был среди этой нечисти очка ниже, а были еще и такие, чистили по всей зоне дальняки, баню и прочие отхожие места.

В общем, за исключением нескольких человек, а было нас таких семеро, вся бригада работала на «козьих постах». Редко кто просто так дотрагивался до этой нечисти, потому что они были опущены до такой степени, что уже и сами-то давно за людей себя не считали.

Единственная привилегия в этой бригаде со стороны арестантов была к петухам. Их была в тридцатой, по неофициальным сведениям, половина. Это был настоящий публичный дом. И днем и ночью, в любое время каждый, кто мог заплатить за удовольствие, мог снять на ночь любого кочета и повеселиться, как ему вздумается. Главным было наличие либо чая, либо денег, но самой разменной монетой был, конечно, чай.

Вот в какой бригаде я числился в то время вместе со своим подельником Артуром и еще несколькими такими же, как и мы.

Близился Новый, 1977 год, но для меня и моих близких он не нес никаких существенных перемен. Я был склонен рассуждать по-лагерному пессимистически, судьба же, как обычно, распорядилась по-своему.

Был у нас в зоне в штабе администрации шнырь по фамилии Каспаравичюс. Небольшого роста, всегда угрюмый и злой на всех козел, этакая плюгавая гнида, которую порядочному человеку хочется придавить сразу, как увидел. Родом он был из Прибалтики, сроку имел 15 лет, точнее, он уже добивал эти 15, и оставалось ему сидеть меньше года. Весь срок эта падаль провела среди лагерных мусоров, шестеря им и выполняя любую работу, лишь бы быть с ними рядом.

Однажды сделав свой выбор, этот человек знал, что путь назад для него был заказан. Нескольким ребятам в свое время по его вине добавили сроки. На нескольких процессах был свидетелем со стороны администрации. По мнению арестантов, эта мразь жила уже лет десять лишних.

А сидела эта падаль за пособничество фашистам во время войны. Полицаем он был в своем районе, где-то под Ригой. Почти все тюремное и лагерное начальство того времени имело в своем окружении на побегушках именно таких типов, которые готовы были в любое время продать родную мать, лишь бы их не кинули в общую камеру, не отправили или на биржу, или на повал в общей бригаде. Для них это было равносильно смерти, но не просто смерти. Сначала их насиловали кто хотел и как хотел, а затем продолжались муки ада, но не простого ада, а ада лагерного. А подобного рода ад, смею заметить, наверное, похлестче загробного, ибо Бог может миловать грешника, здесь же милости этим ничтожествам ждать было неоткуда.

Если исходить из статуса о козьих рангах, то такие, как он, были ниже лагерных педерастов. Представьте себе человека, который на каком-то отрезке заключения споткнулся по большому счету, да так, что в конечном счете стал петухом, то есть лагерной девкой. Сколько унижений, издевательств и мук приходится терпеть такому человеку и как он зол на все человечество! И вдруг к таким, как они, бросают змея, которого менты по каким-то причинам разжаловали, использовав его как презерватив и выбросив на помойку. Какая жизнь адова ожидает такого человека, оставляю воображению читателя… Думаю, нетрудно догадаться, как претенденты на лагерные должности цеплялись за свои сучьи места в свите лагерной администрации.

Одним из таких ничтожеств и был этот самый Каспаравичюс.

Так вот, однажды, а было это накануне Нового года, я проходил мимо ларька, как вдруг услышал ругань и угрозы

мужиков в чей-то адрес. Возле ларька услышать такое было редкостью. Потому что это был лагерный магазин, а не базарный лабаз. Здесь всегда царил воровской порядок: все стояли в очереди, никто ни с кем не ругался и не ссорился — мужики вели себя скромно, по-арестантски. Так что подобного рода шум заинтересовал меня, и я направился прямо к двери ларька. Издали я успел увидеть, как этого самого Каспаравичюса шнырь ларька уже впустил без очереди и за ними закрылась дверь, чуть ли не у меня перед носом.

Мужики зашумели еще больше, но, когда я стал подбирать подходящее полено из кучи дров, что лежали сложенными возле дверей, меня стали отговаривать от моих намерений, прекрасно понимая, что сейчас может произойти, и нисколько не сомневаясь в этом. Все эти уговоры были, конечно, напрасны, и тем не менее я спокойно выслушал их из уважения к сединам этих работяг, а сам искоса поглядывал на дверь, сжимая в руке полено.

Я и такие, как я, арестанты были каждый день на грани подобного срыва, ибо нагнетание атмосферы ненависти и злобы создавала сама администрация во главе с кумом.

Я уже как-то упоминал, что никто из нас, за исключением старых, умудренных опытом лагерной жизни каторжан, не думал о последствиях. Мало того, почти никто из нас не верил, что он вообще освободится когда-нибудь, поэтому нам было все, по большому счету, без разницы, лишь бы нанести побольше вреда легавым. Шло открытое противостояние, никто ни от кого не скрывался, а, наоборот, каждая из сторон наглядно демонстрировала свою непримиримость.

С нашей стороны это было признаком хорошего воровского тона; что думали менты на этот счет, мы не знали, но догадывались.

Я попросил мужиков немного отойти от двери, а сам пристроился прямо у выхода и стал ждать. Прошло минут пять, наверное, если не больше, прежде чем дверь открылась и на пороге появились две паскуды, весело болтая между собой и ни на кого не обращая внимания. Шнырь ларька приоткрыл наполовину дверь, а Каспаравичюс, держа авоську, наполненную харчами, хотел было выйти, мило прощаясь с другом, как тут же стремглав я влетел в ларек, сжимая в руке полено, и с лету саданул им шныря по лбу. Как он умудрился среагировать на удар, до сих пор не могу понять, видать, это у него уже в крови — сучий инстинкт дал о себе знать. В доли секунды он успел отшатнуться на несколько миллиметров в сторону — и полено прошло вскользь по лбу, оставив кровавую отметину, но не причинив значительного вреда, ударилось о стену и выскочило у

меня из рук.

Момент, пока я поднимал полено с земли, был достаточен для того, чтобы этот недобитый кабан с криком: «Помогите, убивают!» — выскочил из ларька и бросился было в сторону вахты, но кто-то из мужиков подставил ему подножку, и он растянулся на промерзшей земле, уткнувшись в нее поцарапанной и разбитой мордой. После увиденного эта мразь перестала меня интересовать.

Покрепче и поудобнее схватив полено, я ринулся в глубь ларька по коридору. Сам ларек находился дальше, в квадратной комнате, размером 6 х 6 м. В коридоре же, в маленькой комнатушке слева, выдавали жетоны, проверяя заблаговременно наличие денег на лицевом счету, то есть на карточке. Но предупрежденный моими действиями и криком шныря и, видно, сообразив, когда я не выскочил за этой мразью на улицу, что туча эта собирается над его головой, Каспаравичюс не растерялся. Этой мразоте, видать, не раз приходилось бывать в переделках куда покруче.

Он взял один из самых больших ящиков, которые лежали в углу ларька, и встал у одной из стен прохода, хладнокровно поджидая меня. Как только я вбежал в это помещение с поленом в руке, он нанес мне такой удар по голове, что я рухнул на пол как подкошенный и тут же потерял сознание, а он ринулся к двери на выход по тому же коридорчику, по которому бежал недавно я, но в обратную сторону.

Я недолго находился в беспамятстве. Спасло меня от неминуемой гибели одно из двух: либо я вбежал слишком быстро и эта мразь не успела прицелиться, либо Всевышний полагал, что еще не пришло мое время, и не дал мне умереть, хотя я думаю, что вторая версия вернее.

Удар по голове мне пришелся как раз железным уголком ящика. Я был весь залит кровью, голова гудела как пчелиный улей, и поначалу, когда я пришел в себя, то не смог сразу разобрать крики, которые доносились из глубины прохода и где-то совсем рядом. Но потихоньку я оклемался, снова схватил полено и услышал вдруг крик еще сильнее, чем прежде.

Оказывается, это орала продавщица. Я подошел к ней, еле волоча ноги, и постарался успокоить, пытаясь при этом выдавить некое подобие улыбки. Не знаю, правда, какая могла выйти улыбка на этом окровавленном лице, но она, как ни странно, успокоилась. Для большей убедительности я объяснил ей, что у нас свои счеты и ей нечего бояться — ее никто не обидит. Говорил я ей все это через окно, даже не заходя за прилавок, а затем пошел по коридору в сторону выхода. Я именно шел, а не

бежал, потому что у меня раскалывалась голова и почти каждый шаг давался с большим трудом. К тому же, когда я еще успокаивал продавщицу, увидел, как Каспаравичюс бил по двери, которую мужики гурьбой приперли с улицы, и орал благим матом, угрожая им, но они были непреклонны и не давали ему выйти.

Медленно, с каждым моим шагом, уменьшалось расстояние между нами. Кровь залила мне все лицо, у меня даже не было сил ее вытереть, — видок был тот еще! В какой-то момент Каспаравичюс повернулся ко мне лицом, на долю секунды наши взгляды встретились, и, видно, он прочел в моих глазах смерть, ибо заверещал так, как будто я его уже резал. Он попытался броситься назад в ларек, но проход был слишком узок, и не успел он приблизиться ко мне на расстояние вытянутой руки, как я нанес ему удар по голове поленом такой силы, что он рухнул на пол замертво.

До сих пор не знаю, откуда взялись силы для такого удара, потому что в следующую же секунду у меня все поплыло перед глазами, полено выпало из рук, и я рухнул рядом с этой недобитой свиньей, которая все слышала, но признаков жизни не подавала, зная, что сейчас прибудет наряд лагерных надзирателей.

Беготня вокруг нас, шум и гам слились для меня в единый звук, я лежал с закрытыми глазами, но тем не менее мне казалось, что они вот-вот вылезут из орбит. Боль была невыносимая, но приходилось терпеть и, к сожалению, так же как и эта падаль, изображать покойника.

Разница была лишь в том, что он симулировал из страха, чтобы я его не добил, я же симулировал, опасаясь того, что менты меня кончат, даже не донеся до санчасти. Откровенно говоря, слово «симулировать» не вполне отражает суть вещей, поскольку оба мы были в то время почти покойниками.

Забежавшие менты были, видно, в большом замешательстве, увидев такую картину: все смахивало на обоюдную драку, хотя они точно знали — этого не может быть. К сожалению, я не видел их лиц, но мог их себе представить. Когда стали меня поднимать, я потерял сознание, и с этого момента оно то приходило ко мне, то я терял его вновь. Но как меня несли на носилках мужики на «головной», помню точно. Они, бедолаги, думали, что я умираю, и бежали изо всех сил, а один из них постоянно приговаривал: «Потерпи, родной, потерпи, еще немного осталось», когда я начинал постанывать после очередной кочки. Как меня принесли на больничку и что было дальше, я уже не помнил, потому что задолго до этого потерял сознание, и оно вернулось ко мне уже

не скоро. У меня было тяжелое сотрясение мозга, у этой падали тоже, но ему впоследствии пришлось делать еще одну операцию, так как мелкие осколки раскроенного черепа травмировали мозг.

Забегая вперед, скажу, что, на счастье порядочных людей, этот недобитый фашист и лагерная сука в придачу к концу срока окончательно съехал по фазе и был уже безвреден даже для ребенка, ну а пока он лежал в палате рядом со мной в еще худшем состоянии, чем я. Почти две недели я лежал сутки напролет не шевелясь и даже почти не открывая глаз, ибо боль была невыносимой. Когда же я чуть-чуть пришел в себя, то и тогда без посторонней помощи не мог даже выйти по нужде. Рану на голове мне давно зашили, но она болела по-прежнему, почти не переставая. Постепенно боль становилась все терпимей и терпимей, я старался тоже не расслабляться, держал себя в руках, я знал, что главное было — не нервничать.

О том, что я был окружен братской заботой как со стороны друзей своих, сидевших на «головном», и которых я долгое время не видел, так и со стороны босоты в целом, думаю, говорить и писать излишне. У меня было все, что можно было иметь в неволе.

Глава 8
Опять изолятор и одиночка

В один из дней моего пребывания «на кресту», а это был первый день, когда я самостоятельно смог дойти до туалета, меня тут же перевели к себе на «тройку» и посадили в одиночку. К сожалению, я даже не смог как следует проститься с корешами: меня увели неожиданно, прямо на рассвете.

Видно, эти ублюдки тоже постигли где-то мудрость преступников, которая гласила: воровать всегда лучше под утро, когда у человека самый сладкий сон. Таким образом, некоторых из моих друзей по лагерю я не видел уже больше никогда, некоторых же встретил спустя многие годы.

К сожалению, в жизни арестанта лагерные дороги всегда непредсказуемы, и ты никогда не знаешь, где будешь не завтра, а через час или даже десять минут. Правильно говорят в народе: «Пути Господни неисповедимы»…

Объяснение моего перевода в таком состоянии со стороны кумчасти было следующим: санчасть внутри никем не охраняется и, таким образом, будучи в состоянии передвигаться самостоятельно, я могу зайти в хирургическое отделение, где лежала эта недобитая падаль после операции, и довести дело до конца.

Что же касалось мотивации относительно моего перевода в тяжелом состоянии из санчасти непосредственно в изолятор, то ее просто не было, да и не нужна она была никому, поскольку на таких, как я, никакие лагерные льготы или что-то в этом роде не распространялись. Я знал об этом, поэтому и не роптал.

Вот таким образом я и оказался вновь на своих, ставших уже родными нарах изолятора «тройки». Здесь же, в этом земном аду, в этих застенках ГУЛАГа, жизнь била своим ключом, чаще, правда, по голове тем, кто здесь сидел, а значит, мучился и страдал. У таких, как я, это было, видно, написано на роду.

В изоляторе в то время стали кормить через день: то есть если сегодня вам давали общаковую пайку, как в зоне, то завтра один только хлеб и вечером кипяток в придачу. Называлось это — «день летный» и «день нелетный».

Меня этот рацион, как обычно, не особенно волновал, но теперь уже по нескольким причинам.

Прошла неделя с того дня, как меня поутру перевели с «головного» назад — на «тройку».

Я все время лежал на голых нарах в одиночке, подложив под

голову куртку. Шнырь топил мою камеру на совесть, так что было тепло и по-камерному уютно. Меня никто не беспокоил; здесь, так же как и на больничке, у меня было все: курево, чай, еда, и все это лежало открыто.

Никто из мусоров не прикасался ни к чему, они знали, когда, с кем и как можно и нужно обращаться. Они всегда держали руку на пульсе событий и очень редко ошибались в выборе позиции, если не сказать — не ошибались вовсе. Это идеально отлаженный механизм ГУЛАГа еще со времен ЧК, ГПУ и НКВД. Так что опыта им, гиенам, не занимать…

Хоть и было у меня все, о чем может мечтать любой арестант в изоляторе, я почти ни к чему не притрагивался, только пил иногда воду и, помня совет несравненной Полины Ивановны, постоянно лежал, ни на что не обращая внимания и не нервничая. Хоть меня и не совсем устраивал такой распорядок дня, но в конечном счете он дал свои положительные результаты. Я понемногу пришел в себя. Голова уже почти не болела, меня перестало знобить, но, к сожалению, я ничего не ел и даже не курил вообще, как ни странно.

Моей единственной потребностью было жгучее желание поговорить с кем-нибудь из собратьев, так надоело и становилось жутким почти постоянное одиночество в камерах. Но я выходил из затруднения, беседуя сам с собой.

Тот, кто не единожды сидел в одиночках или жил в уединении, знает, до какой степени человеческой природе свойствен монолог. Слово, звучащее внутри нас, вызывает порой своего рода зуд. Разговор вслух наедине с собой, прочел я когда-то у кого-то из философов, производит впечатление диалога с Богом, Которого мы носим в себе. Таково, как всем известно, было обыкновение Сократа.

Глава 9
Зугумов, с вещами!

Однажды ночью, задолго до подъема, а подъем у нас был в пять часов утра, я услышал шум открываемых внешних дверей в изолятор. Это был непривычный шум, и насторожил он, вероятно, не только меня, но и других, ибо по всему изолятору прокатилось тихое волнение. Завсегдатаи этих мест почти всегда знали, в какое время и по какому поводу может открыться та или иная дверь изолятора, за редким исключением, когда ситуация была неординарной. По всей вероятности, с моей точки зрения, она была в этот момент именно такой, я это буквально всем своим существом почувствовал.

В подтверждение этому через несколько минут шаги нескольких человек остановились у моей камеры — и я услышал какие-то переговоры. Как я хорошо знал этот бархатный голос, который вел их и в котором по временам слышалось шипение гадюки! Через несколько минут дверь моей камеры, скрипнув ржавыми петлями, приоткрылась — и на пороге появился Юзик, ДПНК и какой-то незнакомый мне офицер с солдатом, которые стояли чуть поодаль в коридоре. Я чуть приподнялся с нар, упершись в них локтями, и ждал, что скажет мне этот демон, но ничего хорошего я, естественно, услышать не ожидал.

— Собирайся, Зугумов, с вещами, — сказал кум, безо всяких вступлений и проволочек.

Вещей у меня никаких не было, какие вещи в изоляторе? В зоне-то, конечно, у меня было кое-что, но, как я понял, их мне не видать, равно как и своих товарищей, с которыми мне вряд ли дадут попрощаться.

Юзик зашел прямо в камеру, и за ним прикрыли дверь, что уже было исключением из всяких правил. Медленным взглядом он окинул келью арестанта, как я называл про себя свою обитель, независимо от того, в какой камере тюрьмы или лагеря я сидел, затем взгляд его остановился на нарах, где открыто лежали курево, чай и некоторые харчи.

— Видишь, как заботится администрация о твоем здоровье: ничего не трогает, разрешая тебе в изоляторе и курить, и есть вольные продукты. Ты должен ценить такое отношение к себе, Зугумов, — сказал кум тоном эсэсовского врача-экспериментатора, при этом еще и мило, хотя и с ехидцей, улыбаясь.

После такого начала я уже был уверен, что ничего хорошего

меня не ждет, ибо это был пряник, ну а кнут, я знал, должен был появиться позже, при определенных обстоятельствах, естественно, но иллюзиями я себя, конечно же, не тешил.

— Да, вот еще что, — как бы между делом продолжал этот бестия, — ты потихоньку-полегоньку собирайся пока, сейчас шнырь принесет тебе гарную телогреечку, как тебе по статусу положено, затем безо всякого кипиша мы потихонечку пойдем в зону, оберегая сладкий, предутренний сон твоих сокамерников. В противном случае ты сам знаешь, что тебя может ожидать, а ты еще очень болен, раз, я смотрю, даже к куреву еще не притрагивался. — При этом он кинул взгляд на две пачки сигарет «Охотничьи» и пачку «Беломора», которые лежали на нарах чуть поодаль от меня и были нераспечатаны.

Делать было нечего, я слишком хорошо знал, в каких случаях от мусоров можно было чего-то добиться, а когда они были непреклонны, исходя из известных, в основном только им, обстоятельств. Все мои выводы и умозаключения заняли меньше минуты, и, ничего не говоря в ответ, я молча поднялся, надел лагерные брюки и куртку — подобие пижамы, только из милюстина, положил в карманы курево и спички и уже потом надел поверх телогрейку, которую принес шнырь, обул тапочки и не спеша, без малейшего кипиша вышел из камеры.

Зона еще спала, когда я проследовал за своими провожатыми на вахту и через несколько минут сидел в «воронке», который уже, видно давно, ждал меня у внешних ворот лагеря, а еще через полчаса «воронок» остановился на окраине какого-то поселения. Это оказалась станция Железнодорожная. Переговоры диспетчеров по громкой связи подтверждали это.

Да и у меня еще были свежи воспоминания об отдельных эпизодах побега, как мы, затаясь в вагоне, сидели с Артуром и ждали. Ждали коренных перемен в жизни, ждали фарта. Как можно было забыть эти воспоминания под звучные голоса диспетчеров по громкоговорителю, как можно было перепутать это место с чем-нибудь еще? Но тогда я был полон надежд, пусть в значительной степени и несбыточных, но надежд, а сейчас…

Сейчас же я сидел в темном «воронке», ибо еще не рассвело, и как бы я ни духарился перед кем-то, даже и перед самим собой, но все же мне было, откровенно говоря, не по себе. Немного я чего-то боялся, как все нормальные люди, немного это состояние было вызвано полной неопределенностью — в общем, мне было грустно и тоскливо. Но все же я надеялся — не знаю на что, но опять надеялся.

Чувство, связанное с надеждой, всегда приходит неожиданно. «Надежда», как о многом говорит одно это слово! Что-то

подсказывало мне, что при любом раскладе все будет нормально, нужно только потерпеть еще немного и оставаться самим собой. Это чувство было сродни внутреннему голосу или, вернее сказать, голосу откуда-то свыше. Честно говоря, я не знаю, как его описать, по-моему, это бесполезно, да и ни к чему, ибо мне кажется, что у каждого человека в определенные минуты жизни возникает подобное чувство. Одни называют его внутренним голосом, другие — гласом Божьим, третьи — как-то еще.

Глава 10
Стрелять на поражение, в живых не оставлять!

Пока я ждал поезд со «столыпинским» вагоном, мною овладело глубокое раздумье, которое делает невидящим взгляд и словно заключает человека в четырех стенах. Есть мысли, которые заводят в такую глубь, что требуется время, для того чтобы вернуться на землю. Я был погружен в одно из таких размышлений.

Что же касалось причины столь поспешного моего этапирования, то она заключалась вот в чем: в лагере, который находился в поселке Синдор, произошли события, которые заставили призадуматься и многое пересмотреть для себя не только каторжан, но и администрацию всего ГУЛАГа Коми АССР.

Из лагерей на лесоповалы бригады перевозились либо по лыжневке на машинах, либо по узкоколейке на маленьких паровозиках, называемых в народе кукушками. Этот паровозик тянул за собой ряд таких же маленьких вагончиков с зарешеченными окнами и в сопровождении солдат охраны — как в каждом открытом тамбуре вагона, так и в конце и впереди всего состава.

В этот злополучный, трагический день бригады ехали с лесоповала в лагерь. Путь был неблизок. В вагонах рядом с мужиками лежали и их инструменты, среди которых были бензопилы «Дружба» и горючее к ним. Никто не знает, как произошел пожар, потому что никого из свидетелей происшедшего не осталось в живых. Да разве трудно представить себе эту картину? Кругом бензин и сухая древесина; малейшее неосторожное обращение с огнем — и катастрофы не избежать.

Но при любой подобного рода катастрофе есть хотя бы один выход, правильный он или нет — это уже будет ясно впоследствии, но какой-то выход непременно есть. В данном же случае у людей, которые ехали в этих нескольких вагонах, выхода не было. Безо всяких сомнений, в любом случае их ждала только смерть.

Когда вспыхнул огонь, он, очевидно, стал распространяться с катастрофической скоростью, и люди, обезумев от страха быть заживо сожженными, взломав решетки на окнах, стали на ходу выпрыгивать из вагона наружу.

Как, видимо, были удивлены в свои последние минуты эти бедолаги, когда, выпрыгнув из вагона и избежав неминуемой

мучительной гибели, они попадали под пули конвоя и падали замертво! Что думали они непосредственно перед смертью? Как жестока судьба? Как коварны и безжалостны люди?

Как могло такое произойти, спросите вы? Да очень просто. Оказывается, по инструкции заключенный, выпрыгнувший из вагона, подлежит немедленному уничтожению, то есть в него стреляют на поражение, но вот относительно той ситуации с пожаром в инструкции не было сказано ничего.

Начальник конвоя посчитал, что лучше пристрелить с десяток заключенных, чем потом отчитываться перед начальством, почему он этого не сделал. Таким образом, тех, кто выпрыгнул из вагона, конвой в упор расстрелял, те же, кто не успел выпрыгнуть, сгорели заживо…

Когда очевидцы, которые ехали в других вагонах, пересказывали эту леденящую душу историю, мурашки пробегали по коже даже у видавших виды каторжан.

Сгоревшие люди были размером с полено, ничего и никого нельзя было узнать; что же касалось тех, кого расстреляли, то печать ужаса быть заживо сожженными навеки запечатлелась на их несчастных лицах. В общей сложности погибло около тридцати человек, я точно уже не помню.

В зоне, откуда были эти бедолаги, кипиш. Менты тут же установили на вышках пулеметы и периодически постреливали из них в воздух, усмиряя слишком ретивых арестантов и ожидая прибытия представителей из Москвы. Из столицы тут же прибыло большое начальство, и зону эту расформировали.

Правда, начальника конвоя, который приказал стрелять, осудили на десять лет, но что толку — людей ведь не воротишь, да и фортецала все это была, это знали все без исключения, даже сами менты.

Что же касалось того, почему этот инцидент стал причиной моего этапирования, то менты попросту боялись, что, как только арестанты, находившиеся в изоляторе, узнают об этом, может произойти большой кипиш и главным его зачинщиком буду я, потому что, с точки зрения арестантов и бродяг, терять мне было нечего: так и так раскрутка, а пять лет или десять — не составляло в данном случае большой разницы.

Я уже объяснял нашу позицию по отношению к свободе и прочее, ну а менты знали не хуже нас самих, а в некоторых случаях даже еще и лучше, чего и когда от нас можно ожидать. Для этого на них работали в то время целые институты. Нашими же институтами стали лагеря, а точнее говоря, камеры в этих лагерях.

Но всего этого я, естественно, еще не мог знать, когда,

удрученный невеселыми мыслями, сидел в «воронке» и ждал «столыпинский» вагон, ну а он, как обычно, особо ждать себя не заставил.

И снова этап. Куда? А бог его знает. Но я все же узнал об этом к концу того дня, когда выходил из «столыпина» на станции Весляна под мелодичный лай всегда неугомонных мусорских псов и садился в предоставленный нам в виде лагерного извозчика «воронок». Как можно было не узнать подобного рода маршрут, когда я за год проделал его уже не единожды в ту и другую сторону? До пересылки мы ехали где-то с полчаса. И вновь обрыдлые до «не могу» процедуры шмона, распределения и прочее. Душевная подавленность моя к тому времени прошла, уступив место уверенности вернувшегося домой хозяина и сентиментальному ощущению человека, оказавшегося там, где он провел свою юность.

Меня, как ни странно, поселили на «деревяшке», и уже из одного этого я смог сделать вывод, что под следствием не нахожусь, то есть уголовное дело против меня почему-то еще не было возбуждено.

Точнее будет сказать, его тут же и возбудил кум, я тогда еще находился в санчасти вместе с этой мразью, но кум управления, то есть полковник Баранов, приказал отменить возбуждение, ссылаясь на показания ларечницы, которая в принципе рассказала все как было.

Из чего следовало: главным моментом в этом деле является тот факт, что для вольного человека не было угрозы смерти, побоев и иного насилия, а что касается заключенных, то хоть поубивайте вы друг друга, какое кому до этого дело? Ну добавят пяток лет за такую мразь, как Каспаравичюс, а за обычного арестанта и вовсе не будут никогда возбуждать уголовного дела.

Я бы тоже, конечно, не ушел от наказания, если бы полковник не держал свое слово. Говоря проще, кум оказался настоящим мужчиной. Это было качество, которым в этих местах могли похвастаться немногие, если не сказать, что вообще никто, ибо почти невозможно было обладать качествами, формирующими и определяющими порядочного человека, и в то же время служить лагерным ментом.

Все это я узнал чуть позже от кума пересылки, с которым мне впоследствии приходилось часто видеться, исходя из положения, которое я занимал тогда. Он только удивлялся, как меня все же не раскрутили по полной за все мои подвиги?

Глава 11
Воровская идея и сходняк

Читатель может не поверить, но я сейчас пишу эти строки и сам поражаюсь. Как мог я так относиться к своей жизни? Как мог ее ни во что не ставить? И это в то время, когда у меня была еще верная жена, а самое главное — меня ждала маленькая дочь, которую я с рождения не видел!

К сожалению, опыт к человеку приходит с годами, ум в некотором смысле тоже, так же, впрочем, как и понятия о благе и человеческих ценностях. Но в этой связи все же следует отметить, что время было такое, и мы не могли поступать иначе, чем поступали. Однажды избрав свой путь, мы не могли с него свернуть.

Нормальному человеку понять это будет нелегко, если он вообще будет в силах понять это. Откровенно говоря, я и пишу-то эти строки для молодежи, которая, не думая ни о чем, как и я в свое время, так и норовит оказаться в тюрьме, не зная, по сути, что же это за заведение такое — тюрьма, в надежде на то, что, может быть, хоть кто-то из них возьмет да и опомнится, пусть хоть на самой грани, за которой лишения, страдания и почти неминуемая преждевременная смерть.

Но самая главная их ошибка, как мне кажется, заключается в том, что, думая подчас, что они делают или пытаются сделать то или иное во имя воровского дела, они не знают и порой даже не имеют представления, что же это такое — воровская идея.

Мы страдали за нее, точно зная, что она собой представляет и зачем она нам нужна, все остальное мы считали второстепенным. Глядя же на нынешние преступные сообщества, меня не просто удивляет, а порой даже и бесит: ведь как можно вытворять все то, что творят эти горе-преступники, да еще и причислять себя к воровской братии — это же просто абсурд.

Но вернемся к прерванной хронологии событий. Я прибыл на пересылку в конце января. Коля Портной уже освободился 25 декабря, Тарабульку вывезли на сангород, а на пересылке было два вора — Слава (Сеня) и Бичико. Они и доверили мне смотреть за положением на пересылке.

Острый босяцкий глаз был здесь нужен, наверное, больше, чем где-либо. Каждые десять дней приходили этапы с Большой земли и так же уходили по направлению, уже по лагерям. Кроме этого, каждый день шли этапы, связанные с передвижением арестантов внутри Коми АССР, то есть их перевозили из зоны в

зону, «килешовали» — по-нашему. И вот в таком ритме жизни нужно было проследить, чтобы вовремя собирался общак, чтобы не было при этом никакого беспредела, ибо общак — дело, как известно, добровольное, чтобы в камерах арестанты соблюдали воровские устои, — в общем, дел хватало даже на десятерых. Но многие, конечно, мне и помогали, когда в том или другом этапе шел кто-то из бродяг.

Буквально на следующий день после моего приезда на пересылку из сангорода пришла малява от Дипломата — он передавал привет от Песо и других арестантов, которые меня знали, и сообщил новости, которые мне положено было знать. После моего отъезда из Весляны в зону на суд, Дипломата тоже скоро отправили на зону на Чиньяворик, на особый режим, но у него он был из зала суда, то есть открытый, и вот недавно он был вновь на сангороде.

По всему было видно, что в скором времени должно было произойти что-то серьезное, вплоть до воровского сходняка, и в своих прогнозах я не ошибся. Хотя Дипломат мне об этом ничего не писал, но я мог прочесть и между строк воровскую маляву.

Сходняк состоялся почти сразу после моего приезда на пересылку — так, видно, совпало, и держал его Песо. На нем собрались почти все воры Устимлага, которые могли по тем или иным обстоятельствам присутствовать.

К такому сходняку воры готовились загодя, в строжайшей тайне — потихонечку съезжались к месту сбора, не суетясь и не опережая события.

Организация такого сходняка в заключении требовала от воров таких качеств, которыми могли обладать только люди, привыкшие к строжайшей конспирации, то есть люди умные и дисциплинированные.

Сходка воров в каком-либо регионе России — независимо от того, проходила ли она на свободе или в неволе, — имела огромное значение для всего преступного мира данного региона, если это свобода, и для всего контингента заключенных этого лагерного управления, если это неволя.

Как я уже объяснял чуть раньше, воровские сходняки в Коми проводились в основном на сангороде Весляна. Также я упоминал об авторитетных ворах, а если исходить из того, что у воров нет возраста и все они равны друг другу, то возникает вопрос: как один вор мог быть авторитетней другого? В этом плане я уже объяснял читателю в восьмой главе первой книги, что авторитет у масс вору нужно было завоевывать своими поступками, показывая и доказывая на личном примере, кто такой вор на самом деле и как должен жить человек, посвятивший себя этой идее.

Насколько мне известно, в Союзе в то время было несколько старых, как их еще называли — нэпманских, воров, решения которых нигде, ни при каких раскладах не подлежали никакому сомнению. В первую очередь это — Вася Бриллиант Астраханский, Огонек Питерский, Черкасс Ростовский. Что же касалось воров помоложе, то это были Вася Бузулуцкий Грозненский, Кукла Москвич (кстати, по последнему сроку они были подельниками с Бриллиантом), Хасан Каликата Ташкентский, Рантик Сво, Калина Москвич, Гена Карандаш Питерский, Якутенок Пермский, Володя Хозяйка, Руслан Осетин Орджоникидзевский, Песо Москвич, Мексиканец Орджоникидзевский, Робинзон, Плотник Воронежский, Дипломат Ростовский, Студент Ростовский, Коля Портной Москвич, Шарко Какачия (Старый), Хайка, Жид Ташкентский, Дато Ташкентский, Дима Лордкипанидзе и многие другие.

Но этим ворам «помоложе», за редким исключением, было либо около сорока, либо далеко за сорок. Если же исходить из того, что к каждому из вышеназванных воров был подход в среднем в возрасте 20–25 лет, то нетрудно представить себе и подсчитать, сколько лет человек, носивший имя вора, должен быть идеальным примером для всех окружающих его людей, и быть не просто примером, а выделяться чем-то особенным, чтобы люди шли за ним и верили ему.

По сути, верить можно во все что угодно, но вера становится религией только тогда, когда сплетается с правилами жизни, оценкой поступков, мудростью поведения, взглядом, устремленным в будущее — в данном случае в будущее воровское. Быть одним из немногих авторитетов среди сотен миллионов людей, населявших в то время огромный Советский Союз, да еще находиться почти постоянно в глубоком подполье, — думаю, такой человек заслуживает многого. Умный хозяин, когда узнавал, что через его владения должен проследовать по этапу вор, старался любыми путями заполучить его в один из своих лагерей, зная наверняка, что в этом случае о внутреннем порядке почти при любом раскладе можно не беспокоиться. Вор никогда не допустит беспорядка у себя дома. Урка сам по себе был гарантом порядка, а значит и воровского закона.

То, что при управлении Васи Бриллианта Песо держал тот сходняк, говорило о многом, и в первую очередь об огромном авторитете самого Песо как среди урок, так и среди всего контингента заключенных, об абсолютном доверии к нему. Естественно, последнее слово оставалось за Бриллиантом, а сам он, как читатель помнит, сидел на Иосире в одиночке, но это свое

слово он отдал человеку, который, надо заметить, был одним из самых благородных воров того времени.

Всего, конечно, не напишешь, но могу уверить любого скептика, что все происходило именно так, — я слишком хорошо знал Песо, да в принципе и не только я. Но вот написать о нем в книге довелось мне одному, поэтому и хочется выразить словами все то, что внушал к себе этот человек, каким он был благородным и честным уркаганом. Хотя я и не уверен, что мне это удастся, лишь по одной причине: всего на бумаге не напишешь…

Сходняк тот решал глобальные проблемы не только всего Устимлага, но и ГУЛАГа в целом. Одной из таких проблем были «бирки». Я упоминал об этом на страницах первой книги, поэтому, думаю, нет надобности повторяться.

Что же касалось других проблем, то, в частности, на этом сходняке, насколько я знаю, говорилось о более строгом подходе к тем, кто подрывал устои воровского сообщества, ко всякого рода шерсти, прошлякам, а главное — к сухарям, — эта падаль должна была уничтожаться незамедлительно, как только обнаруживалась, чтобы не успевала нанести много вреда людям.

Исходя из того, что менты в целом по ГУЛАГу усиливали режимы содержания, тем самым нагнетая обстановку, такая мера безопасности со стороны преступного мира была своевременной и актуальной. Я не знал в то время ни одного управления по всему ГУЛАГу, где бы не существовало сучьих зон; в Устимлаге же их не было только благодаря тому, что здесь сидели такие урки.

А если нет всякого рода негодяев и ничтожеств, значит кругом царит воровской порядок. Мужик одет, обут, сыт, что было одним из главных критериев лагерной жизни, я уже не говорю об отсутствии всякого рода беспределов, лагерных интриг и прочем.

Решались на этом сходняке и еще некоторые немаловажные проблемы преступного мира, поскольку маловажных проблем на воровских сходняках не бывает, но о них я умолчу. Во-первых, потому, что не имею права говорить то, что мне доверялось ворами, пусть даже много лет тому назад. Во-вторых, если бы я даже и рискнул написать об этом, поняли бы меня разве что единицы. В-третьих, я не мог знать всего, потому что есть такие вещи, которые воры не могут доверить никому, даже родному отцу. Никому, кроме как своему брату по жизни.

Почти сразу после того сходняка, чтобы не мозолить глаза легавым, воры разъехались по своим зонам, а некоторых менты и сами определили кого куда. Вывезли и Песо. Теперь он попал в Княж-погост, но на этот раз не на «тройку», где был до этого, а на «головной», то есть на «единичку».

Часть III
Страшнее нет советской пересылки

Глава 1
Омск — Томск — Верхоянск — Воркута — Челябинск — Брянск

Уже несколько месяцев я был на пересылке. Один Бог знает, скольких людей я встретил и проводил за это время, со сколькими интересными спутниками познакомился, беседовал, интересовался тем, чего еще недопонимал, но это обязательно должно было быть чем-то из воровского толка, ведь люди в то время сидели разные (впрочем, как и сейчас).

В одной камере пересылки можно было встретить профессора и вора, артиста и мошенника, писателя и убийцу. А объединяло их то, что все они подчинялись законам тюрьмы, но не все, конечно, могли сразу усвоить ее быт и законы, поэтому обращались в основном ко мне, поскольку я был для них как бы дирижером в их оркестре. Я уже полностью поправился, правда голова иногда еще побаливала, особенно когда не высыпался или нервничал.

С наступлением весны началось движение, и не только в природе-матушке, но и во всем ГУЛАГе, хотя здесь оно не прекращалось ни днем ни ночью. Таким образом, в один из апрельских дней 1978 года меня вновь заказали на этап. Ну, к подобному вояжу я был всегда готов. Что нужно-то бродяге? Сидорок со сменкой да чуток харчей в придачу. Я знал, что где бы ни был, куда бы ни забросила меня судьба в стране под названием ГУЛАГ, меня всегда встретят собратья и нужды не будет ни в чем. Так что сидорок бродяжий скорей походил на фартяк, чем на баул. Бродяга всегда оставался тем, кем был, — бескорыстным и благородным босяком. К достойной цели ведут лишь достойные средства, или же цель оказывается достигнута по средствам.

Все дальше на север, в сторону Воркуты уходил тот далекий спецэтап. По ходу, уже в «столыпине», разобравшись по мастям и по росту, мы поняли, что масть по этапу нашему следует одна — воровская, а это значило, что собирали отрицаловку со всех командировок Коми и килешовали кого куда.

Процедура эта была нам всем хорошо известна и не возбуждала никаких эмоций. Скорее наоборот, кто-то встретился вновь после долгой разлуки, связанной с этими самыми килешованиями, кто-то знакомился с теми, о ком слышал заочно, кто-то вообще уже не обращал ни на что внимания, зная главное — он среди своих и можно хоть немного расслабиться. Но это

были в основном старые бродяги-глухари, к ним у нас всегда был особый подход и уважение.

На станции Абезь в купе «столыпина» вошел слегка сутуловатый арестант, худой, как все мы, и с такой же фортецалой, какие были у большинства из нас. Вариантов не было — это наш собрат, но что-то в его облике показалось мне знакомым, тем более в купе всегда полумрак. Когда же он выпрямился и повернулся в мою сторону, я узнал в нем своего старого кореша Женьку Ордина. В первой книге я рассказывал, сколько горя хлебнули мы и трое друзей наших:

Сова, Серега и Харитоша, пройдя через ту злосчастную малолетку. Один из них навеки упокоился, не выдержав мусорского беспредела, который нам чинили легавые.

Но и на свободе мы оставались теми, кем были за колючей проволокой, — верными, преданными и бескорыстными друзьями. И вот встреча, и опять в тюрьме. Это было и грустно и радостно, но ничего не поделаешь, каждый выбирает свой путь. Мы это знали, а потому радости у нас было больше, чем грусти, если не сказать, что грусти (внешних ее признаков) у нас не было вообще.

Женька тоже уже несколько лет сидел, и тоже за воровство. У него со свободы был особый режим, и он отбывал срок на Чиньяворике, на открытом особом, куда его вывозили. Он тоже не знал, куда его везли, но был удивлен тем, что его не посадили к полосатым. Вскоре все стало ясно, а пока мы предавались воспоминаниям об этапах нашего жизненного пути. Нам было что вспомнить…

Когда после суток пути состав ушел от основной ветки влево, всем стало ясно — нас увозят за пределы Коми. Да, это уже была Тюменская область, это уже была Сибирь. Впереди — станция Харпа, особый режим. Эту станцию почему-то еще поэтически называли станция «Северное сияние». Здесь было два лагеря особого режима — «тройка» и «десятка». Иосир и Чиньяворик — особые лагеря Коми — были полосатым раем, по сравнению с этими двумя лагерями Харпы. Здесь ооровцев выводили на работу на каменоломни.

Если просматривать старые военные архивные кинопленки об узниках концлагерей, где их гонят на работу под лай овчарок и свирепые окрики фашистов-автоматчиков, то будет одна и та же картина, не нужно ничего ни переводить, ни воображать. Ужасное прошлое повторялось один к одному. Но здесь, на Харпе, было, пожалуй, покруче, ведь это была не Европа, а Сибирь, и в лицо бедолагам по дороге на работу и назад дул не легкий средиземноморский бриз, а пронизывающий до костей норд с

горы Машка.

Бродяги, которые сходили на этой станции, не расставались с нами, как обычно, на время килешовок, а прощались навсегда, зная, что выживут немногие. Когда выкрикивали фамилии на выход с вещами, мы с Женей слушали с замиранием сердца, не выкрикнут ли его фамилию, потому что у него был особый режим, но, слава Богу, пронесло.

Да, забегая вперед, скажу, что вновь на особый Женька попал много позже. Когда Харпа была позади, те, кто уже бывал в этих краях, вычислили нашу конечную остановку — Лабытнанга, ибо других лагерей рядом не было. Это уже было Заполярье.

Лабытнанга находится на берегу Оби, чуть ниже по течению — Обская губа, а на противоположном, левом берегу — город Салехард. Здесь кончались все дороги, в том числе и железнодорожное полотно, и начинались бескрайние просторы тундры, вплоть до Карского моря и полуострова Ямал.

Все эти просторы были вотчиной ненцев. Здесь уже была вечная мерзлота и ничего не росло. Даже вода была привозной. Городом это поселение жители назвали из тщеславия, ибо, кроме нескольких двухэтажных срубов — школы и еще чего-то, все дома здесь были одноэтажными бараками лагерного типа. Все это я успел про себя отметить, пока наш этап вели в лагерь.

Особенно непривычным было то, что никто из жителей не проявлял к нам абсолютно никакого интереса. Они, видать, жили по старым понятиям НКВД, которое гласило: «Население СССР делится на три категории — на заключенных, бывших заключенных и будущих заключенных».

Прибыло нас на эту командировку девять человек.

Глава 2
Жизнь зека во времена перемен

Что такое гримасы судьбы? В суматохе дней об этом мало задумываешься и, лишь когда она показывает свой смертельный оскал, остро понимаешь, что жизнь, в сущности, зависит от цепи нелепых случайностей и фатальных совпадений. А в итоге решает все роковое стечение обстоятельств.

Так получилось, что попали мы в зону тогда, когда там затевались серьезные лагерные перемены и наше присутствие оказалось очень даже кстати. Тем более что некоторых из моих новых друзей по неволе давно уже знали не только в Устимлаге, но и за его пределами. Да и по возрасту они были почти вдвое старше нас, а свободы не видели почти столько же, сколько некоторые из нас прожили вообще.

Сама структура этого лагеря, отношение администрации к осужденным ничем особенным от остальных лагерей не отличались. Начальство здесь проводило политику кнута и пряника: запугивало одних и что-то сулило другим, жестоко наказывая непокорных и демонстративно поощряя податливых.

Фактически лагеря того времени делились на две категории: воровские и сучьи. Объяснять их значение, думаю, нет надобности, ибо названия говорят сами за себя. Но была еще одна категория лагерей, которая, по сути, считалась воровской, но не была таковой на самом деле. В таком лагере все, на первый взгляд, было то же самое, что и в лагере с воровским укладом. Был также положенец зоны, был, естественно, и общак, грелся изолятор и БУР. Все функционировало как положено, но до тех пор, пока интересы администрации не пересекались с интересами арестантов. Если на воровской командировке шло открытое противостояние и никто никому ничего не хотел просто так, без борьбы, уступать, то здесь по первому требованию ментов все делалось так, как это было нужно ментам.

Все подобные действия были закамуфлированы громкими воровскими лозунгами типа «За жизнь воровскую и смерть мусорскую» или «Благополучие дому нашему общему и всему ходу воровскому» и прочей трескотней.

Мужикам, которые все это видели и слышали, на первых порах трудно было разобрать, где ложь, а где правда. Ну а тот, кто все понимал и не хотел мириться с блядской постановкой, попадал тут же в изоляцию.

Находясь в большой камере изолятора, куда наш этап

поместили на сутки, и переговорив с теми, кто еще верил во что-то и уже устал бояться расправы, нам не составило труда понять все, что творилось на этой командировке. К сожалению, для некоторых из нас подобного рода лагеря не стали неожиданностью, но односторонним подход, естественно, быть не мог, поэтому мы ждали выхода в зону и встречи с положенцем. Набор догм, которые прочно вросли в сознание бродяги, формировал мир, в котором он жил и вне которого не мыслил себя. Когда же возникало нечто грозящее разрушить его инерция сознания стремилась защитить этот привычный мир, так же как любой из людей старался бы защитить дом, в котором он живет, если бы что-то угрожало разрушить его.

Мне кажется, что настало время объяснить читателю суть названия моей книги «Бродяга». Кто же он, человек, который смеет именовать себя так в преступном мире? Для начала немного истории не помешает.

В семнадцатом веке английские законы, направленные против бродяг, всегда отличались крайней суровостью. Один из специальных статутов характеризовал человека, не имеющего постоянного места жительства, как существо «более опасное, чем аспид, дракон, рысь и василиск».

На Востоке отношение к каландару (а именно так здесь назывался бродяга, дословно — бродячий дервиш) было противоположно западным воззрениям. Каландар принадлежал к очень привилегированной касте уважаемых людей того времени. Это объяснялось тем, что бродяга здесь отказывался, можно сказать, от всех земных благ, был, таким образом, ближе к Богу и уходил в дорогу налегке — в поисках Истины.

Что же касалось матушки-России, то она, как всегда, была оригинальна и в этом вопросе. Часть общества презирала бродяг, сажала их в тюрьму, стараясь уничтожить на каторжных работах. Другая же часть того же общества в какой-то мере жалела их. Но была и третья часть, пассивная, которой безразличны жизни и судьбы других людей. Среди представителей этой части больше ценились животные, нежели люди.

Я склонен предполагать, что в преступный мир понятие «бродяга» пришло все же с Востока, ибо восточная мудрость людей того времени здесь прослеживается почти во всех аспектах жизни.

Общеизвестно, что в преступном мире всегда существовало три масти: вор, мужик и фраер. Никаких перестановок на этот счет никогда не было, за исключением маленького дополнения. Как я упомянул ранее, после того как урки стали входить в семью на воровских сходняках, человек, если он раньше мог назвать

себя запросто вором, теперь, не будучи никем представленным на воровской сходке или, говоря нынешним языком, не коронован, называть себя уркой не мог. Хотя в душе, конечно, он и был таковым, но разве могли его понять все, если бы он назвался вором?

Нет, конечно. Его назвали бы самозванцем, а свал у таких людей обычно был всегда один — в могилу.

Поэтому таких людей и стали именовать бродягами. Достоверность моих слов подтверждается хотя бы даже тем, что, обращаясь к вору хоть устно, но чаще все же письменно, правилом хорошего воровского тона является то, что в начале малявы тот, кто обращается к вору, отождествляет урку с бродягой, ибо два этих понятия неразделимы. Поэтому очень немногие могут называть себя бродягами — только те, кто этого заслуживает.

Сейчас в преступном мире, да и не только, на вопрос — кто ты по жизни или кем себя считаешь в этом мире, что в принципе одно и то же, — не задумываясь отвечают: бродягой, даже не удосуживаясь поинтересоваться у людей, более сведущих и авторитетных в этих вопросах. А что, собственно, это значит? Пользуясь случаем, хочу пояснить разницу на благо молодежи и во избежание ею роковых ошибок.

Бродяга — это человек, посвятивший себя всему воровскому, точно так же как и вор, лишь с одной существенной разницей: он «не в полноте». То есть либо еще «не при своих», но в будущем поднимет свой вопрос, либо исходя из преклонного возраста, либо из объективных житейских причин им уже не будет. Но бродягой останется до конца дней своих, так же как и вором в душе.

Советую к моим словам прислушаться любому, прежде чем брать на себя огромный груз ответственности, за который впоследствии придется понести суровое наказание. А говорить, что ты — бродяга, не являясь им на самом деле, слишком опасно. Это на свободе может многое сойти с рук, но, не дай Бог, тюрьма! Так что, думаю, многим стоит задуматься над моими словами…

Ну а теперь, после некоторых полезных советов и пояснений, продолжу свое повествование.

В те времена, о которых я пишу, повсюду в стране, а тем более в тюрьмах и лагерях, существовал строгий воровской закон. В частности, один из пунктов которого гласил: если бродяги, прибыв на зону, в тюрьму, пересылку и так далее, застают там положенца, действия которого, по их мнению, идут вразрез с воровскими канонами, они обязаны незамедлительно отписать об этом либо ворам, которые доверили зону этому положенцу, либо

любым находившимся поблизости уркам. Затем они должны были поставить об этом в известность самого положенца и ждать ответа. А уже по прибытии ответа поступать строго в соответствии с написанным.

В нашем случае никто из арестантов не знал, кто доверил лагерь этому прохиндею, сам же он называл имена двоих урок, которые действительно существовали в природе. Больше того, один из них — Жид Ташкентский — сидел в это время в Коми. Если читатель помнит, я встречался с ним и с Хасаном Каликатой в Самарканде, когда был с Лялей на гастролях. Второго звали Мексиканец Орджоникидзевский.

Оба эти уркагана были хорошо известны массе людей не только в заключении, но и на свободе. Возможно, а скорее всего, именно поэтому, эта мразь назвала их имена. Из пояснений Белого (так звали эту скотину) следовало, что поскольку в зоне долгое время не было воров, а положение оставляло желать много лучшего, то, зная его как бродягу, урки доверили ему лагерь, оповестив его об этом малявой. Бродяги же, которые находились в тот момент рядом с ним, освободились и разъехались.

Естественно, мы не поверили ни единому его слову, и у нас для этого была масса причин, но игнорировать его пояснения мы не то что не могли, но и не имели права, будучи теми, кем были по жизни.

У каждого из нас были свежи разного рода воспоминания, связанные со строгим соблюдением воровских законов. Например, случаи, когда зек объявлялся в каком-нибудь гулаговском застенке вором. Все или почти все бродяги не только интуитивно, но и совершенно объективно видели и знали наверняка, что перед ними — сухарь, и расправлялись с ним, как и положено, как с гадом. Проходило время, и при первом же свидании с ворами с этих людей спрашивали, правда не так уж и строго, но все же спрашивали. Казалось бы, за что? И как это объяснить? Ведь эта нечисть действительно была самозванцем. Ну, во-первых, при любой уверенности всегда присутствовало слово «почти», а оно, согласитесь, всегда оставляет чувство какой-то незавершенности. Тем более оно принимает огромный, иногда даже роковой смысл, если дело касается чего-то воровского, то есть, в сущности, человеческой жизни.

Урками все объяснялось предельно просто. Раз человек назвался воровским именем, а вы сомневаетесь в его компетенции, то, будьте любезны, отпишите об этом ворам и ждите ответа, не принимая никаких бесправных мер. И, лишь только получив ответ от воров, можете действовать в соответствии с написанным в маляве.

Конечно, самозванцы знали об этом воровском законе, более того, иногда на него они и делали свои гнусные ставки и умудрялись намутить очень много воды за то время, пока приходил ответ от воров, но воровской закон строг и един для всех. Он был почти сродни принципу, которого свято придерживался закон дореволюционной России, гласивший: лучше оправдать десять преступников, чем осудить одного невиновного. А вот ленинская — гулаговская формулировка на этот счет провозглашала совсем противоположное: если из десяти репрессированных один окажется виновным, репрессия себя оправдает.

Продержали нас в карантине недолго, всего несколько дней. Такой стандарт был распространен везде по северным командировкам, за исключением объявления карантина в самой зоне или когда администрация этап не принимает.

Было, конечно, и еще несколько причин. Например, люди с этапа не выходили в зону, но это касалось сучьих зон, данная же командировка к такой категории лагерей шпаной причислена не была. Хотя, говоря чисто воровским языком, бродяга обязан зайти не только в любую зону, но и в любую тюремную камеру и так далее и навести там воровской порядок.

Но проблема чаще всего состояла в другом: не всегда, а точнее говоря очень редко, были чисто воровские этапы, то есть состоящие из одной воровской масти. На этот раз все, казалось бы, было на первый взгляд ровно, с воровской точки зрения естественно, но это только так казалось. Самым же главным для нас было то, что мы знали: вся эта встреча — хорошо организованный спектакль, где главными режиссерами были начальник режима и начальник оперативной части.

В конечном счете и Белый, и легавые поняли, что мы с ними на «одну руку шпилить» не будем, и нас потихоньку в течение недели всех загасили в изолятор. В принципе понимать-то нас им было нечего. При самой первой встрече, когда мы вышли из карантина, и при дальнейшем разговоре с Белым мы лишний раз убедились в правильности обвинений мужиков в его адрес, услышанных еще в карантине. Так что, особо не мудрствуя, мы высказали ему все, а также известили о том, что отправляем маляву одному из тех воров, которые доверили ему смотреть за лагерем. Так что нам несложно было догадаться, какие именно действия со стороны ментов последуют вслед за нашим решением.

Самым главным в данной ситуации было отправить маляву из зоны. Менты, конечно, знали об этом не хуже кого бы то ни было, поэтому перекрыли нам все пути общения как с жилой зоной, так

и внутри изолятора, но нас они все же, как всегда, чуток недооценили. Сама малява была написана нами еще в карантине и отдана человеку, который сидел в БУРе, осужденный в «крытую» тюрьму и ожидавший этапа. По нашей договоренности, нам оставалось только цинкануть ему в нужный момент имя урки, которое он должен был написать на маляве. Но, повторюсь, мы обязаны были выслушать обе стороны — в этом заключался наш долг. Поставив в известность Белого, мы тут же цинканули, чтобы на маляве было написано имя Жида Ташкентского.

Продержали нас в изоляторе чуть больше месяца. За это время с нами на языке ментов велась скрупулезная «политико-воспитательная работа». Хорошо отлаженный механизм ГУЛАГа допускал почти любые посулы и обещания, лишь бы не поломать какой-нибудь даже маленький винтик в своем устройстве. В данном случае администрация прекрасно понимала, что, если она не сможет хотя бы некоторых из нас перетащить на свою сторону, а таких средств у них было предостаточно, им придется начинать все с самого начала. Мало того, они никогда не были уверены в том, получится ли у них модель лагеря подобного рода, который был до этого, или нет.

В дальнейшем произошло то, что и должно было произойти. Испробовав почти все методы воздействия на нас и поняв, что все бесполезно, нас отправили этапом. Если бы мы пробыли еще какое-то время в лагере, нас бы могли осудить в «крытую», но пробыли мы там всего несколько дней, а потому такой вариант был исключен. Даже ярым скептикам, остававшимся в лагере и в чем-то долгое время сомневавшимся, теперь все сразу стало ясно.

В общем, в лагере произошла маленькая революция. Белому мужики все же разбили голову, даже не дожидаясь малявы от воров, видно, достал этот негодяй мужиков как следует.

Такой расклад легавых, естественно, не устраивал, и отправили они этот использованный презерватив вместе с подобным товаром куда подальше от своих пенатов. Такова всегда участь подобного рода ничтожеств. В зону заехали новые этапы, и жизнь там пошла своим чередом.

Как ни странно, но спустя шесть лет я вновь побывал в этом лагере, а точнее, приехал со своей новой женой на свидание к ее младшему брату, которого с четырнадцатью годами за плечами отправили из Махачкалы в этот Богом забытый край. Кое-кто меня узнал, но виду не подал, и я, конечно, догадался почему. На свидание меня не пустили, а жене дали всего сутки. Хотя на все, что мы привезли с собой (черную икру, балык, коньяк) и то, какие у нас имелись деньги, можно было купить всю их администрацию со всеми потрохами. Частенько приезжие с Кавказа покупали их и

за меньшее. Но понять их тоже можно. Администрация северных командировок того времени влачила нищенское существование, и порой шпана в лагере жила намного лучше, чем менты на свободе…

Что же касается малявы, отправленной нами Жиду, то она все же нашла своего адресата, правда, не сразу. Через какое-то время я встретил его где-то на этапе. По ходу прикола он упомянул о том, что получил ту маляву. Думаю, нет надобности говорить о том, что ни о каком бродяге по кличке Белый он и в помине не слышал.

Таковы были пути арестантов по северным просторам нашей необъятной родины. Они тоже были неисповедимы. Не знали мы и на этот раз, куда же нас заведет, а точнее, завезет судьба-злодейка, когда вновь, трясясь в вагонзаке, наш спецэтап уходил куда-то на запад. Этот отрезок своего лагерного жизненного пути я запомнил лучше любого другого, как будто все это происходило вчера. Это потому, что всплывал он в моей памяти чаще, чем другие.

Через несколько дней наш спецэтап пересек часть Тюменской области и вдоль почти всю территорию Коми АССР и прибыл на станцию Котлас — это была уже Архангельская область. О том, что нас вновь вывозят за пределы, мы поняли много позже, чем когда прибыли сюда.

Как я рвался когда-то в побеге со своим корешем именно на эту станцию в расчете на то, что именно отсюда на вольные просторы и простирался путь беглецу. Но теперь, полулежа на узкой скамейке купе «столыпина» и почти не думая ни о чем, я был абсолютно невозмутим, когда увидел обычную килешовку со шмоном и перетасовками и когда до меня стали долетать отрывки фраз, где присутствовало это некогда магическое название — Котлас.

В Котласе наш этап не тормознули, а погнали дальше, и, лишь прибыв в Киров, мы были водворены на пересылку. Здесь нам предстояло ждать запрос от покупателя, но так как такой товар, как мы, ни одному хозяину был не нужен, нам пришлось покормить вшей и клопов на этой пересылке несколько месяцев.

Как обычно в подобного рода вояжах, грязные, обросшие, искусанные разными паразитами, в один из осенних дней 1977 года, согласно поименной перекличке, мы взбегали по одному в вагон очередного «столыпина». В тот момент я, конечно, не мог еще не только знать, но и в самом бархатном сне увидеть, какая приятная неожиданность предстоит мне в самом ближайшем времени.

Глава 3
Валерия

Поистине пути Господни неисповедимы! На нашем жизненном пути расставлены верстовые столбы, знаменующие собой наиболее важные события, которые мы помним до самого своего смертного часа. Видит Бог, у меня есть немало ярких воспоминаний, больше чем у иных людей волос на голове. И вот одно из них.

Этап в вагонзаке шел прямиком из Москвы, из Пресни, там он, видно, и был сформирован. Больше половины купе в «столыпине» были заняты исключительно женщинами, остальные несколько купе предназначались нам. Но нас всего-то было около десяти человек, и мы как раз поместились в одном купе, да и килешовка была нам не в кайф. Конвой оказался с понятием, и нам не пришлось их уговаривать, тем более что такой расклад устраивал их самих — меньше было с нами хлопот. Таким образом, несколько купе оставались пустыми, когда, скрипя колесами, поезд, потихоньку набирая ход, тронулся в путь.

Вы представляете себе, что такое годами вообще не видеть женщин? Кроме разве что на картинках в камерах, да и то из старых, допотопных изданий. Цензоров и служащих спецчасти, которыми преимущественно были женщины, никто из нас, естественно, женщинами не считал. Здесь они с годами теряли свой облик; это были скорей жандармы в юбках. И вдруг — на тебе, целый этап подруг, но, к сожалению, подруг по несчастью. Что тут началось! Благо конвой попался хороший — сибиряки, все как на подбор под два метра ростом и с улыбками простых деревенских парней.

Когда радостный гвалт, вызванный внезапным появлением дам, немного спал, все потихоньку перезнакомились. При этом почти все мужчины признались в любви очаровательным попутчицам, и, как обычно случается в таких ситуациях, началась бурная и интенсивная любовная переписка.

Все это было как бы отдушиной для истерзанных судьбою сердец, игрой взрослых в почти платоническую любовь. Ведь никто из нас друг друга не видел, а увидеться мы могли лишь раз, да и то если повезет и ваше купе окажется ближе к тамбуру. Так что понять чувства, обуреваемые человеком в это время общения, далеко не просто.

Когда по ходу пьесы женщины узнали, какие горемыки едут с ними рядом, нас буквально засыпали всякими яствами, которые

многие из нас не видели не один год, а некоторые не видели вообще. Помимо съестного нам прислали носки, свитера, рубашки — чего только из тряпок нам не попередавали! Солдаты, отдать им должное, молча и терпеливо сновали в разные стороны, разнося посылочки.

Но главным, конечно, оставалось общение. Оно длилось весь день и весь вечер, пока к ночи естественная усталость не взяла верх над желаниями и почти всех нас не сморил сон. Я сказал — почти, потому что люди моего круга никогда не спали в тюрьме, если, конечно, не считать сном, когда ты спишь и слышишь, как паук плетет свою паутину, или спишь и слышишь, как волосы растут. А тут еще рядом дамы — в общем, вы меня понимаете…

В какой-то момент, когда, казалось бы, в «столыпине» стояла сонная тишина, дверь в наше купе потихоньку приоткрылась и солдат, судя по повязке на рукаве — начальник конвоя, стал внимательно оглядывать «спящих». Сквозь узкие, почти закрытые веки за ним неотступно следило почти десять пар глаз. Как будто заведомо зная, что я не сплю, и вперив в меня прищуренный взгляд, он обратился ко мне, подзывая рукой:

— Слышь, зверь, подойди, разговор есть. — Мне достаточно было свесить ноги и сделать полшага к двери, чтобы оказаться рядом с ним, что я и сделал.

— Чего хотел, командир? — спросил я его вполголоса.

— Тише ты, — ответил он мне почти шепотом и, приблизившись к моему уху, тихо спросил: — Есть желание перепихнуться?

Я сразу понял, о чем идет речь, но был вынужден отказаться, ссылаясь на то, что уплатить за такое дорогое удовольствие мне, к сожалению, нечем.

— Да мне и не надо от тебя ничего, — продолжил он разговор, — знаю, что спецэтапом катишь, тем более за все уже уплачено. Ну как, готов в бой?

Улыбнувшись и даже не дав мне опомниться, не сомневаясь ни на минуту в моем ответе, он опять добавил шепотом:

— Приготовься и будь во всеоружии, я скоро приду за тобой.

Затем тихо закрыл за собой дверь купе и с той же игривой улыбкой удалился куда-то. Когда я повернулся спиной к двери, на нижней части купе братва сидела, а со второй полки головы свисали вниз. Бродяги молча улыбались и строили всякого рода предположения, но в одном едины были все. Иди и ничего не стесняйся, — по возможности душу отогреешь, а там, глядишь, и на «сладкую цацу бубновый король выпадет». Как близок к истине был тот, кто сказал мне эти напутственные слова, конечно, даже сам не догадываясь об этом! События, последовавшие затем, это

доказали.

Теперь, прежде чем продолжить свое повествование, мне бы хотелось рассказать читателю об одной нехитрой уловке, к которой прибегала в заключении прекрасная половина человечества. К сожалению, во все времена закон преступали и женщины, но в разные времена и закон по отношению к слабому полу был неодинаков. Что же касается того времени, о котором я пишу, то закон, был, откровенно говоря, к ним суров. Вот исходя из подобных обстоятельств, дамам и приходилось в заключении идти на всякого рода ухищрения, чтобы избежать его суровой десницы, ибо сам Бог велел видеть женщину свободной и всегда прекрасной.

Любое существо, которое Бог наделил разумом, попав в капкан или западню, что в принципе одно и то же, будет всегда пытаться выбраться, следуя естественному инстинкту самосохранения. Прекрасная половина человечества в этой связи, естественно, никогда не была исключением, тем более если капкан этот звался тюрьмой. Конечно, способы избавления от создававшихся судьбой разного рода ситуаций бывают разные, равно как и люди, которые к ним прибегают, выбирая тот или иной метод.

Самым простым и в то же время самым честным и естественным способом являлась беременность. По законам того времени, если женщина попадала в заключение в положении, ей полагалась масса льгот, и, как правило, после родов мамаши оказывались на свободе благодаря своим крошечным чадам. Но прибегнуть к этому способу могли не все, ибо, для того чтобы женщина понесла, нужна, как известно, масса совокупных факторов, и один из главных — это, естественно, мужчина. Но где его взять? В тюрьме это сделать почти невозможно. В лагере надзирателями служат только женщины, а те из мужиков, которые и попадаются изредка, как правило импотенты. Да и не каждая арестантка еще согласится лечь под вертухая. Так что оставался один и самый, пожалуй, верный вариант — «столыпин». И к нему дамы готовились с исключительной тщательностью, ибо на карту у них было поставлено очень многое, как правило — сама молодость.

Из всего женского этапа, который находился в нашем «столыпине», по тем или иным причинам только одна юная арестантка еще с тюрьмы готовилась к столь серьезному испытанию (а иначе порядочной женщине, согласитесь, назвать его очень трудно).

Но, к сожалению, ей катастрофически не везло. Дело в том, что с самой Пресни в вагонзак, где находились женщины, никого

из мужиков не подсаживали. С самого начала пути она договорилась с начальником конвоя, по-царски заплатив ему за предстоящую услугу, но все оказалось тщетно — не было мужиков. Сам конвой, конечно, не в счет, тюремная этика у женщин этот вариант исключала.

Девчата еще с тюрьмы знали, что конечный пункт их маршрута — Пермь. Бедолага уже подумала, что вся затея напрасна, ибо от Кирова до Перми не больше двух суток «столыпинского» пути, как вдруг загоняют наш этап! Но и здесь «поживиться», по большому счету, было нечем.

Уже много позже я вспоминал, как с самого начала пути начальник конвоя буквально не отходил от нашего купе и на шмоне присутствовал сам, хотя и шмона-то, можно сказать, не было. Он, оказывается, присматривался к нам как к племенным бычкам, чтобы потом рассказать о нас покупательнице.

Но выбирать, по сути, ему было не из кого: почти все больные и приморенные люди, отсидевшие не один год, а некоторые — и не один десяток лет. Отчего же выбор пал именно на меня? Неожиданные прихоти судьбы, неистощимой на разного рода выдумки, иногда превосходят самые сумасбродные замыслы людей. Действительность порой творит настоящие чудеса.

Конвоир, как и обещал, вернулся через несколько минут. Это время ему понадобилось для того, чтобы пересадить женщину в пустое купе, ну и по ходу пьесы шухер проверить. Мне еще никогда в жизни не приходилось оказываться в таких ситуациях, поэтому я заметно нервничал, когда шел следом за солдатом, мне даже казалось, что мое сердце бьется так же громко, как стучат колеса поезда о стыки рельсов. Весь «столыпин» бодрствовал, прекрасно зная, куда я иду, но при этом стояла почти мертвая тишина, прерываемая то в одном, то в другом купе храпом и сонным бормотанием. Весь этот немой спектакль был проявлением арестантской солидарности.

За мою уже немалую жизнь в неволе мне приходилось входить, наверно, не в одну сотню разных камер, но никогда я не чувствовал себя так неловко и не был, пожалуй, ни разу в такой катастрофической растерянности, как это случилось в тот раз, когда я переступил порог купе того «столыпина». «Удачи», — услышал я тихое напутствие конвоира и тихонько закрываемую за мной дверь. В тот же момент он удалился.

Я по привычке стал присматриваться и прислушиваться. В купе стояла, казалось бы, гробовая тишина, пахло одеколоном, как в парикмахерской. Никого не было видно, но я услышал слева от меня с верхних нар тихий, еле слышный вздох.

Чтобы читателю было понятнее, думаю, следует подробно

описать купе «столыпина».

Во-первых, дверь и вся стена, где она находится, представляет собой как бы стальное сито, то есть маленькие решетки, размером примерно 3 х 3 см. Внутри купе нет столика, а сплошная скамейка вдоль трех стен образует букву П. То же самое можно сказать и о верхних нарах, но там площади для отдыха намного больше, можно сказать, что это почти сплошные нары, не считая, конечно, того маленького прохода, в который я, протянув руки, подтянулся и перекатился на левую сторону — туда, откуда секундой раньше я слышал тихий вздох и где в углу притаилась очаровательная узница, сжавшись в комок и тихонько вскрикнув от страха.

Да уж, испугаться, пожалуй, было от чего. О внешнем виде говорить, думаю, вообще нет смысла. Я был в тапочках лагерного пошива, на мне была тонкая рубашка и сатиновые шаровары, — все это еще куда ни шло, но вот лицо, оно кого хочешь могло бы испугать, не говоря уже о женщине, да еще и при таких обстоятельствах, хоть дама эта и была нашей подругой по несчастью. Лысый, со впалыми чахоточными щеками, с двухмесячной бородой и орлиным носом. Натуральный абрек.

Но могу поставить сто к одному, что я испугался еще больше. Моя природная робость перед женщиной да, наверное, и воспитание в придачу взяли верх над похотью и соблазном. Не говоря ей ни слова, я переполз на противоположную сторону нар, присел по привычке на корточки, облокотившись на перегородку, разделявшую купе, обхватил ноги руками и, вперив взгляд в это дивное создание, молча стал чего-то ждать, напрочь потеряв решительность и утратив всякую инициативу.

В ожидании неведомого, в относительной тишине, под мерный стук колес и еле слышных вздохов из-за перегородки (а там находились женщины), прошло несколько минут. Мы стали оба понемногу приходить в себя. Мне почти не было видно лица незнакомки; но в том, что она очаровательна, я не сомневался ни на секунду.

Кто в сериале собственного воображения не обладает самыми прекрасными сюжетами! Рядом с ней лежал увесистый с виду баул, в котором она стала не спеша копошиться. Я же, услышав шаги конвоира, когда он поравнялся с нашим купе, попросил его приоткрыть немного окно в проходе — оно находилось прямо напротив нас.

Так я увидел кусочек неба в мелкую решетку, расцвеченного звездами. Они роились и мерцали во влажном воздухе. Вечерняя прохлада вперемешку с ароматом цветов, свежескошенного сена и чего-то еще ворвалась в вагон, напоив своим неповторимым

ароматом весь этап, который молча бодрствовал, ибо по естественным причинам ни тем ни другим было не до сна. Монотонный стук колес о стыки рельсов тоже успокаивал. Смущавшая нас тишина как бы отступила, а полная луна поделилась с нами своим серебристым светом.

Я не сводил глаз со своей попутчицы. И хотя мы сидели друг против друга, я до сих пор помню мельчайшие подробности в ее туалете, что же касалось ее облика, то это был ангел — так, по крайней мере, мне казалось в тот момент.

Но не только в первые часы нашего знакомства, но и много лет спустя она оставалась все такой же неотразимой, если не сказать больше. В ее магической красоте было что-то терзающее: черные, уложенные в две тугие и толстые косы волосы, подчеркивающие благородную бледность лица, хрупкость в сочетании с жесткой линией подбородка, изумительного разреза изумрудные глаза, мягкий излом бровей и взгляд пантеры…

Лишь изгои да женщины умеют остро наблюдать, потому что их все ранит, а душевные страдания обостряют наблюдательность.

— Как вас зовут? — услышал я тихий и приятный, нежный голос своей попутчицы.

— Заур, — постарался ответить я как можно тише и спокойней, чтобы еще больше не напугать ее, ибо голосом меня Бог не обидел.

Но я зря переживал, потому что в следующий момент в ответ мне почти игриво и с легкой улыбкой на лице, насколько я мог заметить, прозвучало:

— А меня — Валерия.

Я, конечно, как и все мальчишки в юном возрасте, читал «Спартака» Джованьоли, но никогда бы не смог вообразить себе, что образ прекрасной Валерии предстанет когда-нибудь предо мною в образе не менее прекрасной арестантки, да еще и при таких обстоятельствах.

Сделав маленькую паузу и собравшись, вспомнив, что все женщины любят ушами, я постарался вложить в свои слова как можно больше тепла и сказал ей:

— Ваше имя и облик, милая Валерия, придают нашему знакомству почти романтический характер.

— Благодарю вас, Заур, вы очень любезны, но почему «почти» и почему, взобравшись сюда, вы отпрыгнули от меня как от ядовитой змеи?

Услышав два вопроса в ответ, я понял, что очаровательная Валерия уже успела прийти в себя. Сейчас уже не помню, в каких выражениях я постарался объяснить ей, что, несмотря на то что я

преступник, я все же воспитан в строгих традициях горцев Кавказа, где женщину учат уважать сызмальства. Да и вид мой для подобного рандеву оставлял желать лучшего. Думаю, более подходящего сюжета для «Красавицы и чудовища» драматургу было бы сложно отыскать. Но при всем сказанном я не забыл, конечно, упомянуть, какого я рода.

— Что же касается вашего первого вопроса, — продолжал я, — то, прошу прощения, я, откровенно говоря, немного растерялся, и, конечно, был неправ. Видите ли, в воображении своем я когда-то рисовал Валерию времен Суллы, и она была прекрасна, но теперь, увидев и услышав вас, я потерял ее безвозвратно.

— Отчего же, Заур?

— Видите ли, Валерия, в воображении своем я рисовал красавицу безгласной. Но ваш голос, Валерия, он бесподобен. Я уверен, что он способен вселить в сердце мужчины не только безумную любовь, но и остановить руку палача с секирой, занесенной над головой несчастного.

— Послушайте, Заур, вам не кажется, что мы говорим слишком громко, и не могли бы вы подвинуться поближе?

— Да, конечно, — ответил я уже немного потише. Я не спеша приблизился к ней и сел напротив так, что, вытянув руку, легко мог обнять ее. Я думал, увидев меня вблизи, она испугается вновь, но ничуть не бывало, — она, казалось бы, не замечала моего уродства.

Тогда я понял, тут же вспомнив ее чудный голос, манеру держать себя и говорить, — она прекрасно воспитана. Что же побудило к столь отчаянному шагу эту юную леди, для меня пока еще оставалось загадкой, но не было никаких сомнений в том, что в самое ближайшее время она будет разгадана.

Как только мы оказались друг против друга, после минутной паузы Валерия тут же начала копошиться в своем бауле, доставая из него всякого рода яства и раскладывая их, не забывая отвечать при этом на мои скромные вопросы и задавать свои. Очень быстро скатерть-самобранка была накрыта как для пира. Чего тут только не было: деликатесы, о существовании которых я успел уже давно позабыть, и сладости, которые не ел годами. Я был тронут.

— Благодарю вас, Валерия, за вашу заботу и внимание, но, видит Бог, сейчас мне кусок в горло не полезет, это уж точно.

— Не беспокойтесь, Заур, я об этом тоже позаботилась, только вот с некоторым опозданием.

Сказав это, она чуть наклонилась вправо и откуда-то из-за спины извлекла почти полную пол-литровую кружку с одеколоном. Тут я понял, откуда меня с самого начала

преследовал запах парикмахерской.

— Вы уж не обессудьте, — сказала она ласково и просто, — но у конвоя, кроме одеколона, ничего другого не осталось. Если бы я знала раньше…

Мне показалось, что она вот-вот расплачется — так близко к сердцу она принимала эту проблему, считая ее очень важной, но для меня она таковой не была. Рядом с ней я готов был выпить яд, даже не моргнув глазом.

— Ну что вы, Валерия, все нормально, не расстраивайтесь, — сказал я, придав голосу особую теплоту. — Раз дуновение судьбы принесло сюда свежую розу из сада, то пусть этот тройной одеколон превратится в лучший дагестанский коньяк. И, пользуясь случаем, позвольте мне провозгласить тост в вашу честь.

Она чуть приподняла голову как раненая лань, когда слышит знакомый голос самца. В лунном отсвете я увидел, как в глазах ее блеснули слезы, но тотчас же исчезли; должно быть, Бог послал за ними ангела, ибо перед лицом Создателя они были много драгоценнее, чем самый роскошный жемчуг Гузерта и Офира.

Комок, подкативший к горлу, видно, мешал ей говорить. На доли секунды она слегка опустила голову, чтобы собраться с духом, а затем, подняв ее еще выше, выпрямилась, насколько это было возможно, извинилась, мило улыбнувшись мне, и попросила, чтобы я продолжал.

Я продолжил тост, глядя до неприличия прямо ей в глаза. Клянусь Богом, они сияли в тот момент как две лучезарные звезды и вселяли в меня какую-то бесшабашную уверенность во всем.

— Дай Бог, прекрасная Валерия, чтобы все, задуманное вами, сбылось. Чтобы удача по возможности всегда сопутствовала вам. Кавказского вам долголетия и неожиданной свободы.

Произнеся тост, я отхлебнул из кружки больше половины одеколона, а оставшуюся влагу протянул ей. Когда я быстренько загрыз чем-то эту гадость, настал черед Валерии.

Глядя на нее, мне было и горько и смешно. Горько оттого, что эта, по всему видно, воспитанная и порядочная женщина делает такой отчаянный шаг, чтобы выбраться из этой клоаки, умудрившись попасть в безвыходную ситуацию, а смешно оттого, что, глядя на то, как она держит кружку в руке, у меня создавалось такое ощущение, будто она держит в руке не одеколон, а по меньшей мере цикуту. Она так морщилась и мотала головой, что я поневоле тихо рассмеялся. Но затем тактично напомнил ей, что мы не на фуршете.

С отчаянием переборов брезгливость, Валерия приподняла

кружку, чуть отстранив ее от себя, а затем произнесла тост:

— Я благодарна вам, Заур, за ваши слова и за пожелания, но больше всего я благодарна Богу за то, что он помог мне с этой встречей и этим мужчиной оказались именно вы.

Провозгласив столь прекрасный тост, который заставил бы возгордиться любого мужчину, она мужественно осушила свой «бокал» до дна и чуть не задохнулась при этом. Мне в буквальном смысле пришлось дуть ей прямо в рот, она легонько качала головой из стороны в сторону, а слезы тем временем ручьем стекали с ее щек. Как она была прекрасна в своей непосредственности!

Наши губы иногда соприкасались, тем более что я держал ее за плечи, и в этот момент по моему телу разливалась приятная истома желания. Сам того не замечая, я стал потихоньку прижимать ее к своей груди и хотел было впиться в ее гранатовые губы поцелуем, когда она ласково остановила меня, сказав:

— Заур, милый, прошу вас, не обижайтесь на меня. Поверьте, я вас прекрасно понимаю: для вас наша встреча лишь одно из романтических звеньев в вашей полной приключений жизни, но для меня на карту поставлено слишком многое, поэтому я прошу вас, пусть в нашей близости все будет так, как я хочу. Отвернитесь, пожалуйста, мне нужно привести себя в порядок.

Я, естественно, прекрасно понял ее состояние и тут же отвернулся, но, учитывая пикантность ситуации, решил в оправдание своей поспешности сделать ей комплимент, тем самым помогая ей собраться с духом.

— Простите, Валерия, но ваши глаза как два драгоценных сосуда, наполненных до краев прозрачнейшей зеленоватой влагой, в которой плавают крохотные золотые рыбки, и, когда эти рыбки плещутся на поверхности, вы становитесь чертовски соблазнительной. Но видит Бог: скорее песнь соловья заставит поблекнуть куст роз, который он любит, чем слова мои или действия оскорбят ваше самолюбие, моя прекрасная незнакомка.

У человека два зрения: взор тела и взор души. Телесное зрение иногда забывает, но духовное помнит всегда. Когда я закрываю глаза, предо мною встает та картина. Обернувшись, я увидел шедевр, который мастерски произвела природа.

Если бы я имел талант живописца эпохи Возрождения, я бы непременно воссоздал впоследствии этот неповторимый образ по памяти. Ибо женская красота должна быть окружена всем самым прекрасным в жизни, но для подлинной красоты, такой, как предстала предо мной Валерия в тот лучезарный момент моей жизни, должен быть только один достойный фон — подлинное искусство.

В бауле рядом с Валерией кроме съестного была нехитрая постель из разного рода женских принадлежностей, а одеялом служила огромная деревенская шаль, толстая и очень красивая. Но и она не смогла скрыть полностью ее красивых ног, лебединой шеи и белых, как асбест, рук. Я смотрел на нее, полуобнаженную, с лицом, подобным луне, когда она появляется, и утру, когда оно засияет.

Валерия лежала на спине и, мило улыбаясь, смотрела на меня. Ее веки словно вуаль скрыли ее пылающий взгляд. Я же сидел как завороженный, не шевелясь и, по-моему, даже не моргая, не веря своему счастью. В какой-то момент появившаяся невесть откуда дрожь тут же куда-то исчезла, на смену ей пришла уверенность в себе, и я как можно ласковее попросил Валерию просто закрыть глаза.

Повторять дважды было излишне. Через мгновение наши тела сплелись воедино, так, будто мы и родились такими и никогда в жизни не разъединялись. Долгий и жаркий поцелуй сбросил нас в пропасть неги и сладострастия, казалось, на целую вечность. Но ничто не вечно в этом мире, как это ни печально. Когда же мы выбрались наверх, то были счастливы и любимы друг другом, чувствуя это скорее сердцем, чем плотью. Видит Бог, мы были счастливы тогда, и это было незабываемо.

Я думаю, в жизни каждого мужчины и женщины тоже бывает такое мгновение, такой чудо-союз, который связывает их воедино не только физической близостью, а чем-то еще возвышенно-духовным, — наверное, чем-то неземным. Этот дар Божий забыть невозможно, ибо случается он, к сожалению, чаще всего раз в жизни. Но во сто крат это волшебное мгновение незабываемо, если оно происходит в тюрьме. И это так, поверьте мне.

Мы лежали, прижавшись друг к другу, ни на секунду не разъединяясь, закрыв глаза и представляя, каждый по-своему, место нашего пребывания. Лично я ощущал себя в раю. Это было прекраснейшее, ни с чем не сравнимое мгновение в моей жизни, и если бы в этот момент мне предложили гарантированное бегство, я бы отказался. Говоря откровенно, еще один день, проведенный с Валерией, я, не задумываясь, променял бы на всю оставшуюся жизнь. Да, подумал я тогда, в этом мире на самом деле нет ничего нового, но зато какие в нем есть чудесные моменты, ради которых стоит жить и не жалко умереть.

До самого утра мы любили друг друга — как супруги, приговоренные к смертной казни, которым необратимый приговор должны были привести в исполнение на рассвете.

Лишь однажды мы разомкнули объятия. Истинной страсти можно простить погрешности против приличий. Валерия встала,

и на ее белоснежной груди, словно лепесток магнолии, в лунном свете сиял маленький серебряный крестик. Голова ее была немного откинута назад с невыразимой, почти ангельской грацией. Ее тяжелые косы в неясном свете отливали бронзой, нежная, почти прозрачная кожа светилась жемчугом, в больших миндалевидных зеленых глазах горел огонь любви и сладострастия, полные губы дышали чувственностью. Она распустила шелковистую массу черных, как вороново крыло, волос, венчавших ее голову, словно волну сверкающего водопада, превращенного в полированный металл лучами взошедшей луны; они обрамляли ее овальное лицо и скатывались волнистыми линиями ниже пояса. Но в следующее мгновение она снова была в моих объятиях, и мы вновь полетели сломя голову в пропасть блаженства и страсти.

В те моменты, когда уста наши были свободны от поцелуев, мы старались узнать друг о друге как можно больше. Я слушал ее в самозабвенном восторге и радостном изумлении, проявляя при этом признательность, достойную античных времен. Валерия была москвичкой, из очень интеллигентной семьи, кстати из старого дворянского рода. Родители ее преподавали в одном из престижных московских вузов. А сидела она за убийство одного подонка, сына очень высокопоставленных родителей. Он пытался изнасиловать ее у нее же на квартире, придя к ней в гости. Вот она и саданула ему кухонным ножом прямо в сердце. И дали ей за это пять лет, из которых она уже почти год просидела в тюрьме под следствием и после суда, ожидая этапа.

Трагедия происшедшего с ней заключалась еще и в том, что произошел тот трагический инцидент за двенадцать дней до ее свадьбы. Ее жених, ее же однокурсник, получил направление в Германию, а они вместе окончили МГИМО. И после свадьбы они с мужем собирались уехать за границу. Уже почти все было готово к этому, и вот ужасная случайность оборвала все их планы. Так что бывший жених укатил в Германию, но тем не менее писал матери Валерии, что не хочет видеть своей женой никого, кроме ее дочери.

Забегая вперед, хочу отметить, что, к чести этого порядочного человека, впоследствии он сдержал свое слово. Больше того, он принял в свой дом Валерию не одну, но все это было уже несколько позже, поэтому и я расскажу об этом в свое время.

Я тоже поведал Валерии о себе, хотя в принципе и рассказывать-то было нечего, и впоследствии я был немало удивлен тем, как много я умудрился рассказать ей за тот короткий отрезок времени, который отпустила нам судьба, к тому же мне пришлось удивляться ее прекрасной памяти.

Мы запомнили адреса друг друга, зазубрив их на всякий случай наизусть, чтобы не прерывать объятий, так нам было хорошо и уютно.

Быть живой женской плотью и быть женщиной — две вещи разные. Слабая струна женщины — жалость, которая легко переходит в любовь. Когда первые проблески рассвета заглянули в приоткрытое окно вагона, мы даже не услышали, как подошел солдат и попросил нас закругляться. Разве мог я предположить несколько часов назад, когда сидел в безмолвии напротив этой прелестной арестантки, облокотившись о перегородку купе, что расставание наше будет таким печальным, мучительным и трогательным? Услышав слова солдата, Валерия, заливаясь слезами и тихонько рыдая, прижала меня к себе так сильно, что я еле мог перевести дух. В тот момент я готов был убить нас обоих, лишь бы не расставаться уже никогда. В этом порыве бешеной страсти я даже умудрился сказать ей об этом, она была согласна без слов. Разве можно понять кому бы то ни было, что творилось с нами в тот момент?

Солдат-красавчик молча и терпеливо ждал, когда же кончится истерика у моей милой попутчицы, и деликатно уходил в сторону, какой уже раз повторяя: «Ну пожалуйста, сестричка, закругляйтесь, скоро будет обход». И не было и близко ничего мусорского в его словах, скорей в них были жалость и сострадание. Он, видно, и сам не ожидал такого финала.

А она все плакала, не переставая, пытаясь успеть мне что-то сказать. Бывают речи, в которых слова, стоны и рыдания представляют собой неразрывное целое. В них слиты воедино и выражаются одновременно и восторг, и скорбь, и горе, и любовь. Они не имеют никакого смысла и вместе с тем говорят обо всем. Что-то похожее случилось и с Валерией в тот момент нашего печального расставания.

Не знаю, как я взял себя в руки. Смятенные, взбудораженные мысли вдруг улеглись в порядке, будто разноцветные осенние листья на траве, когда стихает круживший их ветер. Я успокоил, как мог, Валерию. Все действия наши в дальнейшем напоминали действия двух роботов. Когда же солдат не спеша открыл дверь нашего купе, мы стояли внизу, одетые, нежно прижавшись друг к другу. Положив голову мне на плечо и буквально уткнувшись мне в шею, Валерия в какой уже раз твердила мне два заветных слова…

Этому прекрасному созданию в жизни еще не приходилось испытывать такие стрессы, поэтому она была в шоке в буквальном смысле этого слова. Даже конвоир, стоявший уже в купе, будто остолбенел, пораженный глубиной ее чувств, каково же было

мне?

Можно ли представить себе что-нибудь более страшное?

Это последнее средство, к которому прибегает безжалостный искуситель человеческих душ. Судьба словно тигр протягивает иногда бархатную лапу. Коварные приготовления. Омерзительна ласковость этого чудовища. Каждый знает по себе, как часто возвышение совпадает с упадком сил. Слишком быстрый взлет нарушает равновесие и вызывает лихорадку.

Первым, как оно и должно быть, пришел в себя солдат. Даже не закрывая дверей, он вышел из купе и вернулся через несколько минут, но уже не один. С ним была преклонного возраста женщина-арестантка, годившаяся нам с Валерией в матери. Поздоровавшись со мной, она ласково как бы приголубила ее, наверно то же самое она сделала бы и по отношению к своей дочери. Что-то тихо сказала ей на ухо и, прижав к себе, хотела увести, но Валерия, вырвавшись, бросилась вновь в мои объятия. Последний поцелуй был поцелуем богини. Лишь только после него она позволила этой женщине увести себя, прижавшись к ее груди и не переставая потихоньку плакать. Все произошло мгновенно, мы расстались молча, но, к счастью, еще не простились.

Клянусь Богом, я был не в лучшем состоянии, но мне приходилось сдерживать себя. Это было невыносимо, хуже, чем сама тюрьма, ад и все, что с этим связано. Когда конвой завел меня в купе, я забился в угол, поджал под себя ноги по привычке и, никому ничего не говоря, молча страдал.

Братва прекрасно меня понимала, поэтому никто с расспросами и не лез. Это было святое для нас. В жизни каждого человека бывают минуты, когда для него как будто рушится мир. Это называется отчаянием. Я пребывал именно в таком состоянии, если не сказать больше.

Ближе к вечеру я получил от Валерии целое послание, написанное аж на шести страницах. Оно могло бы быть бальзамом от любой болезни. Я был уверен, что даже умирающий в муках человек, которому бы прочли это письмо, умер бы с улыбкой на устах. Вот концовка того письма: «*Заур, милый, я знаю, что в жизни моей уже ничего подобного больше не повторится, это чувствует, наверное, любая женщина. Благодарю тебя за то, что ты подарил мне этот миг волшебного счастья. Я знаю, что у меня родится сын, я даже уверена в этом, но, к сожалению, не могу тебе это объяснить. Я назову его твоим именем, я уже так решила. Вряд ли мы с тобой теперь когда-нибудь встретимся, но я хочу, чтобы ты знал, что я люблю тебя, и пусть моя любовь согревает тебя везде, куда бы ни забросила*

тебя твоя злая судьба. Прощай, „мое чудовище“! Валерия ».

Много лет я хранил оригинал этого письма. И в минуты, когда мне бывало очень плохо или тоскливо, я доставал его и перечитывал по нескольку раз, и оно действительно согревало мое сердце, оно было бальзамом для моей истерзанной души.

Но однажды на шмоне какой-то ретивый мусорок решил проявить излишнее любопытство, углубившись в текст. Я кинулся к нему, вырвал у него из рук письмо и разорвал его в мелкие клочья. Но потом, как ни странно, сам же и воспроизвел его слово в слово, все шесть страниц. Даже имитируя почерк Валерии. Сам того не замечая, я запомнил его наизусть.

При всех превратностях судьбы самое большее несчастье — быть счастливым в прошлом. Но это лишь только начало той истории, продолжение которой читатель узнает чуть позже, ибо судьба явила нам свой милостивый лик, дозволив еще раз увидеть друг друга земными очами. Я лишь не хочу сейчас разрывать хронологию событий.

Прошли почти сутки после нашей разлуки. Мы не спали, не ели и не разговаривали вообще. Что мы могли сказать, даже не видя друг друга, чего уже не сказали в блаженном единении прошлой ночью? Из-за перегородки я слышал, как моя милая подруга тихо плачет. Иногда, чтобы убедиться, что все это не сон, я корябал по перегородке, и, когда слышал то же самое в ответ, на сердце становилось чуть-чуть легче. Ведь я сам был тогда как затравленный псами зверь и почти убит. Любовь не ищет подлинных совершенств, более того, она их как бы побаивается, ей нужны те совершенства, которые творит и придумывает она сама.

Ближе к вечеру конвоир, проходя по коридору, предупредил женщин, чтобы те морально подготовились и не орали при расставании с мужиками, как обычно, ибо на перроне состав должно встречать их начальство. Поезд приближался к Перми. Это было мучительное ожидание. Наконец, замедлив ход, состав встал.

Девчата содержались в четырех купе, но первым конвоир открыл то из них, где находилась Валерия. Я слышал, как она уговаривала начальника конвоя, чего только ни суля ему при этом, но он и без всяких подарков удовлетворил ее желание. Да, в тот момент не внять ее мольбе мог бы разве что мертвец. Я понял это тут же, взглянув в ее пылающие глаза, когда она подбежала к моему купе и наши пальцы впились друг в друга сквозь мелкое сито решетки. Изумрудные глаза блестели как у лани, и из них ручьем текли слезы. Чуть распухшие гранатовые губы вздрагивали то и дело. Она была поистине прекрасна и

бесподобна в своем молчаливом отчаянии.

В купе нашем стояла непривычная мертвая тишина. Да и женский этап выходил на перрон непривычно медленно и молча. Как будто никто не хотел пропустить наших последних слов, но их не было. Даже банальное «прощай» мы не хотели разделить с кем-либо. До самого конца, пока не вышли все девчата и не осталась она одна, мы стояли, вцепившись в решетку, и смотрели молча друг на друга, пытаясь запомнить малейшую черточку или морщинку на лице.

Нет на свете большего чуда, чем то, как женский образ проникает в сердце мужчины и оставляет в нем неизгладимый отпечаток, и человек даже не понимает почему. Ему просто кажется, что именно этого ему до сих пор недоставало. Но всему в этом мире рано или поздно наступает конец. И когда солдат выкрикнул ее фамилию, она взглянула на меня с такой тоской и мольбой, что у меня по телу пробежали мурашки. Но затем она невероятными усилиями воли взяла себя в руки, гордо вскинула голову и, не говоря ни слова, пошла к выходу. Честная женщина может оказаться недостаточно сильной, чтобы подавить движения своего сердца, но она всегда сохранит рассудок.

Я не берусь описывать свое состояние, когда в последний раз увидел ее и она скрылась с моих глаз. В душе человека иногда бушует смерч, и для него земля и небо, море и суша, день и ночь, жизнь и смерть сливаются в один непостижимый хаос. Действительность душит нас. Мы раздавлены силами, в которые не верим. Откуда-то налетает ураган. Меркнет небесный свод. Бесконечность кажется пустотой. Мы перестаем ощущать самих себя. Мы чувствуем, что умираем. Что-то подобное и происходило в тот момент со мной. Все события, которые последовали потом, я даже не воспринимал. Благо рядом были бродяги.

Но когда этап наш прибыл на Свердловскую пересылку, мне все же пришлось скинуть с себя этот груз оцепенения. Жизнь диктовала свои правила, и не считаться с ними было невозможно. Есть два пути избавить человека от страданий — быстрая смерть и продолжительная любовь.

Глава 4
Инцидент в свердловской пересылке

Так уж устроено в природе, что на смену яркому солнечному дню всегда приходит ночь, на смену жизни — смерть. Взлеты и падения — неизбежная жизненная реальность. Природа мудра, и в ней вообще не бывает ничего лишнего. Человеку не мешает иногда помнить об этом.

Итак, Свердловск. В какой уже раз я проходил через этот тюремный «мегаполис». Снова огромная камера пересылки, знакомство или желанная встреча — у кого как, с такими же, как и мы, каторжанами. В общем, все, как и бывало всегда в тюрьмах.

В камере, куда нас водворили, сидел урка. (Я не стану называть его имени.) Лично знакомы не были, но слышать о нем приходилось не раз. Встретили нас, конечно, хорошо, как и подобает в таких случаях, по-братски. Мы разместились кто где, и потекла обычная, монотонная тюремная жизнь со своими извечными проблемами, стремлениями и волнениями.

Конечно, еще свежи были в моей памяти воспоминания о недавнем прошлом, но, к сожалению, скоро их на время оттеснило роковое стечение обстоятельств.

Камера, естественно, была воровской, поэтому и контингент в ней содержался соответствующий. Дважды в день надзиратели обходили пересылку с поверкой. Здесь во время поверок обычных построений, как в следственных тюрьмах, не было: пересылка являлась своего рода тюремным караван-сараем, поэтому такие поверки были нецелесообразны, и здесь они проходили быстро и просто.

Надзиратели пересчитывали всех, войдя в камеру, затем, постучав деревянными киянками по нарам и решеткам, уходили. Заключенные же в этот момент занимались кто чем, даже играли в карты, вообще не обращая внимания на поверку. Надзирателей это нисколько не волновало. Для них главным было то, чтобы в камере во время обхода не оказалось трупа и не готовился побег. Убедившись, что все относительно нормально, они уходили почти так же молча, как и входили.

Так уж повелось издавна, очень редко в этой связи возникали какие-нибудь серьезные эксцессы. Они были абсолютно не нужны ни тем ни другим, и поэтому их тут же гасили по обоюдной договоренности. Если все же что-то происходило, братва всегда находила дипломатическое разрешение конфликта. Но на этот раз одна паршивая овца спровоцировала все стадо.

К тому времени, о котором пойдет речь, мы пробыли на пересылке с неделю. В тот день, как и обычно, вечерняя поверка не заставила себя долго ждать. На этот раз в наряде у надзирателей появился молодой мусорок, не знаю, откуда и взявшийся. Как выяснилось на суде, ему, оказывается, давно хотелось увидеть живого вора в законе, но, как оказалось, не только увидеть.

Как сейчас помню тот вечер. Мы с Игорем Французом третили, сидя на нарах друг против друга, а Женька Колпак сидел рядом и вел счет. Рядом с нами лежал урка и держал прикол с одним бродягой.

В тот момент, как и обычно, вокруг нас бурлила камерная суета вперемежку со смехом и громкими возгласами по ходу какого-то прикола, когда дверь в камеру открылась и с поверкой вошел вечерний наряд надзирателей. Став среди камеры, молодой мент, видно с непривычки прищурив глаза, зайдя в полутемное помещение и держа в правой руке киянку, стал осматривать присутствующих. По его поведению было видно, что он ищет кого-то. Видимо, до этого ему в глазок показывали урку, но одно дело — смотреть через призму глазка и совсем другое — стоять посередине камеры и глазеть вокруг, как пучеглазый индюк. Тем более что урка был наполовину закрыт нами, игравшими на нарах у противоположной стенки от дверей, на нижнем ярусе.

Наконец, обнаружив того, кого хотел, этот ментенок двинулся в нашу сторону. Мы, естественно, не прекращали игру и не обращали на него по привычке никакого внимания. Тогда он, подойдя к нам, ткнул киянкой Француза в спину.

— А ну разбежались, блатота вшивая! — заорал он так громко, что, по-моему, сам испугался своего голоса.

Француз успел развернуться, свесил с нар ноги и замер от неожиданности. Я смотрел прямо в глаза этому сопляку, и у меня по ходу пьесы даже челюсть отвисла от наглости этой тупорылой овцы. Да что там я, даже старые менты, которые стояли рядом, замерли на месте от такой тупости своего юного собрата и, конечно, в предчувствии уже чего-то неладного.

Когда мы с Французом пришли в себя и уже оба стояли на полу возле него, не успев ему еще ничего сказать, он ударил той же киянкой по ноге урку со словами:

— Чего разлегся, пидор, как на пляже?

Увидев, что все оцепенели, он, набравшись, видно, храбрости, хотел выкинуть еще какой-нибудь фортель, но не успел: сильнейший удар урки, рысью соскочившего после таких слов с нар, тут же сбил его с ног.

Опомнившись, надзиратели кинулись на выручку своему юному коллеге, но и мы были рядом с вором, так что началась натуральная потасовка. Увидев происходящее, ключник — мент, который открывает и закрывает камеры, — захлопнул дверь нашей хаты и тут же побежал вызывать наряд, который долго ждать себя не заставил. Они всегда были наготове. Мы еще не успели особо помахаться, как в камеру с ревом вбежала целая орава легавых, и вот тут уже началось невообразимое…

Думаю, нетрудно догадаться об исходе драки и финального побоища. Мне, Французу, Колпаку, Пеце и Жулику переломали кости в буквальном смысле этого слова, но больше всех досталось Женьке. Менты чуть ли не пополам развалили ему голову, я даже до сих пор удивляюсь, как он выжил. Вот после этого случая ему и дали погоняло Колпак, потому что он иногда после сильных головных болей впадал в безумие. Это, правда, случалось очень редко, но, когда болезнь прогрессировала, его лучше было оставлять в покое, иначе он мог выдать что-нибудь непоправимое.

За десять дней после этих событий всю нашу камеру разогнали кого куда. Первым на этап ушел урка со сломанными ребрами и изуродованным ухом, следом отправили остальных. Лишь только нас четверых как зачинщиков — Француза, Колпака, Пецу и меня — отправили в следственную тюрьму и поместили на больничку, ибо мы были здорово покоцаны. Ну а после относительного выздоровления нас раскидали по следственным камерам, только один Колпак до самого суда оставался на больничке.

Около трех месяцев мы находились под следствием. Общение между собой у нас было постоянным, для этого, как и во всех тюрьмах страны, существовал тюремный телеграф (кабуры, дороги, малявы и прочая нехитрая тюремно-почтовая атрибутика).

Почти ко всем людям, которые ждут добавки к основному сроку, отношение окружающих их арестантов было всегда благожелательным, потому что всем и каждому было ясно: человек крутится, а значит, он не в ладу с внутренним тюремным законом. А нарушитель, ясное дело, ближе к ворам, чем к мусорам. Это аксиома тюремной жизни. Если же арестант крутится за дела воровские, а тем более за уркагана, то к такому человеку подход и отношение окружающих его арестантов было безукоризненным. Из нас четверых меньше всех, наверное, тюремные бродяги могли знать меня.

Француз был старым питерским кошелечником, за плечами которого к тому времени был уже не один десяток лет, отсиженных по разным северным командировкам страны. Ну и

проявил он себя по ходу отсидок соответственно своему образу жизни. Он был одинакового со мною роста, но хорошо сложен и мускулист. Глубокие морщины вокруг глаз и складки, которые пролегли около носа и рта, выдавали его возраст. Ему было около пятидесяти. Тяжелое прошлое наложило на его лицо неизгладимую печать грусти, и редкие проблески веселости казались вспышками молнии, озаряющими грозовую тучу.

Пеца был одессит, по «профессии» — домушник, намного моложе Француза годами, но почти в таком же авторитете, как и он. Да и отсидел он также немало. Это был высокий стройный мужчина лет тридцати пяти, худощавый, но мускулистый и сильный. Лицо его с правильными чертами и орлиным носом выделялось небольшим шрамом, который он когда-то получил в отсиженных по разным северным командировкам страны прессхатах, в драке с блядями. Черные проницательные глаза смотрели грустно и даже несколько строго. Губы его давно отвыкли от улыбки. На его высоком лбу не было ни одной морщинки. Но лицо его было бледно, бескровно и щеки ввалились — жизнь в лагерях на дальняках не могла все-таки не оставить следов…

С Французом мы познакомились на Свердловской пересылке, что же касалось Пецы, то с ним я сидел еще на Весляне, на «бетонке», в одной камере, под раскруткой за побег. Тогда это был жизнерадостный, никогда не унывающий босяк. О таких, наверное, и говорили — он настоящий одессит. Его любимым словом, я запомнил еще с Весляны, было слово «дэмона», когда он видел какую-нибудь нечисть в глазок их замороженных камер или случайно встречался с ними в коридоре.

Что касалось Игоря, то погоняло Француз он получил за то, что, во-первых, неплохо знал французский язык, а во-вторых, любил повторять: «а ля Париж».

О Женьке Колпаке и еще о троих наших корешах я писал в первой книге, когда нас, малолеток, мусора морили «на спецу» в Нерчинском остроге 15 лет тому назад.

Глава 5
С Новым годом! С новым сроком!

Сразу после наступления Нового, 1978 года над нами состоялся суд. Каждому из нас добавили к основному сроку еще по два года — якобы за сопротивление властям. Не могу не отдать должное старым надзирателям Свердловской пересылки: их показания здорово помогли нам! А глядя на сосунка-солдата и слушая его невразумительные ответы, у судей сложилось определенное мнение в нашу пользу, да и наши увечья сыграли свою роль. Но срока, конечно, нам было не избежать.

Примерно через неделю после суда нас отправили на пересылку, а еще дней через десять — на этап. Но по этапу ушли лишь мы с Французом. К сожалению, с Пецей мне больше встретиться не довелось, хотя слышать о нем приходилось, и не один раз.

Что касается Женьки, то, как ни странно, мы встретились с ним вновь аж 18 лет спустя, и, к сожалению, опять в тюрьме. В 1996 году, 2 мая, меня этапировали из Бутырок в Матросскую Тишину, на «тубонар», где он, оказывается, находился уже не один месяц. Там мы и увиделись после столь долгой разлуки. Но к этим событиям я еще вернусь в свое время и опишу их поподробней, ибо там тоже немало поучительного для молодежи.

А пока «столыпин» уносил нас с Французом куда-то в северную даль, откуда не все, к сожалению, возвращаются. С нами в купе ехали почти все арестанты, осужденные на «крытый» режим, то есть на режим тюремный, так что компания подобралась веселая. Все присутствующие смотрели на свою жизнь с нескрываемым воровским оптимизмом, и никто из нас даже не рассчитывал увидеть хоть когда-нибудь свободу, разве что, если повезет невзначай. Путь и на этот раз нам выпал неблизкий: Омск, Новосибирск, Красноярск — на каждой из этих пересылок приходилось провести где по неделе, а где и по две, прежде чем мы добрались до станции Тулун. Здесь мы распрощались с нашими «крытниками».

На этой станции была знаменитая на весь союз тюрьма Тулун. В то время, о котором я пишу, она еще была замороженная, впрочем, как и почти все «крытые» того времени в Союзе, но пройдет немного времени — и сюда заедет Славик Япончик. Одному Богу да ему самому будет известно, через что предстоит пройти, чтобы разморозить эту «крытую», да так, что воры умудрялись играть в ее стенах настоящие свадьбы своим

близким. С невестой в белоснежной фате да со столом, ломившимся от яств…

Но обо всем этом нам предстояло узнать чуть позже, а пока после разлуки с босотой в Тулуне наш вагон по этапу приближался к Иркутску. Как знаком мне был этот маршрут, который я когда-то, 15–16 лет назад, проделал и в ту и в другую сторону со своими корешами. Но теперь это был другой Заур — повзрослевший и набравший немного опыта, да и время было другое. Но вот методы легавых если и изменились, то только к худшему.

В Иркутске нас продержали, как почти и везде, около двух недель, и мы снова были в дороге. Вновь, как и много лет назад, я лежал на верхних нарах купе «столыпина» и любовался красотами озера Байкал, когда поезд огибал его в 150 километрах от монгольской границы. Больше нас нигде не ссаживали, и, миновав без всяких мусорских эксцессов Улан-Удэ и Читу, в один из солнечных весенних дней 1978 года мы прибыли в Комсомольск-на-Амуре.

Часть IV
Битвы динозавров

Глава 1
Сучий мир

Это время совершенно искренне я могу причислить к одному из самых черных периодов моей жизни. Из «столыпина» «воронками» наш этап доставили в лагерь меньше чем за час и после соответствующих процедур водворили в карантин. Конечно, еще задолго до прибытия сюда, в этот сучий бедлам, мы отчасти поняли, а где-то уже могли почти с полной уверенностью предположить конечный пункт нашего маршрута и были в относительной степени готовы к грядущему, но все же нашу готовность показало время. Комсомольск-на-Амуре — одна из самых что ни на есть сучьих зон Страны Советов. Наши приготовления к встрече, конечно же, были примитивны, ибо капитальных шмонов было не избежать.

Еще на пересылке в Иркутске мы загнали себе под кожу по паре игл, по образцу сапожного шила, но очень тонких. Такой иглой можно было запросто проткнуть глаз или воткнуть ее в шею, деморализуя таким образом противника.

В каждой из буханок хлеба, которую дают на любой этап и которые мы держали постоянно под мышками наготове, мы спрятали заточки — супинаторы.

Но главное оружие, конечно, было у нас в душе. Главным оружием против любого врага являлась воровская идея. И, видит Бог, это — грозное оружие для любого врага, и не считаться с ним легавым было никак нельзя. У людей, которые сидели с нами в карантине, то есть пришли с нами этапом (человек двадцать), почти у всех на лбу ярко светилось: СВП. Это расшифровывалось просто — «секция внутреннего порядка», то есть, проще говоря, сучий комитет.

Лишь нескольких человек, тех, которые в основном молчали, можно было причислить к мужикам. Остальные, как говорится, блатовали как могли, со всевозможными понтами. Мы на них не обращали никакого внимания, нам надоело смотреть на такого рода клоунов и дебилов, наперед зная, что бывает с такими говорунами после первых же мусорских прожарок.

Парадокс ситуации заключался в том, что, будучи теми, кем были мы, то бишь ревнителями воровской идеи, мы не имели права не только на то, чтобы упрекнуть их, но даже сказать что-нибудь негативное относительно их предстоящего рандеву с ментами. Думать можно что угодно, то же самое и предполагать, но без фактов или прямых доказательств никто в преступном

мире, в вотчине воровской, не имеет права делать никаких выводов, а уж тем более спрашивать с человека. Поэтому в таких ситуациях всегда приходилось ждать, ну а время, как обычно, всегда расставляло все по своим местам.

Что же представлял собой этот лагерь? Контингент его состоял процентов на 30 из сук и процентов на 70 — из «некрасовских» мужиков. Цветных мусоров мы почти не видели, — всем или почти всем заправляла мразота. Этап из карантина был обязан либо пройти через запретку, либо помыть дальняк (общественный туалет), и лишь только тогда эти бляди были полностью уверены и знали наверняка, что человек, прошедший через все эти унижения, уже никогда не сможет им противостоять: дорога назад ему была заказана.

Больше того, такие надломленные люди после своего позора либо переходили на сучью сторону, либо, на худой конец, шли на них пахать — да-да, не работать, как мужики на обычных зонах воровских, а пахать, как некрасовские мужики за кусок хлеба или чужие объедки, лишь бы не помереть с голоду. Их блядво содержало хуже, чем рабочих лошадей содержал колхоз.

Все наклонности у таких людей зависели от восприятия ими окружающего мира, ну и еще от некоторых факторов, которые читателю будет понять очень сложно, да, мне кажется, и не нужно. Ибо эти, с позволения сказать, люди позволяли низвести себя до уровня мыслящих животных: полускотов-полулюдей, отличавшихся от первых способностью самосознания, но не принадлежавших к последним из-за прискорбного паралича потребностей души. Внешний облик мог быть даже хорош, а нутро — гнилое и червивое. Вот, пожалуй, краткая характеристика подобного рода людей.

Если же вы отказывались от выхода в зону, мотивируя это чем угодно, то вам предстояло огромное испытание, вплоть до того, что эти ничтожества могли изможденных, приморенных, но несломленных людей даже опетушить. Для них не было ничего святого.

Вся эта сучья процедура выхода в зону, которая была задействована ментами, нам стала известна не вчера. Знали мы также и о последствиях для отказников, но такова была жизнь. Мы прекрасно понимали, что если карта с крестовым валетом сегодня выпала нам, то что ж, придется, стиснув зубы, не уронить свое достоинство. По-другому мы и не могли мыслить.

Мразота не заставила себя долго ждать. На следующий же день после прибытия этапа на зону дверь нашей камеры отворилась и на пороге появилось несколько мрачных личностей с красными повязками на рукавах и улыбками гиен. Внимательно

осматривая присутствующих, так, как пастух осматривает стадо, ища ту овцу, которую следует зарезать сегодня на шашлык, но никак не может ее найти, он провыл, противно писклявя:

— Все знаете, в какую зону прибыли?

Тишина повисла в хате после слов падальщика.

После некоторой паузы, затянувшейся на несколько минут, и будто уже найдя ту овцу, которую следует зарезать, эта блядь резко вскинула голову, как козел-провокатор на бойне, и сказала:

— По одному на выход, быстро.

Надо было видеть эту картину! Куда девалась удаль и бахвальство этих гореблатных? Как стадо баранов, с опущенными головами, молча и не спеша шли они на выход навстречу своей уже точно нелегкой судьбе, а у дверей их встречала стая шакалов с дубинками в руках и со звериными оскалами на поганых мордах.

Как же можно оценить людей, если не дать им возможность собственного выбора, чтобы тем самым высветить истину? Через несколько минут в камере остались только мы с Французом. Мы стояли на изготовку в углу камеры, сжимая под мышками буханки с хлебом, и сверлили взглядом этих блядей. Камера была большая, а потому здесь было где как следует развернуться.

— А вы, значит, блатные и отказываетесь выходить в зону, так я понял? — услышали мы все тот же противный голос гиены. Как потом оказалось, кликали эту падаль, главного из всей своры, Деревня.

— Да, отказываемся, — ответил ему тут же Француз за нас обоих, чтобы не решили, что задумался.

— Ну что ж, посмотрим, посмотрим, — проговорил все тот же голос, внимательно вглядываясь в нас, как будто шнифтом пробивая на вшивость.

Наши взгляды сцепились как клинки перед боем, и пока в этой дуэли победа осталась за нами. Потому что через несколько минут он повернулся и резко вышел, что-то бурча себе под нос, и следом за ним закрылись двери.

За все то время, пока происходили эти неприятные для любого порядочного человека события, мы не увидели ни одного цветного мента, даже ключник, и тот был из сучьего комитета, а это обстоятельство не предвещало ничего хорошего.

Так в ожидании прошел целый день. Вокруг было слышно клацанье кормушек, стук открываемых и закрываемых дверей, разные голоса, но к нашей камере никто не подходил. Даже поесть, нашу кровную пайку, нам не принесли. И дело было не в том, что мы были голодны, а в том, что по неписаным законам тюрьмы, какой бы неординарной ни была ситуация, пайки

кровной менты вас никогда не лишали. Такое отношение к арестантам можно встретить разве что в морге, что же касалось блядей, то они, конечно же, во сто крат были хуже легавых. Они были под стать сорвавшимся с цепи бешеным псам.

Глава 2
Кровь уже пролита

Когда ночь над зоной вступила в свои права и захотелось хоть немного отдохнуть, мы решили отдыхать по очереди. Заметьте, я говорю не «поспать», а «отдохнуть», ибо поспать для нас было бы непозволительной роскошью. Мы вообще уже по многу лет не спали как обыкновенные люди. Даже среди своих, в воровских камерах, мы по привычке не могли расслабиться, что уж говорить о нынешней ситуации!

Первым бодрствовать решил Француз. Игорь был на 15 лет старше меня, почти одинакового со мною роста, но на вид намного здоровей. Да и духом, как показало время, он был покрепче. Зажав буханку уже давно черствого хлеба с начинкой из заточки под мышкой, я вытянулся на нарах и тут же закемарил.

Где-то среди ночи послышалось тихое поскрипывание дверей, и не успел я открыть глаза, как рука Француза стала меня потихоньку тормошить за плечо.

Этот прием был известен каждому каторжанину, его же применяли и менты. Когда хотели застать арестантов врасплох, они открывали дверь через марочку, то есть обернув ключ в платочек, чтобы не было слышно скрипа замка. Что ж, богатый опыт гулаговских вертухаев попал в надежные руки. Когда с нарочито резким шумом, видно, чтобы не дать нам опомниться, распахнулась дверь, то мы уже давно были на стреме, зажав в руках заточки и ожидая эту падаль, стоя в том же углу, что и утром.

Заточки крутились так быстро, будто жернова у мельницы, и не давали этим мразям к нам приблизиться, а их было человек пять-шесть. Но один слишком уж ретивый молодой сучонок, видно, решив или испытать блядское счастье, или выслужиться перед начальством, кинулся на нас, но в мгновение ока, наметившись ему в шею и чуток не рассчитав, Француз проткнул ему плечо. Блядская кровь потоком хлынула с плеча этой падали. Он заорал как недорезанная свинья и ринулся к выходу, зажав рукой рану.

Увидав такой непредвиденный расклад, спеси у этих шакалов немного поубавилась, и они потихоньку стали пятиться назад к двери, а еще через некоторое время она за ними захлопнулась вовсе. Но как бы быстро тогда ни развивались события, мы все же успели обратить внимание на то, что главного с ними не было.

Присев на нары, мы стали оглядывать синяки и ссадины,

молча, ничего друг другу не говоря. Мы знали, что нас ожидает, и были готовы ко всему. Первым прервал молчание Француз.

— Ну что, Заур, давай, братишка, простимся на всякий случай. Кровь сучья пролита, и по ходу пьесы свал отсюда у нас с тобой один — в могилу.

Встав, мы молча по-братски обнялись и, отойдя в противоположный угол, присели на край нар и стали ждать непрошеных гостей, уже не пряча заточки, а держа наготове.

О чем можно думать, когда знаешь и ждешь, что сейчас тебя придут убивать? Как бы фатально ни развивались события, но человек где-то в глубине души всегда надеется на то, что все же ему повезет в последний момент и он вырвется из лап смерти. Так уж устроена природа человека: ждать и надеяться! Знать же заранее исход — прерогатива Божья.

Но пора спускаться на землю. А здесь эта падаль долго себя ждать не заставила. Где-то под утро с шумом открылась дверь и на пороге появился Деревня — один и без охраны. На него противно было смотреть. Эта блядина был высоким и здоровым, мрачным и раздражительным типом.

Как-то раз, очень давно, отступив от кодекса воровской чести, он со временем погряз в грехах блядских, которые воры (до того времени его братья) простить ему, конечно, не могли. Но тогда от верной смерти его спас случай в образе легавых, и с тех пор он был уже на блядских ролях, на сучьих командировках и в прессхатах нескольких «крытых» тюрем. Свою кипящую, неубывающую злобу он мог срывать на ком угодно, предпочитая, однако, тех, кто принадлежал к воровской масти, я уже не говорю о самих ворах, которые были для него хуже любых врагов. Конечно, такому питекантропу не могло прийти на ум, что винить он должен только самого себя, а не каждого встречного. И пусть это прозвучит парадоксально, но он был далеко не глупым человеком, больше того, он был однобоко умен, но ум его был от дьявола.

— Короче так, шакалы, — начал он свой монолог прямо с порога, — либо вы опускаете заточки и сдаетесь, либо через несколько минут вас вынесут отсюда ногами вперед. Кровь уже пролита, и сами знаете — назад дороги нет…

— Пошел ты на… козел паршивый, — выплюнул Француз, вклинившись в его сучью речь и не дав ему даже договорить до конца. Эта фраза была высказана тем спокойным тоном и с тем пронизывающим взглядом, по которым узнается человек, неизменно в себе уверенный. Сколько достоинства, глубокой сдержанности и непобедимой воли было в выражении его лица, облекшегося в такую броню для борьбы за идею.

Кровь прилила к лицу этой бляди, но усилием воли он взял себя в руки, сжал кулаки и, глухо рыча, как гиена, которую побеспокоили во время пиршества или любовных игр, сказав одно только слово: «хорошо», вышел из камеры, даже не закрыв ее.

Еще не успев проанализировать происшедшее, мы услышали какой-то шум в коридоре, и в камеру с ревом влетела целая стая псов.

Как описать то, что произошло потом? Насколько хватило у нас сил, мы отмахивались от этих падальщиков, пока сначала меня, а потом и Француза не задолбили, сбив с ног и нанося удары дубинками, железными прутьями и топча ногами, как собак, пока не вырубили нас окончательно. Но, судя по последствиям, я склонен предполагать, что и после того, как мы потеряли сознание, нас еще долго топтали эти недорезанные бляди.

Когда пришел в себя, я думал, что попал в ад, ибо не мог даже пошевелить пальцами. Мы оба лежали на полу в луже крови. Как выяснилось позже, мне, в какой уже раз в жизни, козлы перебили нос, сломали четыре ребра и в нескольких местах пробили голову. Игоря покоцали сильнее. Помимо поломанных ребер и пробитой, тоже в нескольких местах, головы, у него были отбиты почки. Я даже удивляюсь до сих пор, как он умудрялся терпеть невыносимые, казалось бы, боли все те два месяца, которые нам пришлось провести в нечеловеческих условиях, созданных нам этими блядями, ставивших на нас, по-видимому, эксперименты по выживаемости.

Это был поистине сильный духом и мужественный человек. Я даже не мог окликнуть Игоря. Мне мешала спекшаяся кровь и пена во рту вперемешку с выбитыми зубами, от которой я чуть не задохнулся. Еле выплюнув всю эту гадость и набрав насколько смог воздуха в легкие, я тихо позвал Француза, но тот не откликался. Я думал, что он умер, но и сам чувствовал себя ненамного лучше покойника.

Я лежал на спине, не смея пошевелиться от боли, и смотрел в потолок, повинуясь безотчетному инстинкту, благодаря которому человек всегда старается отдалить минуту смерти, хотя и не надеется остаться в живых.

«Неужели последнее, что мне предстоит увидеть в этой жизни, будут эти две огромные балки в потолочном перекрытии?» — подумал я тогда, глядя вверх и ожидая смерти — то проваливаясь в небытие, то возвращаясь вновь. В моменты пробуждения я был зол на весь мир. Почему после мгновения счастья приходится всегда платить неимоверно высокую цену? И все это, думалось мне, происходит только со мной. Зачем я

вообще был рожден? Для страданий?

Я точно помню тот момент. Лежа рядом с покойным, как я тогда думал, другом, я пал духом, и мне хотелось умереть, по крайней мере, к своему стыду, я почувствовал, что бороться больше нет сил. Я имею в виду, конечно, душевные силы, ибо физически мы и так были как два живых трупа. Однако вскоре расплывчатые очертания моих мыслей постепенно стали принимать более определенные, более устойчивые формы, и мне удалось представить себя в истинном положении — если не целиком, то хотя бы в деталях.

После вечерней поверки дверь в нашу камеру открылась вновь. Я закрыл глаза и притворился все еще вырубленным, но это пришли два мужика с носилками. Сначала меня, а потом Француза они перетащили в камеру-двойник и, бросив на нары, ушли, прикрыв за собой дверь, но не закрыв ее на ключ, — уж это бы я услышал. Чего мне стоило не закричать во время нашей транспортировки в эту камеру, знает один Бог. Силы и выдержку в меня вселили, как ни странно, два этих парчака, перенося нас из камеры в камеру, прикидывая, выживем ли мы и сколько нам еще осталось. Из их разговора я сделал вывод, что Француз жив, а узнав это, я готов был терпеть любые муки!

Мои чувства будет трудно понять тем, кто никогда не имел настоящих друзей. Под словами «настоящий друг» я подразумеваю человека, за которого ты смело можешь идти на смерть. Это обстоятельство я хочу особо подчеркнуть, ибо оно чрезвычайно важно, на мой взгляд, для подрастающего поколения мужчин. Тяжело описывать, в каких танталовых муках прошла эта незабываемая ночь.

Настало утро. Придя в себя, но не открывая глаз, потому что и движение век приносило мне острую боль, я каким-то шестым чувством почувствовал, что Игорь пришел в себя. Почти шепотом я тихо позвал его, и он также шепотом мне ответил. Этого нам хватило, ибо страшная боль во всем теле не давала нам говорить. Но главным для нас было, конечно, то, что мы знали: друг лежит рядом и он жив. К сожалению, видеть друг друга мы не могли, хотя разделял нас лишь маленький проход между нарами не более 30 сантиметров.

После утренней поверки в камеру пожаловала целая свора псов. Мы закрыли глаза, притворившись, будто мы все еще без сознания. Необходимость иногда делает человека быть если не изобретательным, то по крайней мере предусмотрительным. С ними, как ни странно, был и лепила, а если выражаться точнее, то это Доктор Хасс, как его называли все вокруг. О том, что погоняло ему дали в цветняк, мы с Французом вполне убедились уже через

пару минут, когда он ощупывал нас, констатируя переломы и увечья. При этом «осмотре» каждый из нас по нескольку раз терял сознание от боли.

Наконец процедура закончилась. Все это время Деревня стоял в дверях и молча, как шакал, выжидающий, когда околеет зверь, наблюдал за нами. С ним рядом стоял цветной мент с большой звездой на погоне, насколько я смог заметить. Глаза его налились кровью и, казалось, ушли под нависшие брови, щеки сделались темно-багрового цвета. Сквозь полуоткрытые губы виднелись оскаленные зубы; длинный нос вытянулся, казалось, до самого подбородка и придавал страшный вид его подвижному лицу. Он не говорил ни слова, молча наблюдая за происходящим, только рука его судорожно сжимала рукоятку хлыста.

Чуть поодаль от него, словно боясь заразить легавого, стояло несколько приспешников Деревни, видно для фортецалы, ибо биться было уже не с кем, да и сам Деревня был поздоровее нас обоих, вместе взятых.

— Поломаны они капитально, — вынес свой сучий вердикт Доктор Хасс, — нужно их либо срочно обувать в гипс, либо заказывать в промзоне деревянные макинтоши.

В этом маленьком помещении (2 х 2 м) на несколько минут повисла гнетущая тишина. Майор, услышав эти слова, вышел, — видно, прерогатива по отношению к таким, как мы, здесь принадлежала исключительно блядям. Как позже выяснилось, это был кум, но больше мы ни разу его не видели. В эти секунды решалось, жить нам или умереть.

Как порой бывает каверзна судьба, если допускает такие несправедливости! Ибо от кого приходится порой ждать милости — от конченой бляди, который погубил уже не одну людскую душу. Бывают минуты отчаяния и неизвестности, когда человеку не на что рассчитывать и негде искать выхода. Такие именно минуты пережил я, когда гнетущую тишину наконец нарушил голос Деревни:

— Обувай их в гипс, у меня к ним еще есть несколько вопросов, а похоронить мы их всегда успеем…

Чуть ли не до вечера нам с Французом накладывали швы, пеленали в гипс, смазывали увечья и перевязывали раны. Мы лежали на белых простынях, запеленатые, как дети, когда в палату зашел Деревня.

— Ну что? — неприятно прищурив левый глаз, спросил он. — Останетесь на больничке или же попроситесь назад, в камеру?

Вопрос был адресован мне, ибо Деревня знал наверняка, что с Французом на эти темы говорить бесполезно.

— Домой, — еле слышно произнес я.

— Ну что ж, домой так домой, — с сарказмом в голосе произнес Деревня, и к вечеру мы по одному были доставлены на носилках в камеру все теми же двумя мужиками.

Глава 3
Соловецкие опыты

Больше месяца мы пролежали на нарах, можно сказать, почти без движения, поскольку оно доставляло нам неимоверные страдания. О пище не могло быть и речи, даже если бы мы и могли есть. Полдня у нас уходило на то, чтобы доползти до кружки с водой и напиться, а потом ходить под себя.

Другого выхода у нас не было, ибо если бы мы даже и смогли добраться до параши, то оправиться навряд ли бы успели. Почки были отбиты, о другом уже и говорить нечего. Так что к концу месячного пребывания в этой камере мы провоняли настолько, что в камере стоял зловонный туман, но все же для нас это было лучше, чем видеть рожи этих садистов.

Некоторые методы они почерпнули от чекистов с Соловков, которые организовали в свое время в своей вотчине «крысиные карцеры», да что там! До войны немцы приезжали на Соловки, чтобы перенимать опыт функционирования концентрационных лагерей! Об этом мало кто знает, но это было именно так…

Каждый день, а точнее три раза в день, нам приносили кровные пайки. Утром, открывая кормушку, их просто бросали на пол, а днем и в обед, открыв камеру, аккуратно укладывали на наши нары, прямо у нас в ногах. Поначалу нам, откровенно говоря, было даже смешно глядеть на этот маразм, но чуть позже нам стало не до смеха. Ибо это была определенная мусорская методика. Но, как ни странно, это живое оружие, которое они решили применить теперь против нас, не дало нам расслабиться и во многом содействовало нашей относительной поправке.

А живым оружием были крысы. Эти баландеры-садисты просто подкармливали их. И когда те не находили привычный корм на полу, то забирались на нары, — и вот тут происходило нечто. Ну, во-первых, крыса — это всегда неприятно и ассоциируется с чем-то омерзительным, а во-вторых, съев наши пайки, они не давали нам заснуть ни на секунду, то грызя потихоньку большие пальцы ног, то приближаясь к ушам и носу. А в это время, открыв кормушку, эти козлы, наслаждаясь зрелищем, смеялись до хрипоты, даже делая ставки на ту или иную крысу.

Но, видит Бог, я признателен этой божьей твари! Сейчас я точно знаю, что ничего лишнего в природе не существует. Я уверен, что мы пришли в себя раньше намеченного природой срока во многом благодаря этим животным. Точнее будет сказать,

что кое-как передвигаться мог только я один, Француз же пока еще мог только сидеть, но и это было уже большим прогрессом. В каждом его движении, во всем его поведении чувствовались неторопливость и основательность старого зека — и в то же время подавленность, свойственная тому, кто попал в большую беду.

Как-то, за несколько недель до нашего этапа, к нам в хату зашел Деревня. Эта блядина, по-моему, уже не боялся ничего: ни ножа, ни х… Тут я и узнал, что он сам был когда-то уркой, а точнее, был в воровской оболочке. Что произошло с ним, почему он перешел на сторону мусоров, я так и не узнал, да меня это и не интересовало. Знал он и Француза когда-то и даже напомнил ему об этом отрезке их жизненного пути.

Француз был потрясен таким открытием. В принципе, именно этот факт и убедил Деревню оставить нас в живых. Он прямо и заявил нам об этом. В тот день я не слышал сарказма и издевки в его словах — больше того, во всех его движениях чувствовалось уважение. Видно, не стерлось еще из памяти у этого паскуды братство воровское, к которому он когда-то принадлежал, ибо такое не может забыться никогда.

После этого дня отношение к нам резко изменилось, хотя, говоря откровенно, оно и было-то никаким. Нас и так почти никто не замечал. Из камеры, если бы мы даже и захотели, выйти мы не могли даже на прогулку. Три раза в день открывалась кормушка — и в камеру бросали хлеб, который крысы же и сжирали.

Мы ничего не просили, ни с кем не разговаривали, ни на что не жаловались. Мы радовались уже тому, что нас оставили в покое, а что касалось еды и прочих удобств, то мы привыкли к этим лишениям уже давно. Но теперь хлеб, то есть пайку, нам не бросали на пол, а, открыв дверь, укладывали на тумбочку и к ней еще давали первое и второе. Хотя, правда, все это и многое другое нам было положено по закону, но о каком законе, кроме как о беспределе, можно было здесь вообще говорить?

Глава 4
Плыла, качалась лодочка…

На следующий день после моего дня рождения и через неделю после того, как с нас сняли гипс, то есть 2 июня 1978 года, когда нас забирали на этап с этого крысиного убежища, мы хоть и не совсем еще хорошо, но все же могли хоть как-то самостоятельно передвигаться.

Когда «воронок» доставил нас на речную пристань, мы сразу и не поняли, куда нас привезли, но конвойный солдат пояснил: «Этап идет в трюме». Только тогда мы разглядели вдали на причале огромную ржавую баржу. Она была прикреплена толстыми канатами к пристани и покачивалась, будто приветствуя нас и приглашая в приятное речное путешествие. Через несколько часов мы воспользовались ее услугами, правда, не без помощи конвоя, когда спускались по узкому трапу в трюм этого судна.

Что собой представляла эта посудина? Суда подобного рода ходили в этих краях издавна — еще со времен царских ссыльных и красных революционеров. Основным грузом, конечно, были заключенные, которые перевозились вместе с рыбой, строительными материалами и прочими жизненно важными атрибутами повседневной жизни этого сурового края. Так как железных дорог на колымские лагеря не существовало, а до некоторых путь занимал слишком много времени, то самым простым и дешевым правительство сочло путь по морю.

Прибыв этапом в «столыпине» в такие порты, как Советская Гавань или Ванино, заключенных перегружали на корабли, и дальнейший их путь лежал по Охотскому морю до Магадана — столицы Колымского края, а там уже где пешим ходом, а где «воронками», в зависимости от дальности пути, зеков разбрасывали по лагерям. (Кстати, слово «зек», а вернее — «ЗК», означает «заключенный каналоармеец». Родилось оно здесь же, на Колыме, во время строительства осужденными одного из каналов в тридцатых годах. С тех пор это обобщенное название всех заключенных.)

То же самое происходило, если арестантов вывозили куда-нибудь с Колымы. Этап шел до Магадана, затем грузили на корабль — и вдоль всего Охотского моря в Татарский пролив, а там уже либо вновь до Ванино или Советской Гавани и дальше в «столыпине», либо до Николаевска-на-Амуре, где с океанской посудины перегружали в трюмы речных барж, и этап

продолжался, но уже по реке.

Этап, который находился в трюме судна, во чрево которого мы только что попали с Французом, шел из Николаевска-на-Амуре, но люди, в нем находившиеся, шли с Колымы. На дворе стояло лето, было очень жарко, оттого и в трюме стоял невыносимый запах селедки вперемешку с вонью гнили. С непривычки мы первые часы пребывания здесь еле переводили дыхание, но человек привыкает ко всему, а тем более мы, поэтому уже на следующие сутки после водворения нас в эту клоаку мы уже не чувствовали никакой вони. А если говорить откровенно, то к тому времени, по-моему, вообще не способны были что-либо чувствовать или ощущать.

В трюме находилось человек 30 арестантов, но все они были либо серьезно больны, либо стары и почти немощны. Нас это нисколько не удивило, ибо мы знали, откуда они шли. Колыма — не курорт, это знали, наверное, даже инопланетяне. Здесь, как в первозданном хаосе, смешались все человеческие бедствия. Там были старики и люди нашего с Французом возраста. Голые черепа, седые бороды, чудовищная циничность, угрюмая покорность, дикие оскалы, нелепые позы, подобия девичьих головок, детские и потому особенно страшные лица, высохшие лики живых скелетов, которым не хватало только смерти. Это был зловещий марш осужденных к месту наказания, но совершался он не на ужасной огненной колеснице Апокалипсиса, а в душном и вонючем трюме речной баржи.

Как потом пояснил нам один старичок каторжанин, еще два дня назад людей здесь было в три раза больше, но в каком-то порту их согнали на берег. «Так что вам еще повезло, братки, — продолжал он тихо и с некоторой опаской, свойственной людям, долгое время проведшим в заключении, — а то и места этого вам бы было не видать!» Я чуть не рассмеялся ему в лицо, но взгляд Француза вовремя остановил меня.

Под словами «это место» имелся в виду, конечно, не номер в отеле «Риц», а относительно сухая, если не считать того, что она была сплошь пропитана потом бедолаг, половинка двери, на которой мы, умудрившись примоститься, коротали столь «приятное» путешествие по одной из самых больших рек нашей необъятной родины.

Но прежде чем отправиться в этот странный вояж, в трюм поместили еще около двадцати человек. Прибыли они то ли из порта Ванино, то ли из Советской Гавани, точно не помню, но зато помню их лица — они были радостны, и мы с Французом могли их понять. Один из вновь прибывших все шутил: «С корабля — в „столыпин“, из „столыпина“ — на корабль». Другой

ему вторил. Вот такая «веселая компания» собралась в трюме.

Одни уже были готовы вот-вот предстать пред лицом Божиим, другие об этом даже и не думали, но шутили и те и другие, потому что веселый кураж компании арестантов — это первое лекарство от любых болезней, даже от смерти.

Как ужасно было сидеть, а точнее лежать, в этом вонючем трюме день и ночь напролет, на узкой, пропитанной чьим-то потом доске! Как невыносимо непрерывно вдыхать смрадные испарения тел твоих товарищей по несчастью, нестерпимо страдать от гнойных ран, переломов и увечий — понять это может далеко не каждый…

Место в трюме, где мы находились, было небольшим. Основная же площадь была заставлена разным грузом, и нас от него отделяла проволочная решетка в палец толщиной. Точно такая же решетка была и над нами. Иногда в нее заглядывал часовой-конвоир, который охранял нас, но это все было для фортецалы, ибо любой из присутствующих здесь арестантов вряд ли смог бы даже просто подняться по трапу без посторонней помощи. В общем, видеть синеву неба, полет птиц, перемещение облаков, тучи и дождь было самым приятным в этом плавании.

Около десяти дней мы добирались до места нашего назначения. Эти десять дней можно было бы без труда изложить в отдельной главе, но она показалась бы не то что скучной, а скорее неприятной (я думаю, читатель меня понимает), поэтому я ограничусь лишь несколькими строками.

Плавание проходило круглые сутки, то есть без длительных остановок. Короткие же остановки в каких-либо населенных пунктах случались по три-четыре раза в сутки. Одно грузили, другое выгружали, и все это происходило прямо над нами. В такие моменты мы молча, как и положено грузу, лежали на дне трюма и наблюдали за всеми этими работами безо всякого интереса. Невозможно было как-то подстроиться под время работы палубной лебедки, чтобы хоть немного вздремнуть без шума и суеты, ведь мы не знали, где и когда будет следующая остановка, но и это было еще полбеды.

Я родился и вырос на море, на морскую качку я вообще никогда не обращал внимания, но речная, да еще в трюме этого чудовища, а по-другому я уже и не называл эту баржу, было совсем другое дело. Но, к сожалению, болтанка действовала не на одного меня так удручающе. Поэтому я почти ничего не ел, а у нас у каждого был выданный нам заранее сухой паек. По нему в принципе и судили арестанты — на сколько дней растянется этап. Нам с Французом сухой паек был выдан недели на две, и именно это действовало на меня прямо-таки убийственно.

В общем, никто ничего не ел, да и какому, хоть и самому изголодавшемуся, каторжанину полезет кусок в глотку в этом вонючем до одурения и душном, как в котле у дьявола, месте. Тех тридцать человек, которых мы застали в трюме, когда спускались, слава Богу, ссадили еще в Хабаровске. С остальными, которые шли этапом из Ванино, мы прибыли в местечко, где бурная Уссури впадает в левый рукав Амура.

Было прекрасное дальневосточное утро. Поднявшись на палубу, я увидел природу во всей ее красе. Величественный Амур и грациозную Уссури, а где-то вдали — знакомое очертание океана тайги.

На пристани нас ждал «воронок». Погрузившись неторопливо, мы не мешкая тронулись в путь. Дорога предстояла по лыжневке, но сразу чувствовалось, что машину ведет не солдат. Мы-то уже знали по опыту таежных командировок, что как водят машину лагерные асы, так ее по лыжневке не сможет провести больше никто. Иногда машина выезжала на почти открытую местность, и тем, кто сидел ближе к дверям, было видно величие таежной реки — Уссури. Но чаще машина шла по таежной дороге. Добирались мы до лагеря около двух часов, и, говоря откровенно, это было не худшее этапирование в «воронках», учитывая то, что мы были больны, а дорога проходила по таежной лыжневке.

Не берусь описывать то, как из вонючего трюма мы попали на панцирные шконари лагерного лазарета, это будет не совсем интересно. Но отметить то, что зона была воровская и встретили нас с Французом так, как и подобает в таких случаях встречать бродяг, я обязан.

В этой связи хочется сказать больше. Шпане, которая находилась в зоне, были известны в некоторой степени зверства, которые чинили над нами бляди в том лагере, откуда мы прибыли, а от этого мы, естественно, стали еще ближе и роднее тем, кто и сам не раз проходил через подобного рода сучьи прожарки.

Что такое человек? Только испытания могут определить или дать ясное понимание о личности. Но не просто испытания, а испытания тяжкие.

Глава 5
Дерсу Узала с особого режима

Лагерь, куда прибыл наш этап, находился в Уссурийской тайге, на том месте, где какому-нибудь богатому ведомству можно было с уверенностью строить санаторий. Вокруг лагеря необозримо тянулись с одной стороны первобытные леса, где росли красавцы кедры, пушистые ели да стройные сосны, а с другой — несла свои воды бурная красавица Уссури. Занимались местные жители рыболовством, сбором кедровых орехов и целебных кореньев, промышляли охотой. Стояла мертвая тишина, периодически прерываемая то клекотом орла, то рычанием медведя, то хохотом гагары. Запах трав, кореньев и леса, стоявший вокруг, буквально одурманивал.

По реке то и дело сновали в разные стороны пограничные катера, поскольку на другом берегу был Китай. Вдоль нашего берега, забравшись на крышу барака, можно было часто видеть пограничников с собаками, прочесывавших территорию. Но это не мешало некоторым китайцам нарушать границу. Их, правда, всегда отлавливали и почти всегда возвращали назад.

А причиной всему был корень жизни — женьшень, который рос в тайге и который очень трудно было найти. Порой для поисков не хватало человеческой жизни. Для китайцев было большой удачей, да что там, огромным счастьем найти хоть раз в жизни этот корень. В принципе и не только для китайцев. В нашем лагере в то время находился один старый каторжанин Архипыч, по прозвищу Доктор Айболит, он находил этот корень в тайге не раз.

По своей сути, лагерь был туберкулезной зоной, но, кроме «тубиков», здесь находились люди, до кондиции приморенные ментами или зверски изувеченные блядями. Никакой обязаловки относительно работы здесь не предусматривалось, да и самой работы, по большому счету, не было тоже. Имелся в лагере небольшой цех, где тот, кто хотел, шил перчатки или вязал сетки разного формата, вплоть до авосек. Другие же, обычно это были вновь прибывшие, выходили в тайгу в составе лекарственной бригады или, как мы звали ее про себя, «травкиной бригады». Старые, умудренные не только большим лагерным опытом, но и разбирающиеся в разных травах и кореньях каторжане показывали и объясняли, какие травы, коренья и плоды нужно собирать. Затем в зоне их тщательно сортировали для разных нужд и сушили.

Всего несколько месяцев в году здесь было лето, как раз в это время мы и попали сюда. В остальное же время, а оно составляло восемь месяцев в году, нуждающиеся люди пользовались тем, что их собратья успели собрать летом. Вот в эту «травкину бригаду» мы и попали с Французом, но не сразу, а с неделю пролежав на больничных шконарях.

Как-то утром за нами пришел какой-то старик. Мы, откровенно говоря, думали, что это врач, но он оказался больше чем врач — это и был Архипыч. В белом халате, очень серьезно и сосредоточенно нас осмотрев, прощупав, наверное, каждую косточку, он в конце осмотра сказал: «Давайте-ка, братки, потихоньку поднимайтесь, да пойдем в тайгу. Она вылечит вас, а я ей по возможности помогу в этом». Так оно и вышло. Прекрасное знание народной медицины вкупе с превосходным применением их на практике дали свои ощутимые результаты. Конечно, от всех болезней и увечий, которые мы имели, избавить нас мог разве что Всевышний, но после лечения у этого кудесника от Бога мы все же стали относительно здоровы.

Но не мы были первыми его пациентами, и уж конечно, не последними. Он был удивительным человеком. Никто не знал, сколько лет этому милому и доброму старику. Ему можно было дать от шестидесяти и до ста. Но это был живой и подвижный дед. Он сидел уже 40–45 лет, числился за Москвой, то есть у него было пожизненное заключение. Никто не знал, откуда он родом, за что и сколько сидит. Да и сам он, по-моему, уже давно потерял счет времени. Жил замкнуто, почти ни с кем не разговаривал, если дело не касалось оказания кому-нибудь посильной помощи, и никого не пускал в свою душу. Что бывает крайне редко в заключении, все были едины во мнении, что это глубоко порядочный, добрый и честный каторжанин.

Старые босяки рассказывали, что одних только урок, в свое время побывавших на сучьих войнах, он спас не один десяток, и это вопреки желанию администрации, а сколько вообще человеческих жизней спас этот человек, не знал, конечно, никто. Его бы уже давно менты упрятали куда-нибудь в «крытую», если бы сами не нуждались в его услугах. Он лечил всех без разбору и видел в этом свой долг. Разве мог кто-нибудь его за это осудить? Бог дал ему дар, который он с лихвой использовал во благо людям.

Время в лагере летело незаметно. Казалось бы, еще недавно было лето, мы прибыли сюда, больные и искалеченные, — и вот уже осень, и мы вновь в строю. Мелкий туман заволакивал верхушки деревьев рядом с зоной. Плоды дикой вишни, росшей вдоль широкого ручья, протекавшего рядом с лагерем и

впадавшего в Уссури, были кроваво-красного цвета. До середины октября шли беспрерывные дожди. Хмурое осеннее небо, суля снегопад, низко висело над громадным болотистым лугом, на котором раскинулась таежная командировка. Осень здесь была очень короткой, так что в конце октября кругом лежал толстый слой снега. А ночью морозы достигали 15–20 градусов.

С тех пор как мы с Французом заехали на эту командировку, контингент здесь поменялся на треть. Килешовка здесь была постоянной, долго не задерживался никто. Подлечили, поставили на ноги — и вновь в путь: либо назад, откуда прибыл, либо туда, куда влек каждого из нас наш жалкий жребий. Никто и не пытался тормознуться в зоне, заплатив за это деньгами или еще чем-нибудь, как это практиковалось почти везде по ГУЛАГу, — это было запрещено ворами. Потому что в услугах таких людей, как Архипыч, нуждались многие достойные арестанты, находившиеся в разных лагерях Приморского края. Мы с Французом не были исключением из общего правила, а потому и ждали этапа со дня на день, и он не заставил себя долго ждать, но произошло это при весьма неприятных для всех нас обстоятельствах.

Здесь, в лагере, почти все знали друг друга либо лично, либо заочно, и в этом не было ничего удивительного. Контингент был одно отрицалово, а нас постоянно перевозили с места на место, долго нигде не задерживая, не давая осесть, или временами закидывали к блядям, чтобы одних проверить на прочность, а других сломать. У легавых это называлось «гулаговский отбор», то есть абсолютно для них естественный. Да и мы, привыкшие к этим козням мусоров, уже давно ничему не удивлялись.

На тот момент, о котором я сейчас пишу, в лагере находился всего один уркаган, хотя, когда мы приехали сюда, их было четверо. Звали его Коля Дымок. Ему было около семидесяти лет. По его совершенно седым волосам, прорезанному морщинами лбу, бледным губам, скорбному, усталому лицу можно было читать о пережитых им страданиях. Он обладал змеиной мудростью и голубиной простотой, что есть удел настоящего величия. Преступный мир являлся для него раскрытой книгой — волнующей, всегда увлекательной, полной ненависти и любви, жизни и смерти. Но и такие люди иногда ошибаются, но не в жизни своей, а скорее на склоне лет они становятся более доверчивыми, что ли. Рискну предположить, что все же так и есть. Игры в зоне почти не было, не считая старых партнеров, которые могли начать процесс «третьями» или в «терс», в одном лагере, а спустя десять или пятнадцать лет встретиться в этом или другом лагере вновь и довершить тот самый, начатый когда-то в

молодости столь затянувшийся процесс. Назвать эту причуду игрой под интерес, то есть чтобы содрать друг с друга шкуру, конечно, нельзя, это был скорей интерес спортивный, как привыкли говорить арестанты, когда от игры не получалось никакой выгоды.

Если кто-то из каторжан в чем-то нуждался и это «что-то» было либо в каптерке, либо на общаке, этот «кто-то» получал все без каких бы то ни было напрягов, даром, ибо контингент в лагере был двух мастей — фраерами здесь и не пахло. Ни в одном, даже самом отдаленном уголке зоны нельзя было услышать ни ругани, ни ссор. Даже матом ругались редко — для этого у людей почти не имелось поводов. Эта командировка, как бы по немому согласию людей, считалась островком истинной каторжанской солидарности и братства.

Везде в ГУЛАГе «на кресту» запрещались всякого рода разборки, кроме воровского сходняка. «Крест» грелся отовсюду, и часть грева доставалась даже самым последним педерастам. Никто, никогда, ни в чем ему положенном обойден не был, в противном случае это строго наказывалось.

Но не все плоды в саду даже у самого трудолюбивого садовника избегают опасности зачервиветь. Не все отары, пасущиеся на самых сочных лугах, не имеют паршивой овцы в своем стаде. Тем более и не все люди, составляющие одно сословие или одну касту, что в данном случае безразлично, не могут не иметь в своих рядах предателя, как бы ни были суровы законы общества, к которому они принадлежат.

Глава 6
Блаженный Матвей

Как я уже упоминал чуть раньше, килешовка в лагере была постоянной, и вот в одном из этапов в лагерь заехал один крадун по прозвищу Матвей. В лагере его знали многие — и не только как бродягу, но и как хорошего карманника, что было не так уж и мало, исходя из его возраста. Это был молодой человек родом из Хабаровска, лет 28–30, стройный и высокий, широкоплечий и хорошо сложенный. Лицо его, дышавшее умом и кротостью, принимало необыкновенно энергичное выражение, когда он широко распахивал свои большие синие глаза.

С самого выхода в зону, а был Матвей тоже здорово покоцан ментами во время тюремного бунта и первое время находился в санчасти, он как бы отрешился от всех. Не принимал знаки внимания братвы, ни с кем не общался, даже с близкими ему по свободе людьми не поддерживал никаких отношений. Когда же наконец он вышел в зону, то ни в первый, ни во второй день не появился у Дымка. Любой бродяга, заехавший на зону, пересылку, тюрьму или еще куда-либо и узнавший, что рядом находится урка, своим святым долгом всегда считал нанести ему визит: таким образом познакомиться, если не знал вора прежде, или встретиться вновь, если они уже были знакомы.

Это был воровской ритуал, которым не посмел бы пренебречь ни один бродяга, если находился в здравом уме. Так что в зоне отнеслись к этому обстоятельству с пониманием. Разве мало было у каторжан на памяти случаев, когда менты или бляди отбивали у человека все, даже память, да так, что человек не помнил, как его зовут. Все сочли, что этот случай с Матвеем именно такого рода, и не докучали ему в надежде на то, что он со временем отойдет, таких случаев тоже было немало.

Но все были ошеломлены, когда однажды выяснилось, что Матвей стал киномехаником. Дело в том, что режима как такового здесь, в лагере, никогда не было. Начальник по режиму или начальник оперчасти, то есть кум, были в зоне в виде фортецалы, а хозяина за все наше пребывание здесь с Французом мы вообще ни разу не видели. Что же касалось места киномеханика, то его в любой зоне занимает подмастерье, который ни к мужикам, а тем более к блатным не принадлежит. Разве что старый и больной «некрасовский» мужичок, который и был прежде на этом месте, мог претендовать на него. Этот его «выход из-за сцены» был уже непонятен никому и мог здорово

осложнить ему жизнь. Впрочем, все по порядку.

Матвей по-прежнему ни с кем не здоровался и вообще в упор не хотел никого узнавать. Чуть ли не круглыми сутками он не выходил из своей будки, которая, кстати, располагалась прямо напротив кабинета кума, либо торчал в этом самом кабинете по полдня, всех вокруг игнорируя и ни на кого не обращая никакого внимания. Это уже было даже в какой-то степени забавно. Но самым интересным стало то, что на дурака он как раз таки похож и не был — на кого угодно, но только не на дурака. Это подчеркивали и те, кто знал его еще со свободы, характеризуя его только с положительной стороны.

В связи со многими факторами воровской этики и морали в зоне могли возникнуть нежелательные эксцессы, поэтому вердикт Дымка на этот счет был сдержанным: «Не трогать и вообще не обращать никакого внимания, время покажет». И оно действительно показало. Ведь недаром же говорят в народе, что время хороший учитель.

Глава 7
Казнь через повешение

Прошло некоторое время после этих событий, всколыхнувших всю зону, как вдруг однажды — а случилось это перед Новым годом, в середине декабря — Матвей ни с того ни с сего пожаловал к Дымку. О чем они говорили, не слышал никто, потому что они были одни, но говорили очень долго. Затем, после вечерней поверки, Дымок позвал к себе шестерых самых достойных и уважаемых немолодых каторжан, среди которых оказался и Француз, и все они после недолгих переговоров отправились в будку киномеханика, к Матвею.

Вся зона, естественно, была в большом недоумении, но здесь привыкли к сюрпризам, которые нередко предоставляла нам лагерная действительность, поэтому оставалось одно — ждать. В полночь они вышли от Матвея, и я одним из первых в зоне узнал, что же произошло на самом деле.

День тот выдался солнечным. И морозная, снежная зима, как по заказу, принарядила зону в это ясное утро:

прикрыла белым пухом лагерные строения, заровняла болотистую лыжневку, побелила сверху изумрудные льдины-края темно-лиловых прорубей на реке, расшила серебряными узорами окна бараков и кацебурок. На просторной лагерной территории пахло остро, свежо, как пахнет обычно после лютой метели…

По подъему, прямо у порога кабинета кума, на старом фонарном столбе висел один из самых близких людей Коли Дымка — Леха Колымский. Место казни было выбрано неслучайно. Зона, конечно, поняла все, поняли это, к сожалению, и легавые.

Через несколько дней после описанных мною событий Колю Дымка, Француза, Матвея и еще 22 арестанта вывезли с этой командировки. Среди этих достойных каторжан был и я.

Что же произошло в ту ночь в будке у Матвея? Сразу начну с того, что о Матвее братва, которая его знала, отзывалась абсолютно точно. Вдобавок ко всем положительным качествам, которыми он обладал, он был еще и умен, что, согласитесь, дает определенного рода преимущество над большинством людей, которые вас окружают в заключении.

За несколько лет до описываемых мною событий в Тобольской «крытой» умер один старый и авторитетный уркаган по кличке Букет. В это время рядом с ним находился только Матвей, они сидели в камере вдвоем. Перед смертью Букет взял

слово с Матвея, что он выполнит обещание, а затем рассказал Матвею историю, которую я не берусь здесь пересказывать, расскажу лишь суть.

Одна конченая сука сдала ментам всю воровскую бригаду прямо в делюге, и этой нечистью был Леха Колымский, который сам был членом той бригады и, видно, по совместительству еще и иудой. На тот момент, когда Букет поведал Матвею эту историю, из живых ее свидетелей оставался только он один, но и он вскорости умер.

С тех пор прошло четыре года, и вот тут-то и произошла эта роковая встреча, невольными свидетелями которой оказались все мы, обитатели этой командировки. Матвей прекрасно понимал, что голыми руками такую шельму, коей он по праву считал Леху Колымского, взять будет невозможно. Теоретически — да, все складывалось, казалось бы, просто. Рассказать обо всем Дымку, тем более что тот знал некоторые подробности этой делюги, а там справедливость восторжествует или, по крайней мере, должна будет восторжествовать.

Но это, к сожалению, было только теоретически. Главным аргументом для иуды было отсутствие свидетелей его предательства. А при таком раскладе на воровские весы всегда ставится прошлое тех, кто качает базар друг против друга. И хотя жизнь Матвея и не была замарана никакими позорящими бродягу поступками, а, наоборот, была посвящена всему воровскому, к тому же он был честный малый, — все же этого оказалось явно недостаточно. Леха Колымский был вдвое старше Матвея, а если исходить из того, что всю жизнь он провел рядом с ворами и никто ничего порочащего его честь не слышал, то уже одно это сводило к нулю все заслуги Матвея. Я уже не говорю о тех моментах в жизни этой падали, которые были отмечены воровскими подвигами, а такие действительно были. Так что при воровском раскладе чаша весов однозначно склонилась бы не на сторону правды — и так порой бывало в нашей жизни… Это являлось «заслугой» легавых первого отдела, — они могли работать!

Что там говорить, на моей памяти были случаи и похлеще этого. Когда между двумя достойными идет подобного рода качалово, миром это не кончается никогда, точнее одного из них ждет неминуемый приговор — смерть. Так что в преступном мире, для того чтобы обвинить человека в предательстве, да еще и повлекшем за собой человеческие жертвы, необходимо иметь очень веские, бесспорные аргументы его вины. В подобных щекотливых ситуациях сто раз приходилось отмерять, чтобы один раз отрезать.

Не многих знавал я людей, которые бы на свой страх и риск стали действовать так неординарно, разыгрывая умопомешательство, чтобы быть исключительно верными данному покойному вору слову, тем самым подчеркивая свою масть, как это рискнул сделать Матвей.

Но главным фактором успеха его предприятия стал исключительный случай — этот справедливый провидец Божий. В самое ближайшее время на зоне должен был состояться воровской сходняк. Воры, заранее предупрежденные об этом мероприятии, уже находились в пути, съезжаясь на нашу зону со всего края. В зоне помимо Дымка знали об этом, как и положено, всего несколько человек. Среди этих нескольких был и Леха Колымский.

Результаты этого сходняка ментам нужны были как воздух, ибо, опираясь на его постановления и директивы, они и планировали свою грязную работу по усилению режима и уничтожению людей, им не покорных. И каким бы странным это ни показалось, но для связи со своим агентом легавые избрали лагерного кума.

Я уже упоминал, что в этом лагере кум являлся своего рода фортецалой. В лагере необходима была административная единица, он и был ею, не более того. Все об этом знали, и никто не обращал внимания на людей, бывавших в его кабинете. Визиты каторжан в этот кабинет почти никогда не имели ничего общего с оперативной работой. Кум был по национальности корейцем и к тому же всегда был страшным попрошайкой, чем и пользовались арестанты в полной мере. Так что, с точки зрения ментов, это место стало идеальным для встреч с агентом.

Правда, они не учли кое-что, а именно: что человек все же лишь предполагает, а всем располагает Бог. Конечно, будь кум хоть чуточку умнее или хотя бы поматерее, Матвею было бы не промести ему эту пургу с головой. Кум должен знать, что такие люди, как Матвей, просто так на сторону легавых не переходят вообще, да еще после их козьих экзекуций. Да и больные на голову люди не ведут себя так странно, моментально меняя, с точностью до наоборот, свою жизнь и свои привычки.

Но, слава Богу, кум оказался лохом. Матвею, имевшему еще со школьной скамьи пристрастие к радиоаппаратуре, нетрудно было установить в его кабинете микрофон, а провод провести к себе в будку. Таким образом, как только кто-то из интересующих его людей входил в кабинет кума, Матвей включал магнитофон и делал запись.

Вот таким образом и была выявлена и разоблачена, а впоследствии и казнена одна из самых матерых сук ГУЛАГа Леха

Колымский. Все эти подробности я слышал от самого Матвея, когда после очередного этапного пролета «столыпин» наш прибыл в необъятный Краслаг на пересылку Решеты.

Пробыли мы здесь около месяца, и, встретив Новый, 1979 год, мы отправились в зону в поселок Горевой, но она нас не приняла, и мы развернулись назад. Далее было еще несколько лагерей Дальнего Востока, Сибири, Урала и Крайнего Севера, куда завозили нас этапом, но нигде не принимали.

Почти со всеми, кто выезжал со мной в лагеря на Уссури, я распрощался по дороге, на разных тюрьмах и пересылках страны. Чувствовал я себя неважно, откровенно устав от всех этих «столыпиных», шмонов и пересылок.

Почти ни на что не обращал внимания, кроме, конечно, своей масти, но приходилось терпеть. Научился не реагировать ни на какие посторонние шумы, да так, что если бы у меня над ухом целый день сводный хор милиции распевал «Калинку», я бы спал себе спокойно, не обращая на них никакого внимания. Простился я и с Французом, но с ним после полугодового скитания по этапу я доехал до пересылки Весляна, откуда когда-то выезжал в столь долгое и со всех сторон познавательное путешествие.

Глава 8
И вновь на Княж-погосте

Здесь наши пути-дороги разошлись, но были мы друг от друга недалеко. Его отправили на Ракмас (туберкулезную зону), а я вновь оказался на своей злосчастной «тройке» Княж-погоста, за которой, мне кажется, я был закреплен, как земля за колхозом. На всех трех зонах Княж-погоста, только на «двойке» был вор Толик Тарабуров, или, как его еще называли, Тарабулька Бакинский. Прямо перед моим приездом его перевели на «двойку» с «головного».

Контингент в лагере поменялся почти наполовину, но структура и положение оставались прежними, воровскими. Из моих близких не было Слепого и Артура. Их тоже отправили куда-то за пределы Коми, но куда — никто не знал: от них еще не было ни малявы, ни письма, ни слуху ни духу. Здесь в лагере я вновь встретил многих из тех, с кем приходилось сталкиваться либо на пересылках, либо в лагерях, либо в тюрьмах ГУЛАГа.

Начальство на «тройке» осталось прежним, правда, вместо хозяина Марченко, спокойного и уравновешенного подполковника, пришел седой капитан, который до этого работал кумом на Иосире, на особом режиме. Но для меня главным было, конечно, то, что Юзик остался у лагерной власти.

После того как я пришел в себя после долгих передряг в дороге по этапу и уже обосновался в лагере, меня сначала водворили в изолятор на 15 суток, а вскорости по выходе — и в БУР на шесть месяцев. В постановлении было указано: «за систематическое нарушение режима». Такой формуляр писался почти всем моим единоверцам, если они не были пойманы с поличным за какое-либо нарушение режима. Но это уже был не тот деревянный БУР, в котором мы некогда, можно сказать, отдыхали, да еще выражая свое недовольство, — теперь это была цементная коробка. Деревянными здесь оставались только нары, да и то окантованные железными угольниками, которые открывались при отбое и закрывались в пять часов утра, по подъему. БУР был рабочим, плели сетки под картошку (5 х 5 м).

Кто хотел — работал, кто не хотел — сидел в изоляторе на пониженном питании, но таких почти не было, не считая тех, у кого были личные передряги с мусорами.

Дело в том, что сматывать клубки с огромных бобин и делать челноки из дерева выводили в общую хату, а это всегда общение между людьми, известия со свободы, с зоны, разные новости

общего характера — в общем, это было нам выгодно. Что же касалось сеток, то норму — 3,5 сетки любой из нас мог запросто сплести за час за непринужденной беседой. Правда, впоследствии норму потихоньку увеличивали, но это была не беда. Главное — держать контроль над всем производством, ибо от этого зависела жизнь братвы в камерах, а она была не сахар…

Здесь, в этом первом БУРе после моего возвращения в зону, я наконец-то получил письмо от матери. Все эти годы странствий по гулаговским просторам я, конечно, писал ей, обстоятельно изображая красоты тайги, рек и озер, где мне приходилось либо сидеть, либо проезжать по этапу, но у меня с ней был уговор: если в письме встречается слово «пересылка», значит, ответ она мне не пишет, зная, что задержусь я там ненадолго. Если же этого слова не было, можно писать ответ.

Она, как позже выяснилось, написала мне несколько писем за это время, но, по стечению обстоятельств, я ни одного из них не получил. И вот долгожданное письмо.

Все, слава Богу, живы и здоровы; правда, жена моя ушла из моего дома, но в обиде я на нее не был — сам писал ей когда-то, чтобы она как-то устраивала свое будущее, тем более что было ей тогда всего 22 года. Я же и не надеялся на то, что когда-нибудь увижу свободу.

Но главным известием стало то, что дочь моя Сабина жила с моими родителями. Они уговорили жену оставить девочку у себя, и она пошла им навстречу. И это еще более укрепило мое уважение к ней, ибо, как она сказала старикам: «Я иду на эту жертву ради вашего сына». В этом, да и в последующих письмах, пускаясь в наставления, мама всегда подчеркивала, чтобы я думал о будущем, хотя бы во благо своих детей.

Я как-то не обращал на это внимания, думая, что она, проработав всю жизнь детским врачом, все-таки обобщает, но, оказывается, я глубоко ошибался, по сути не зная собственную мать. Иначе я должен понять, что просто так мама никогда ничего не говорила и тем более никогда не могла написать лишнего. Но в этом я убедился позже.

Из корешей, оставшихся на свободе, я поддерживал постоянную связь лишь с одним Харитоном, потому что остальные близкие были в неволе. Шесть месяцев пролетели так же быстро, как на этом белом листе бумаги изложенные мною воспоминания, строки, а писал я их, видит Бог, очень долго и кропотливо. Новый, 1980 год я встретил в БУРе, в кругу братвы, а в начале того года был уже в зоне. Меня по-прежнему не выпускали на биржу из-за красной полосы в деле (склонен к побегу), но находился я в бригаде, не имевшей никакого

отношения к побегушникам, так что целый день у меня проходил в жилой зоне.

Почти круглые сутки я играл в карты, а в остальное время выполнял обязанности, которые предписывал бродягам их долг. Жизнь в лагере текла своим чередом — тихо и монотонно, приближая каждого из нас к заветной свободе. По весне меня вновь упрятали в БУР, и опять на шесть месяцев, на всю катушку…

Как сейчас помню тот жаркий июльский день. Мы с Дохлым, корешем моим и сокамерником по БУРу, лежали на полу изолятора и потихоньку отходили от голодовки, которая длилась больше месяца. Еще совсем недавно силы наши были почти на исходе. От нас уже пахло ацетоном — это первый признак того, что смерть близко. До конца ту голодовку смогли выдержать немногие, из 52 человек остались Дохлый, Баржа, Прокоп и еще трое достойных арестантов, не считая меня. Нас с Дохлым подкосила пеллагра, видно потому, что мы действительно были дохлые от природы, и нас с ним держали в отдельной камере, но все не переводили назад в БУР, хотя голодовку мы уже неделю как сняли.

«У них еще не кончились очередные пятнадцать суток за нарушение режима содержания в ПКТ (помещении камерного типа)» — был ответ Юзика на просьбу Полины Ивановны, нашего лагерного врача, о том, чтобы нас, как очень больных и слабых, перевели назад в БУР. Так что уговоры этой лагерной феи в белом халате ни к чему не привели.

После того как кто-то из моих написал с зоны, что я сильно болен, почти при смерти и у меня пеллагра, моя мать, естественно обеспокоенная таким известием, написала Полине Ивановне письмо. Они стали переписываться как медики, и надо сказать, что это обстоятельство впоследствии немало помогло мне, когда дело касалось медицины. Но, отдавая дань справедливости, надо сказать, я уже, кстати, это подчеркивал, что начальник санчасти Княж-погостского управления была добрым и отзывчивым человеком и врачом.

В общем, как бы то ни было, но в тот день мы лежали с Дохлым на полу (а пол в изоляторе был деревянный, в отличие от БУРа) в ожидании, когда у нас кончатся очередные 15 изоляторских суток, и вели неторопливую беседу. Через стенку с нами находились наши кореша.

Часть V
Возвращение на свободу

Глава 1
Невозможная встреча

Сразу после утренней поверки дверь в нашей камере открылась и на пороге появился ДПНК.

— Зугумов, на выход! — скомандовал он.

Я потихоньку поднялся и пошел вслед за ним. За время голодовки к какому только начальству нас не дергали, поэтому мы как бы уже смирились с частыми вызовами, но на этот раз меня почему-то провели мимо кабинетов, предназначенных для подобного рода процедур, затем мы прошли мимо кабинета врача, и, открыв впереди меня внешнюю дверь ПКТ, ДПНК вывел меня в зону.

Яркий дневной свет и блеск солнца тут же ослепил меня, и я остановился. Зажмурив глаза и скрипнув зубами, я стоял и не мог сдвинуться с места. У меня кружилась голова, и я был зол от бессилия.

Всем известно, что поскольку голод не связан с какими-либо приятными или возвышенными ощущениями, ему обычно сопутствует крайнее раздражение и угнетенность. ДПНК почему-то, как обычно, не торопил меня, он стоял поодаль, взирая со стороны на эту картину, и странно улыбался. Возможно, его смешил мой вид, подумал я, поскольку весил я тогда 48 килограммов, а изоляторская роба висела на мне как тряпье на огородном пугале. В общем, картина была впечатляющей, но для мусоров обычной и привычной. Почему же он на меня так смотрит, все никак не мог я понять.

— Ну что, Зугумов, перевел дух? — спросил он меня после некоторой паузы.

— Да, — ответил я, — вроде оклемался чуток.

— Ну добро, давай-ка пойдем потихоньку до кабинета хозяина, а там, я уверен, ты воспрянешь духом.

Он говорил загадками, но я по привычке уже давно не ждал от подобных людей ничего хорошего. Почти любое их слово нужно было воспринимать как антоним. Поэтому я молча продолжил свой путь, не задавая никаких вопросов, точно зная, что в любом случае ничего хорошего со стороны ментов меня ожидать не может.

Но на этот раз я здорово ошибся. Хотя кто его знает, ведь то хорошее, что меня ожидало, было не мусорским подарком на новоселье.

Войдя в дверь кабинета хозяина, я замер на месте как

вкопанный. Когда человек изумлен, он сперва оглядывается кругом, чтобы удостовериться, что все по-прежнему стоит на своих местах, затем ощупывает самого себя, чтобы убедиться в собственном существовании.

Если бы рядом со мной разорвалась бомба, эффекта от этого было бы не больше, чем от того, что я увидел. Прямо напротив меня, под портретом непременного Железного Феликса сидел хозяин. Справа от него, положив руки на дорогой кожаный портфель, который лежал на столе, покрытом казенным зеленым сукном, сидел мужчина приятной наружности в черном костюме отменного покроя. Слева от хозяина сидела шикарно одетая молодая особа. Когда она встала и выпрямилась, надменная и гордая, как львица, и повернулась ко мне лицом, я чуть не задохнулся от нахлынувших на меня чувств: передо мною стояла Валерия во всей своей женской красе. Золотой обруч сдерживал ее густые черные волосы. Высокий лоб был благородно очерчен. Ласковый, но холодный и, пожалуй, испытующий взгляд больших и умных зеленых глаз смягчила в тот момент тихая, неопределенная улыбка, придававшая ее спокойному лицу теплоту и приветливость. Тонко очерченные брови взлетели над двумя изумрудами, которые увлажнились слезами, губы ее дрожали. Никогда мне не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь представлял такое сходство с Мадонной, которую чтут католики.

— Здравствуй, дорогой, — сказала она сквозь хлынувшие из ее глаз, как из двух ручьев, слезы и, не выдержав напряжения, бросилась ко мне как молодая пантера, сжав меня в своих нежных объятиях.

Я стоял молча, обняв ее, и боялся испачкать шикарный туалет карцерной пылью. Закрыв глаза, я не смел даже вздохнуть, еще не совсем веря во все происходящее.

Мы смотрим на звезду по двум причинам: потому что она излучает свет и потому что она непостижима. Но возле нас есть еще более яркое сияние и еще более великая тайна — Женщина! Больше всего я боялся расчувствоваться в присутствии легавых, когда после первой волны, захлестнувшей нас, Валерия, отпустив меня, повернулась в сторону хозяина и нежно позвала:

— Заурчик, иди сюда, поздоровайся с папой.

Тут только, из-за ее плеча, я увидел свою точную копию, только намного более красивую.

Он сидел на стуле возле стены, справа от меня, ни на кого не обращая никакого внимания, и по-детски непринужденно листал какую-то книжку с картинками. Сомнений быть не могло, — это был наш с Валерией сын.

Видит Бог, много горя я хапнул за последние годы

заключения и от самих мусоров, и от лагерной нечисти, но ни разу — ни будучи избитым до полусмерти, ни валяясь на полу с переломанными костями — я не проявил какой-либо слабости. Здесь же, в этот трогательный момент моей жизни, у меня на глаза навернулись слезы. Но только лишь навернулись, ибо даже сам не знаю, каким усилием воли я умудрился их сдержать.

Этот день знакомства со своим сыном я, конечно, запомнил на всю оставшуюся жизнь. И не просто запомнил. Много лет во сне приходил он ко мне в разные камеры и скрашивал мою тюремную жизнь своим присутствием. Что же произошло? За что? Каким образом я смог заслужить такую милость?

Все это Валерия объяснила мне вечером в комнате свиданий, где мы провели втроем незабываемые трое суток. Когда она прибыла на зону в Пермскую область, она уже знала, что беременна. Оставалось только сообщить об этом домой, что она и сделала. Родители наняли классного адвоката, который написал прошение о помиловании в Верховный Совет СССР. Кое-кому, естественно, отстегнули немалый куш и, исходя из отсиженного и «многих смягчающих вину обстоятельств», прямо перед рождением нашего сына она была освобождена из заключения, а точнее, помилована.

Ребенка она родила уже дома, в Москве. Роды были очень тяжелыми, ей делали кесарево сечение, и по каким-то там женским причинам она уже больше не могла иметь детей. Никто ее не осуждал за этот решительный поступок, а тем более родители, но ей все же пришлось переехать с маленьким сыном с Кутузовского, где она жила с родителями, в Отрадное, к тете. Время все-таки в стране было шебутное, а бытие у людей по-прежнему определяло сознание.

Через полгода после родов в отпуск из Германии приехал ее бывший жених. У них состоялся обстоятельный разговор, где она поведала ему обо всех своих тюремных перипетиях. Он понял ее и ни в коем случае не осуждал. Как я упоминал ранее, это был порядочный человек, а главное — он любил Валерию.

Нужно было некоторое время, чтобы она могла официально выйти за него замуж и переехать с ним в Берлин, где он тогда работал. Ребенка он усыновил, а для большинства, кто не был посвящен во всю историю, он был его родным сыном.

Обо всем этом они договорились заранее, и он уехал назад к месту службы. Шло время, и Валерия, многое передумав, решила, что будет верхом несправедливости уехать и не известить меня о том, что у меня родился сын. Но как это сделать? Тут-то и пригодилась наша зубрежка адресов в «столыпине», в том далеком северном этапе.

Валерия написала письмо моей матери и получила ответ. Как мать сказала мне позже, она прекрасно поняла эту женщину. Завязалась интенсивная переписка, из которой Валерия где узнавала, а где и догадывалась, о моих тюремных передрягах.

Когда маленькому Зауру исполнился год, моя мама взяла с собой свою четырехлетнюю внучку Сабину и приехала в Москву, чтобы познакомить брата с сестрой, которых еще ни разу не видел их родной отец-каторжанин.

Обе женщины с нетерпением ждали этой встречи, и она оправдала все их ожидания. Мама прожила в Москве больше трех месяцев. За это время дети очень сдружились, да и мама с Валерией стали родными и близкими людьми. Обо всем, о чем им нужно было договориться, они договорились, и мама уехала назад, в Махачкалу.

Перед отъездом они условились: как только от меня придет известие о том, что я в каком-то лагере задержусь хоть ненадолго, мама тут же сообщит Валерии. Но о том, что они вообще как-то общаются, а тем более о том, что у меня есть сын, Валерия просила маму мне не сообщать, рассчитывая в дальнейшем преподнести мне сюрприз. Как читатель мог убедиться сам, ей это удалось, мама сдержала данное слово.

Как я упоминал ранее, Валерия была глубоко образованна, хорошо воспитана, а главное — она происходила из очень состоятельной семьи. Наняв адвоката на некоторое время, она прилетела с ним прямо из Москвы ко мне в лагерь, не став дожидаться, когда я выйду из БУРа, тем самым избежав всякого риска не увидеть меня.

По законам того времени, если женщина приезжала в лагерь к арестанту заключать законный брак, то, где бы он ни находился, в каком бы лагерном каземате ни сидел, администрация была обязана предоставить все необходимые условия для этого. То есть пригласить представителей из ЗАГСа для оформления свидетельства и дать личное свидание на трое суток, независимо ни от каких предыдущих взысканий.

Все это адвокат и объяснил хозяину, который и так знал этот закон не хуже его. Как магически действовали юристы, прибывавшие из Москвы, на северных провинциалов ГУЛАГа, думаю, объяснять нет надобности. Ну а наличие маленького ребенка ставило вообще все точки над «и». Так что ни Юзик, ни кто бы то ни было другой, кроме Всевышнего, конечно, не смогли бы помешать мне вновь встретиться со своей подругой.

Мне кажется, что наша встреча была уже давно предопределена на небесах. А пока, после процедур загса, где меня впервые в жизни с чем-то поздравляли лагерные мусора, нас

троих отвели в комнату свиданий.

Как для путника, изнывающего в пустыне от жары и палящих лучей солнца и вдруг увидевшего вдали не мираж, а зеленый оазис, так и для меня эти три дня, проведенные вместе с родными мне людьми, стали оазисом среди долгих семи лет мучительных скитаний по пустыне, именуемой ГУЛАГом.

Либо исходя из условий, в которых я находился, либо потому, что я вообще мало чему верил на свете, но тогда я был не в состоянии понять эту женщину. Но то, что я боготворил ее в душе, стало, по-моему, очевидным для нас обоих. Мы отдались во власть любви, нежности и ласки, но эта страсть была не только плотской, ведь с нами был наш сын. И когда он просыпался, я почти не выпускал его из рук.

Я тогда вообще еле соображал, что у меня на руках мой сын, моя кровь и плоть! Дочь свою к тому времени я еще, к сожалению, не видел.

О, какие это были счастливые для меня минуты! В жизни человека бывают два или три таких мгновения, когда он вполне счастлив; и как ни коротки эти молнии, а от них уже довольно света, чтобы заново полюбить жизнь.

Нас с Валерией откровенно обрадовало и удивило то, что сын сразу признал меня, назвав папой, как будто с рождения я находился с ним рядом. Валерию сначала это даже немного обидело. «Вот так я выращу его, а ты когда-нибудь придешь, и он забудет обо всем и уйдет с тобой», — с грустью глядя на нас обоих, говорила она.

Валерия была откровенно поражена моим видом, и, пока она от души не выплакалась, я не мог с ней разговаривать вообще. Когда же настало время поговорить обо всем серьезно, она объяснила мне, что в Москве ей без проблем оформят развод. Через месяц должен приехать ее жених, а в августе у них должна будет состояться свадьба, после которой они, получив визы на нее и ребенка, вылетят в Берлин.

Слушать все это было грустно. Но тем не менее я был от души рад, что у нее начинает склеиваться когда-то оборванная нить, что мой сын будет жить вдали от этой сумасбродной и беспредельной страны, где его могут запросто спрятать за решетку только лишь за то, что он мой сын.

Я был искренне благодарен ей за все, что она для меня сделала. Разве можно было найти критерий, по которому я смог бы оценить ее благородство, доброту и порядочность? Великая любовь не требует вознаграждения: в море великой любви тонет всякое воздаяние. Валерия на всякий случай оставила мне адрес своей самой близкой школьной подруги, через которую я мог бы

иметь некоторую информацию о своем сыне в будущем.

— Когда он вырастет, — обещала она мне, — я обязательно расскажу ему о том, что у него есть красивая сестренка. И будь уверен, Заур, он ее найдет. Я тебе это обещаю, да ты и сам должен о многом догадываться, ведь это твой сын.

Я понял тогда (и, к сожалению, мои познания на этот счет ограничиваются лишь одной этой женщиной), что высшее счастье в жизни — это уверенность в том, что вас любят, любят ради вас самих, вернее сказать — любят даже иногда вопреки вам.

Последние часы пребывания в этом лагерном эдеме были грустными, а часы ожидания мучительными для нас обоих, но и сын, чувствуя приближающуюся разлуку с только что обретенным отцом, начинал проявлять признаки детской истерики. Возникло такое ощущение, что мы как будто бы прощались навсегда. И никто из нас троих не мог даже и предположить тогда, что ровно через 15 лет мы встретимся вновь после стольких лет, проведенных в разлуке, но уже не в комнате свиданий северного острога Коми АССР, а в свободной Германии, в картинной галерее города Дрездена.

Но эти 15 лет всем нам нужно было еще прожить…

Глава 2
Как Арон «в непонятное» попал

Прошел ровно год с тех пор, как я был на свидании и виделся с сыном и Валерией. За это время еще дважды меня водворяли в БУР, почти не давая возможности находиться на зоне. Из писем Харитона я уже знал, что Валерия, миновав все препоны, которые неминуемо возникали в идеологической и бюрократической системе СССР, если они были связаны с таким щекотливым мероприятием, как выезд за границу, вскоре после свадьбы вылетела с маленьким Зауром в Германию. Мама тоже сообщала о новостях, связанных с детьми, а больше, кроме, конечно, здоровья ее и отца, меня ничего не интересовало.

Знал я уже и то, где находились мои друзья. Артура вывезли в Архангельскую область, а Слепой был на Синдоре — это Коми АССР. Что же касалось Женьки, то он был на особом режиме на Чиньяворике, и эта зона тоже была в Коми. Приходили иногда известия и от Француза, у него тоже было все относительно нормально, не считая тех же водворений в БУР.

До свободы мне оставалось около двух месяцев, и поэтому меня выпустили на биржу: как беглец я уже не представлял для администрации лагеря никакой опасности. Я уже давно соскучился по «вольным просторам», а тюремную биржу, безо всякого преувеличения, можно считать таковой. Здесь было где развернуться.

Я уже упоминал, что на многие километры ни запретной зоны, ни заборов, ни колючей проволоки между зонами здесь не было, зато было где тусануться. В какой-то степени это обстоятельство во многом сопутствовало восстановлению нервной системы тех, кому годами приходилось в буквальном смысле гнить в камерах и казематах ГУЛАГа.

Я практически ни в чем не нуждался, но тем не менее играл в карты почти круглые сутки, посменно, в одно и то же время, когда выходила на биржу моя девятнадцатая бригада ширпотреба.

В одном голенище сапог у меня лежали завернутые в марочку пленочные стиры, в другом в начке — наличные. Карты были моим оружием против всех врагов, которые меня окружали, — скуки, напрасных воспоминаний, думок о свободе и о многом другом.

Однажды, примерно за месяц до моего освобождения, ко мне на бирже подошел один хорошо знакомый мне арестант, звали

его Ароном, и он был, естественно, евреем. С ним приключилась неприятная история, даже можно сказать — беда, последствия которой, с точки зрения порядочного человека, могли бы быть непредсказуемыми.

В принципе подобного рода истории на северных командировках были в то время, к сожалению, не такой уж и редкостью, но чтобы они происходили с евреями, я не слышал ни разу…

Арон был достаточно преуспевающим лагерным спекулянтом. У него всегда находились предметы первой лагерной необходимости, кроме, конечно, наркотиков — ими заведовали лагерные барыги.

Весь бизнес в лагере среди людей подобного рода всегда был распределен, но не ими самими, конечно, а ворами. Другой вопрос — кому что претило, а кому что нравилось продавать — оставался за самими спекулянтами. Здесь никто никого и ни в чем не неволил.

Думаю, что любой человек, живущий в нашей стране и достигший определенного возраста, знает: как в преступном мире, так и в мире бизнеса (что в некоторых аспектах в какой-то степени можно смело отождествить) есть люди, которые преуспевающего в делах человека стараются при возможности либо обобрать до нитки, либо, если он играет, обыграть до копейки. Главный вопрос для таких комбинаторов всегда один: как осуществить задуманное? Тем более если потенциальная жертва — еврей? Но в лагерях того времени содержались порой такие крученые типы, которые умудрялись идти на такие изощренные методы, что, я уверен, встань Карл Маркс из могилы, они бы и его укатали написать вместо «Капитала» что-нибудь наподобие «Архипелага ГУЛАГ».

В общем, в чай, которым «от души» угостили Арона, эти негодяи подсыпали какого-то порошка, изготовленного на заказ лагерным алхимиком. Бывала и такая гадость, после которой он уже не мог бы управлять собой, ну а тут его ждала всего лишь «курочка ряба» — маленький общачок в «очко» из трех человек, куда затянуть его было делом нескольких минут.

После этих процедур, как бы между прочим, один из бригады этих сволочей пригласил нескольких «некрасовских» мужиков, обычно далеких от игры и с незапятнанной лагерной репутацией, чтобы они впоследствии подтвердили правдивость слов этих мразей, когда те будут предъявлять счет ничего не помнящей жертве их подлых происков.

Сами же мужики, конечно, ни о каком подвохе и не подозревали, такие люди были обычно слишком далеки от

подобных мыслей.

Через несколько часов, после того как Арон сел играть, он уже спал мертвым сном здесь же, на шконке, на которой шла баталия, а эти нечисти делили между собой кругленькую сумму, которую сумели выудить у незадачливого игрока.

Последним днем расплаты было назначено 1 октября, а 4-го Арон освобождался, то есть освобождался он со мной в один день. Вот это обстоятельство и натолкнуло его на мысль обратиться за помощью именно ко мне.

На свободе, как он утверждал, а мне приходилось ему верить на слово, у него имелись некоторые сбережения, но не было верного человека для их доставки, да и времени на эту доставку почти не оставалось, — Арон был из Питера, а путь туда и обратно неблизок.

Те, кто обыграл Арона, были людьми чрезвычайно далекими от воровской среды как в лагере, так и на воле, ибо человек порядочный никогда бы не позволил себе того, что проделали эти мерзавцы по отношению к Арону, но это обстоятельство дела не меняло.

Карточный долг явился очень серьезным элементом лагерной жизни, поэтому лагерный закон чести конкретизировал его и гласил: с кем бы ты ни сел играть, даже если ты и не знал загодя партнера, но раз уж сел да еще и проиграл ему, ты обязан сначала уплатить долг и лишь потом разбираться по всем правилам лагерной жизни.

Так что у Арона был долг и его надо было выплатить, все остальное было в тот момент неважно. Расчет у «обыгравших» его и здесь был точен. Вздумай Арон поднять кипиш по этому поводу, у него для этого не будет времени, ибо со дня расплаты до дня освобождения останется всего несколько дней, а такие мрази могут эти дни провести и в изоляторе за какое-нибудь мелкое нарушение режима. Например, нечаянно выронить из рукава бушлата перед кем-нибудь из администрации стиры или еще какой-нибудь номер выкинуть, да мало ли что? Такова, к сожалению, лагерная действительность, и некуда было от нее деться, разве что выйти на свободу.

Вариантов уплаты долга, приемлемых для порядочного человека, всегда было два. Уплатить этот самый долг не мудрствуя лукаво либо отыграть проигранное. Имелась и еще одна немаловажная загвоздка. По окончании игры, когда Арон уже спал, его «проигрыш» эти дельцы поделили между собой, то есть долг его был в разных руках, а это во многом усложняло задачу тому, кто попытался бы отыграть этот долг.

Все это, не считая, конечно, моих соображений, Арон и

рассказал мне у нас в кацебурке в присутствии моих корешей. А нас на тот момент в зоне оставалось трое: Мишаня Коржик, Игорь Скворец и я. Гусик к тому времени уже освободился.

Посоветовавшись, мы решили помочь Арону. Вообще-то, я и так ему симпатизировал. Он был добрым малым и всегда понимал чужое горе и боль, а это в тех тяжелых условиях не так уж и мало, учитывая, впрочем, и то, что сам этот человек, можно сказать, ни в чем не нуждался. К тому же, как и большинство представителей его древней нации, Арон был смекалист и умен.

Достаточно вспомнить один случай. Однажды, еще в то время, когда меня не выпускали на биржу и я целыми днями только и делал, что играл в карты, шел затяжной процесс — играли в «рамса», и довольно-таки долго, что-то около месяца. Вся «курочка» разместилась в бараке, где жил Арон, мало того, для нее были задействованы два прохода, в одном из которых он спал. Периодически, по ходу процесса, шнырь заваривал нам чифирь, мы откладывали стиры в сторону, чифирбак пускался по кругу, а утолив необходимость в этом допинге, мы продолжали игру.

Как-то сосед Арона, который тоже принимал участие в игре, решил чуть подсластиться, открыл тумбочку, а там у него конфет не оказалось. Зато прямо на виду лежал большой пакет с конфетами, но они были не его, а Арона. С общего согласия сосед Арона взял несколько штук, раздал каждому по одной, а потом завязал пакет, и мы продолжили игру. В этом поступке не было ничего предосудительного.

Когда бригада, в которой числился Арон, пришла с работы, мы, увлекшись игрой, забыли сказать ему, что взяли у него несколько конфет. Хоть это и был всего лишь элементарный долг вежливости, но все же порядочные люди должны были его соблюсти.

Умывшись и приведя себя в порядок, Арон хотел было взять что-то из тумбочки, когда не преминул заметить, что в его пакет лазили какие-то крысятники.

— Да ты чего, сдурел, — сказал ему его сосед, — это же мы ныряли!

— А, ну не обессудьте, бродяги, — ответил Арон, — я уж подумал, крыса какая в бараке объявилась.

— Ладно уж, с крысятниками, — продолжал его сосед диалог, — как ты понял, что кто-то в твоем пакете рылся, ведь я взял всего пять конфет и завязал его точно так же, как и было.

— А мне без разницы, — отвечал Арон, — если в мой пакет кто нырнет, то я буду об этом знать наверняка.

Сказав это, он взял что хотел из тумбочки и ушел куда-то.

На следующий день мы вспомнили о словах Арона и решили проверить их правдивость. Мы развязали кулек, ничего оттуда не взяли и, завязав, вновь оставили все так, как и было.

Придя с работы, Арон сказал, что опять кто-то залезал в его пакет. Мы еще несколько дней проделывали разные вариации с развязыванием пакета, и каждый раз Арон угадывал, что тот был развязан.

Когда же в последний день мы его даже не тронули, опять увлекшись игрой, он, придя с работы, не преминул это отметить.

Каждый из нас в разной мере был удивлен такой изобретательностью, но было не до нее: шла серьезная игра, и только я один не забыл о способностях Арона.

Я вообще всегда симпатизировал евреям. Я вырос с ними на улице, одни из лучших моих друзей в жизни были евреи. Арон знал об этом, я ему иногда рассказывал о наших дагестанских евреях — татах. Поэтому, когда я спросил у него, как он угадывал, развязывали или нет кулек, он ответил:

— Просто я ловил и бросал в пакет живую муху.

Вот каким он был когда-то юмористом-затейником, таким и остался на долгие годы, когда мы виделись с ним, если я иногда наезжал по делам в Питер.

Как читатель, наверное, уже догадался, мы отмазали Арона от его неприятностей, не взяв с него за это никакой мзды, благо нам это не составило особого труда, ибо оба моих друга были такими же игровыми, как и я, так что его честь и репутация не пострадали. И он спокойно освободился в один день со мной.

Глава 3
Освобождение. Долг платежом красен

Встречать меня приехал Харитон со своей подругой, вместе и доехали до Москвы безо всяких приключений. Здесь мы проводили Арона до Ленинградского вокзала. При расставании он даже прослезился.

Евреи вообще сентиментальный народ. Их так мало благодарят в жизни, когда они заслуживают это по праву, в основном завидуя им, что они на малейший благородный жест человека отвечают ему во сто крат большим добром, потому что они — евреи. Когда я уже садился назад в такси, он сказал мне: «Заур, бродяга, ни тебя, ни твоих друзей я, конечно, никогда не забуду. В любое время я буду рад встретить вас у себя дома. Хочу, чтобы ты был уверен в том, что Арон добро не забывает никогда!» На этом мы и расстались.

Забегая немного вперед, мне хотелось бы отметить, что Арон сдержал свое слово. Чуть позже, через пару месяцев он приехал в лагерь и взгрел Коржика со Скворцом чисто по-жигански, не забыв отстегнуть и на общак.

Что же касалось его возможностей и положения в обществе, к которому он принадлежал, то достаточно вспомнить один случай, чтобы все стало ясно и понятно. Однажды после очередного вояжа по странам Балтики мы с подельником и корешем моим Лимпусом возвращались домой, в Махачкалу, но по дороге решили заехать в Питер, повидать старых друзей, да и босоту. Накануне дня отъезда Лимпус как бы невзначай напомнил мне о «бедном еврее», о котором я ему не раз рассказывал, и мы решили заехать к Арону.

Тогда еще не догадываясь зачем, вижу, Лимпус взял с собой золотую цепь в мизинец толщиной и в метр восемьдесят длиной, которую мы отработали у одного финна буквально неделю назад. Так вот, приехали мы к Арону, сидим в шикарной гостиной, коктейль потягиваем, нас обслуживают две длинноногие фурии, все уже слегка подшофе.

Лимпус и выдает Арону вроде как бы между прочим, спонтанно, даже не посоветовавшись со мной:

— А что, Арон, не мог бы ты вот эту цепурашку спихнуть? — и выволакивает из кармана полукилограммовую золотую цепь.

— Эх, Абдул, бродяга, — отвечает ему Арон, — видать, мало тебе твой кореш Золоторучка обо мне рассказывал, раз ты так меня обижаешь. Ты видел, наверное, в порту крейсер «Аврора» на

приколе стоит?

— Да, конечно, — отвечает Лимпус, — кто ж его не видел?

— Так вот, бродяга, если бы на него покупатель нашелся, я бы и его продал.

Я не могу даже словами передать, как я смеялся до слез над их диалогом. И потом еще долго тараканил Лимпуса, но в тот день он, конечно, на Арона не обиделся, да и молод он был еще, хотя уже многое начинал понимать в жизни.

Но все это было позже, а пока, простившись с Ароном на Ленинградском вокзале, мы сели в такси и, рассекая жидкую уличную грязь, понеслись по златоглавой, которая в этот час была залита морем неоновых огней и проливным дождем. Он барабанил по капоту и крыше машины так, что «дворники» не успевали сбивать его стремительные струи. Из-за запотевших стекол почти ничего не было видно. Я молча наблюдал незатейливые узоры на лобовом стекле, которые струи воды оставляли после очередного взмаха щетки. На заднем сиденье Харитон вполголоса разговаривал со своей подругой, но я догадывался, о чем они говорят.

— Харитоша, — попросил я его, — давай сначала домой к деду заедем, пусть он меня увидит, фотографии оставлю, а там можно будет и сбрызнуть событие.

— Добро, Заур, давай так и сделаем, — согласился Харитон, и мы свернули с Бульварного кольца на Новый Арбат и через 15–20 минут оказались у подъезда дома, где жил мой дед. Я знал, что от матери он получил строгий наказ: как только я появлюсь, тут же сообщить ей по телефону, поэтому я и показался ему в первую очередь. Оставив фотографии и пообещав старику, что скоро вернусь, я, как обычно, укатил в ночь с корешами.

Отмечали мы мое освобождение втроем по-уютному тихо — в «Арагви». Как много могли рассказать стены этого кабака о наших корешах и достойных подругах, которых не было теперь с нами по разным причинам: кто-то гнил в заключении, а кто-то помер уже… Думать о грустном не хотелось, но за тех, кого с нами нет, мы выпили дважды, как и положено у босоты.

Просидели мы в «Арагви» до самого закрытия, а затем разъехались по домам. Ночью я разговаривал с матерью по телефону и дал ей слово, что через сутки уже буду в пути.

На следующий день я заехал к Ларисе, подруге Валерии, узнал все, что касалось моего сына, повидался с некоторыми босяками, к которым у меня были поручения и послания из лагерей. Остаток вечера мы провели с Харитоном вдвоем, а на следующий день он вновь проводил меня в дорогу, но теперь уже домой, в Дагестан.

Глава 4
Домой!

Через несколько дней поезд Москва — Махачкала безо всяких происшествий прибыл в пункт назначения. С некоторой долей волнения я медленно спускался по лесенке вагона на перрон, где уже издали увидел бегущую мне навстречу старушку мать с распростертыми руками, а через несколько минут я был в ее объятиях.

Мама долго не отпускала меня от себя, как бы боясь, что я могу исчезнуть. И пока не исцеловала все мое лицо, не ощупала меня всего, не успокоилась. Я давно отвык от бурных проявлений радостных чувств, но матери было всегда позволено все, ведь это была мать. Почти последними мы поднимались с перрона по длинной лестнице на привокзальную площадь. Внучку мама оставила дома, наказав ей ждать своего отца и быть умницей.

Махачкала, так же как и Москва, встретила меня противным осенним дождем, но он никак не мог испортить наше настроение. Меньше чем через полчаса мы уже были дома. Трудно забыть, а еще труднее передать ту встречу с моей шестилетней дочерью! Точно помню, как я здорово переживал, не забыв, конечно, и о предыдущей встрече с сыном.

Но в тот раз все для меня стало абсолютно неожиданным, и мне некогда было даже почувствовать какую бы то ни было неловкость, тогда как сейчас меня ждала уже относительно взрослая дочь, которая знала наверняка, что у нее где-то есть отец и он скоро должен к ней приехать.

Хотя она еще и не могла представить себе до конца, что же он собой представляет, какой он, но мать тут же пришла нам обоим на выручку, и все сразу стало на свои места, да так, что мне показалось, будто я и вовсе не покидал отчего дома.

Дочь моя была воплощением самой детской невозмутимости. Когда мы с мамой уже вошли в квартиру, я успел заметить, как дверь в спальню за кем-то быстро закрылась. Нетрудно было догадаться, за кем. Чтобы дойти до этих самых дверей, мне потребовалось несколько шагов, но чтобы открыть их — несколько минут. Когда же я все-таки решился и открыл двери, то предо мною предстал ангел в виде ребенка — это была моя маленькая Сабина. Два огромных и синих, как небо, банта украшали ее хорошенькую головку, в ушах матово светились жемчужные бусинки. На ней было изумительной красоты бальное платьице фиолетового цвета, а на ногах лакированные, под цвет

платья, туфельки. Несколько секунд длилась пауза, пока мы смотрели друг на друга, причем она с детской непосредственностью буквально изучала меня, не забыв сначала заглянуть мне в глаза, а затем оглядев с головы до ног. Я замер в ожидании, заметно волнуясь. В какой-то момент неожиданно она бросилась ко мне и молча прижалась к моим ногам. Волнение мое тут же улеглось, я понял, что прошел испытание и сердце ребенка приняло меня. Проглотив комок, подступивший к горлу, я опустился на одно колено, нежно прижал ее к себе и сказал, стараясь, чтобы слова мои звучали обыденно и просто:

— Ну, здравствуй, дочка, здравствуй, красавица моя!

— Папочка, родной, здравствуй, как я долго тебя ждала! Почему ты не приезжал ко мне все это время?

Она обняла меня за шею и крепко-крепко поцеловала в уже успевшую зарасти за несколько дней щеку.

— Ой, какой ты колючий, папа! — рассмеялась она, да так звонко и заразительно, что и я не смог удержаться. Как сказала мне позже мать: «Глядя на вас со стороны, складывалось впечатление, будто вы расстались совсем недавно и вот встретились вновь».

Такой непосредственный, живой климат, мне кажется, могут создать только дети. Через несколько минут Сабина откинула голову назад, как-то по-взрослому серьезно заглянула мне даже не в глаза, а прямо в душу, и спросила:

— Скажи, папа, а ты уже больше никогда не уедешь от нас?

— Никогда, — ответил я не задумываясь. Тогда она вновь обняла меня за шею, прижалась ко мне, и мы еще долго сидели молча в спальне на полу на ковре, а в стороне стояла моя мать и вытирала слезы, но, слава Богу, это были слезы радости, а не печали.

В этот день я был счастлив по-настоящему. К сожалению, в жизни мне нечасто выпадали такие деньки.

За минувшие годы я не раз испытывал превратности судьбы. Она то устремляла меня вверх, то бросала вниз. Я многое познал: напряжение ожесточенной борьбы и радость успеха, обманутые надежды и торжество победы, доверие и подозрительность, вражду и дружбу, добро и зло.

Но в этот день я не хотел ничего анализировать, как привык в годы напряженной жизни в неволе. Не хотел ничего вспоминать и ни о чем и ни о ком думать. Я хотел быть просто самим собой рядом со своей дочерью и старушкой мамой.

Гостей собралось очень много, и праздновали мы день моего освобождения до глубокой ночи. Как знал я из писем матери, да и сейчас она меня уже несколько раз предупредила об этом, Сабина

не понимала, что мама моя ей вовсе не мама, а бабушка. Она называла бабушку мамой, и им обеим это нравилось. Забегая немного вперед, скажу, что бабушку свою моя дочь называла мамой до последнего ее вздоха, и даже когда пришло время и она узнала ту женщину, которая ее родила, она так и не захотела признать ее родной матерью.

Когда Сабине исполнился год, пора было отдавать ее в ясли-сад, но при этом возникли некоторые трудности. Тогда мама, не задумываясь, согласилась на предложение, которое ей недавно сделали. Заключалось оно в том, что матери предлагали должность заведующей и врача одновременно в одном из элитных детских садов города, при этом в случае согласия ей разрешалось без всякой платы иметь рядом с собой свою внучку.

Мне рассказывали соседи, что уже с раннего утра, как в зной, так и в стужу, сначала неся на руках, а потом ведя за руку, шла со своей внучкой моя мать из дому и почти всегда раньше всех стояла на остановке автобуса, чтобы первой успеть на работу.

К сожалению, перо и бумага не смогут и в малой мере выразить ту благодарность, любовь и признание, которые я испытываю к своей покойной матери не только за то, что она подарила мне жизнь, но и за то, что она дала жизнь моей дочери, хоть и не произвела ее на свет!

Когда я освободился, моя бывшая жена жила в другом городе, в 45 километрах от Махачкалы. Подумав немного и кое-что обмозговав, я счел нужным поехать туда и повидаться с ней. При встрече я поблагодарил ее за то, что она оставила дочь моим родителям, а мужа уверил в том, что претензий к нему у меня никаких нет. Если я хотел ей добра и спокойствия, то этот жест был необходим, чтобы они могли спокойно продолжать жить.

После этой нашей встречи я видел эту женщину всего один раз, в 1986 году, то есть спустя пять лет. Когда умерла моя мать, она пришла почтить ее память.

Больше наши пути-дороги не пересекались никогда. Но, видит Бог, я ее ни в чем не виню. Скорее наоборот, она вправе обвинить меня в том, что полюбила, а я не оправдал ее надежд, больше того, я, можно сказать, сгубил ее молодость.

Потихоньку разобравшись со всеми семейными проблемами, а их, слава Богу, было немного, я решил, что пора браться и за «работу», поскольку ресурсы, которыми меня на первое время снабдила босота в Москве и Махачкале, были на исходе.

Я привык добывать себе на жизнь воровством. Но на пути к новым поискам и приключениям меня уже поджидал сюрприз, который милостивая фортуна доставила прямо к порогу моего дома.

Глава 5
Джамиля

Как-то в один из редких солнечных дней, выйдя из дому, а был я уже на свободе около месяца, я увидел молодую и очень привлекательную женщину, сидевшую на скамеечке напротив моего подъезда. Во всем ее облике чувствовались какая-то притягательная сила и уверенность в себе. Она вела себя как-то чертовски непринужденно, явно ждала кого-то, часто поглядывая на соседний дом, и грызла семечки, как бы от скуки. До сих пор не знаю, как и почему именно таким образом, не подготовив даже маленького вступления, я подошел к ней и просто попросил: «Красавица, дай семечек!»

Я не то что уверен, а знаю наверняка — ибо я исповедую ислам, а все мусульмане, как правило, фаталисты, — что все, что бы ни происходило в этом мире, уже задолго до этих событий предопределено Всевышним на небесах. По-другому и быть не может, потому что порой человеку невозможно бывает объяснить некоторые вещи, которые творятся с нами, кроме как Провидением Божьим.

С этих нескольких простых слов у меня и начался бурный роман с замечательной женщиной, прекрасной матерью, а впоследствии и моей будущей женой Джамилей. И те пять лет, которые мы прожили вместе с ней, я по праву могу считать лучшими годами моей жизни.

Она была моложе меня и чуть ниже ростом. Завитки ее блестящих черных волос трепетали вокруг гладкого лба, узкие брови приподнимались к вискам, чуть заметно переламываясь. Алые, как спелый гранат, губы прихотливым изгибом напоминали меткий лук и блестели как влажный коралл, а маленький подбородок говорил о решительности. В умных, широко расставленных глазах цвета, среднего между лазурью неба и нефритовой зеленью моря, светилась откровенность и доброта. На ней было платье цвета слоновой кости, с высокой талией, а из-под него были видны изящные ножки, достойные Дианы-охотницы.

Родители наши знали друг друга с детства. И это обстоятельство во многом сыграло важную роль в моих дальнейших намерениях и действиях, а они, естественно, были серьезны, ибо предложенную ей руку и сердце она приняла, даже не раздумывая.

Если же учесть то, что репутация в городе была у меня как у

отъявленного бандита, а город был маленький, то можно считать, что руководствовалась она в выборе своего решения сердцем, а не головой. И это еще раз подчеркивало ее независимость и индивидуальность.

Не прошло и месяца со дня нашего знакомства, как мы уже стали законными мужем и женой перед Богом и людьми, заехав в городскую мечеть, а затем и в ЗАГС. Свадьбу особо пышной делать не стали. У Джамили тоже была дочь, на два года моложе моей, и это обстоятельство накладывало некоторый отпечаток моральной сдержанности, но все равно свадьба была незабываемая.

Очень часто впоследствии, лежа на нарах разных одиночных камер, я вспоминал тот бархатный период своей жизни и постоянно приходил к одному и тому же выводу. Некоторым людям, наподобие меня, нельзя иметь все, что может пожелать их пусть и самое скромное воображение; они должны быть в постоянном поиске каких-то недостающих звеньев своего счастья. В противном случае, когда судьба предоставляет им блага в полной мере, они начинают, что называется, беситься с жиру и уже не ценят ту милость, которую им оказал Всевышний, — возможно, за прежние страдания, возможно, и за что-то иное, Он один знает об этом.

Имея все или почти все, на что мог в то время претендовать такой человек, как я, да еще и с репутацией вора и тюремщика в придачу, я все же был чем-то недоволен, хотел чего-то еще. Спроси у меня тогда, чего именно, я, наверное, не смог бы ответить вразумительно.

Это трудно сейчас объяснить, а как хотелось бы, чтобы кое-кто меня понял. Боже мой! Как мало знаем мы о жизни в молодые годы, как не ценим ее дары! Какими порой мы бываем слепцами, что не можем разглядеть ни огромное колесо Фортуны, ни злой рок судьбы… А ведь стоит человеку лишь остановиться, задуматься и помолчать — и все понемногу будет проясняться. Но где найти силы отстраниться от дьявольских соблазнов? Где взять мужество отказаться от многого лишнего, что мешает нормально жить?

Видит Бог, я этого не знаю. Наверное, каждому нужно покопаться в себе, и возможно, когда-нибудь, на определенном отрезке жизненного пути, придет то самое озарение, какое приходит иногда людям, уставшим от мук и страданий никчемной жизни.

Через год после нашей свадьбы у нас с Джамилей родилась дочь. Я назвал ее Хадижат, в честь своей бабушки. Это был ангел во плоти, без которого я вообще не понимал, как мог жить

раньше. С того самого момента, когда ее принесли из роддома, и все последующие пять лет моя старшая дочь Сабина опекала свою маленькую сестренку буквально во всем. Это был поистине божественный союз двух сестер.

Судьба была ко мне по-прежнему благосклонна, как бы давая мне еще один шанс одуматься, но ее милостивого лика я не замечал. Я безбожно воровал, участвовал во всех босяцких городских сходняках, ездил с друзьями по лагерям страны, навещая с гревом бродяг. В общем, вел активный воровской образ жизни, который знал с детства, которого придерживался всю жизнь и от которого не собирался отказываться.

В то время для меня уже стал абсолютно очевиден немаловажный аспект воровской жизни: почему в былые времена уркам запрещалось жениться? Нигде я не мог долго задерживаться и находиться, не видя своей жены и детей, но я, конечно, скрывал это в своей душе, никому не показывая. Но, по-моему, это было заметно и невооруженным глазом, просто братва из уважения ко мне делала вид, что ничего не замечает.

Я никогда и никому не давал повода усомниться в моих жиганских помыслах. Но вывод сделал однозначный: семья привязывает бродягу к себе узлом и развязать или порвать этот узел может только тюрьма или смерть. Что же касалось моей жены, то она нянчила детей, любила меня и даже не подозревала, что любовь к ней я делю еще с кем-то и этим «кем-то» была воровская жизнь.

Глава 6
Коллектив сформировался

Почти в одно время со мной освободился мой старый и верный друг Шурик Сомов, или, как его еще кликала босота, Шурик Заика. Он был на семь лет старше меня, да и горюшка хлебнул поболее. За его плечами тогда уже насчитывалось лет двадцать отсиженного срока. Освободился он в тот раз с Севураллага, с зоны особого режима под названием «Азанка».

Шурик был высокого роста, всегда подтянут и строен, как спартанец, который привык большую часть своей жизни спать на камне, хоть и был уже немолодым человеком. Лицо у него было почти всегда серьезным, но симпатичным, волосы густые и короткие, с благородной пепельной сединой. Он был всегда очень вежлив и поразительно предупредителен. Я иногда поражался его умению быть всегда галантным кавалером перед любыми представительницами прекрасного пола. А его заикание только придавало ему некоторый шарм в его речах и нисколько не мешало ему изъясняться с дамами, даже включая самые пикантные подробности. И если бы кому-либо из окружавших его и не знавших ни его «профессии», ни его образа жизни сказали, кто он, я больше чем уверен, они посчитали бы этого человека, если бы он был мужчиной, — завистником, если же она была бы женщиной, — плебейкой.

Как-то гоняя по городу, мы с Заикой неплохо откупились, выудив у незадачливых приезжих с гор пару лопатников, но обрели в их лице похожих на лютых зверей — потерпевших. Чуть поодаль от остановки автобуса они окружили нас, а было их человек пять, не меньше. Что касалось прохожих, то они вообще всегда очень редко вмешиваются в уличные разборки.

Положение было серьезным. Нам с Шуриком ничего иного не оставалось, как встретить их, как и полагалось встречать в таких экстренных случаях «терпил», ибо всю дипломатию, которая должна была немного остудить их пыл и разрядить обстановку, мы уже применили, поэтому у нас были на вздержке ножи, и мы приготовились отражать нападения, если они последуют.

Мы рассчитывали на то, что, какими бы ретивыми ни оказывались «терпилы», — с ворами, а точнее с карманниками, они почти никогда не связывались. Тем более при запале карманники, если, конечно, это были именно они, всегда возвращали украденное, иногда даже извиняясь за происшедшее: тут все зависело от воспитания «крадуна».

В общем, мы замерли на месте в ожидании последующих событий и предоставили возможность им самим решать, как поступить дальше, как вдруг из остановившегося рядом автобуса выпрыгнули двое незнакомых нам молодых парней, не раздумывая, вклинились между потерпевшими и нанесли каждый по удару близстоящему от них человеку. Мгновенно спрятав ножи и не дав опомниться потерпевшим, мы с Заикой тут же кинулись на них, завязалась потасовка, исход которой нетрудно предвидеть. Не ожидавшие такого оборота событий «терпилы» решили ретироваться. Они прекрасно понимали, чем все это может закончиться для них, заметив буквально несколько минут назад зловещий блеск отполированной стали в наших с Шуриком руках.

Так я познакомился с Абдулом Лимпусом, который впоследствии стал мне ближе родного брата, и с его приятелем Махтумом, с которым я также всю оставшуюся жизнь поддерживал приятельские отношения как на свободе, так и в лагере, и который был и остается истинным бродягой.

Лимпус был молодым человеком чуть выше среднего роста. Копна густых черных волос беспорядочно обрамляла его лицо с серыми спокойными глазами, которые лучились светом безмятежного моря. Иногда блеск этих глаз напоминал сверкание стальной рапиры.

Что касается Махтума, то ростом он ниже Лимпуса и примерно одного с ним возраста. Небольшие светло-серые, как у молодого волка, глаза его смотрели не по годам твердо и сурово, а чуть кучерявые волосы были того иссиня-черного цвета, представление о котором может дать разве что вороново крыло.

В тот день Махтум случайно оказался с Лимпусом в том давильнике. Сам он карманником не был, но его воровская профессия была нисколько не ниже, если позволительно будет так выразиться, и ею, кстати, он владел профессионально.

После этого происшествия мы с Заикой пришли к окончательному решению: нам нужен третий партнер, на которого мы могли бы положиться как на самих себя.

Конечно, у нас и до этого было много достойных кандидатур: в таком «воровитом» городе, каким по праву тогда считали Махачкалу, разумеется, было среди кого выбирать, но положиться на них мы не имели права. Они не были проверены делом, по большому счету, а жизнь с ее изнанки мы уже успели немного узнать, так что кое в чем разобраться могли.

Конечно, и Лимпус не был проверен нами в деле. Мало того, мы его вообще не знали, а не в наших правилах подпускать к себе близко человека, если мы не были с ним знакомы хотя бы лет

этак двадцать пять, а Лимпусу в то время исполнилось всего-то 24 года.

Но мы видели блеск в его глазах, когда он кинулся на «терпил», видели, как он вел себя после тех событий, слышали его рассуждения, а они были чисто воровского толка.

Всего этого нам стало достаточно, чтобы понять, казалось бы, простую истину, которую люди порой ищут всю жизнь и, к сожалению, так и не находят: этот человек никогда не бросит в беде и не предаст. И, видит Бог, мы не ошиблись.

С этого времени мы стали воровать втроем и за короткое время поднатаскали Лимпуса так, что он уже почти ни в чем не уступал нам. Да, время было шебутное, это уж точно… Какие только чудеса ловкости рук и импровизации мы не демонстрировали втроем в магазинах, на базарах и в автобусах Махачкалы!

Однажды мы выпасли, как одна еврейка на автобусной остановке возле гостиницы «Дагестан», набив парфюмерный шмель одними сотенными купюрами, спрятала его в лифчик. Дождавшись автобуса, мы вошли вместе с ней и, проехав почти полгорода, все же умудрились довести дело до конца. Когда дама щекотнулась, то чуть не лишилась рассудка, но тем не менее она ни за что не заявила бы на нас в милицию, потому что у нее самой было рыльце в пушку. Обстоятельства вынудили ее сделать это, а нас выдал один негодяй, который в это время находился в автобусе и, кстати, тоже имел непосредственное отношение к преступному миру: за плечами у него был не один десяток отсиженных лет.

Мы, конечно, тогда ни в чем не признались и ничего не вернули легавым, напрочь от всего отказавшись. Но, как бы мы ни скрывали ранее свои способности и свое амплуа, постоянно меняя поле воровской деятельности, этот случай дал ментам повод относиться к нам уже не как к рядовым щипачам. Умудриться вытащить такую огромную косметичку из лифчика, да еще у еврейки, могли разве что иллюзионисты. Но так рассуждает лишь обыватель, менты же ими не были, и, с их точки зрения, это могли сделать лишь высокопрофессиональные карманники, кем нас и считал по праву преступный мир.

В то время в городе урок не было, и не будет их еще целых девять лет, пока к первому из них, Маге Букварю, воры не сделали подход спустя 40 лет после исчезновения последнего дагестанского вора в законе, как привыкли называть урок. Но это обстоятельство не мешало махачкалинской босоте жить между собой в мире и согласии, а главное — строго придерживаться воровских законов. Смею заметить для некоторых скептиков от

преступного мира, что в Махачкале почиталось все воровское, а значит и людское, иногда и поболее, чем в некоторых других регионах страны, где обреталась масса воров.

Я, конечно, имею в виду свободу, в лагере жизнь другая. Но и тут, что касалось понятий чисто лагерных, Дагестан мог дать форы очень многим регионам Страны Советов.

Выводы мои основываются не только на личных многолетних размышлениях, но и на наблюдениях многих других людей, даже никогда в жизни не бывавших не только в Дагестане, но и вообще на Кавказе. Дело тут в том, что Дагестан был всегда неотъемлемой частью России, а значит и все лагеря России принимали нас, представителей его преступного мира, с «распростертыми объятиями». Своих лагерей, кроме туберкулезной зоны — «четверки», которая, кстати, была всесоюзной, в Дагестане не было. Жители же союзных республик, таких как Грузия, Азербайджан, Армения, имели свои лагеря регионального значения, в которых в основном и сидели преступники, нарушившие закон на своей территории. За пределы республик их не вывозили почти никогда, за редкими исключениями: обычно это касалось либо воров, либо высокопоставленных преступников из числа бывших сотрудников собственных министерств и ведомств.

Лишь очутившись в тюрьме, совершив преступление где-нибудь на территории России, арестанты, привыкшие сидеть у себя на родине, попадали в российские лагеря, и лишь тогда некоторые из них начинали понимать, что же это такое — жизнь воровская, если, конечно, они хотели ее понять.

Глава 7
Братья по ненависти

Когда я освободился, то больше всего меня удивило несметное количество людей, желавших поживиться за чужой счет (их называли в городе щипачами). Что они только не вытворяли! Это был какой-то грабеж средь бела дня. Не разбираясь, ни где работяга, а где «бобер», ни где хозяйка, а где «маресса», они лазили целыми толпами и обкрадывали всех подряд.

Я помню, когда я впервые увидел, как одна пожилая женщина положила в трехлитровую пустую стеклянную банку кошелек и лишь потом села в автобус, я призадумался, а чуть позже понял, что как меня, так и тех, кто будет рядом со мной, могут причислить к подобной мрази, а мне бы этого очень не хотелось.

Дело в том, что люди моей «профессии» никогда не обворовывали простых работяг и хозяек — это было ниже достоинства «крадуна», а здесь творится такое, и как это предотвратить? Это был какой-то карманный бум, что ли?

И как бы парадоксально сейчас ни звучали мои слова, но весь этот «карманный хаос» порождали сами менты. Правильнее, наверно, все же будет сказать: отдельные криминальные легавые ублюдки. Были специальные бригады, которые занимались отловом этих самых щипачей, ведь власти не могли игнорировать проблему, которая была слишком уж очевидна.

Но менты отлавливали тех, кто с ними не делился по глупости или еще не умел утащить, чтобы дать. Но и эти люди редко попадали за решетку — их родителям давали возможность откупиться уже следователи, которые тоже хотели жить, и так далее по цепочке. Сумма зависела от того, как далеко зашло уголовное дело.

Каждый, кто хотел тогда украсть, должен был платить легавым мзду либо в виде зарплаты в конце каждого месяца, либо каждый день понемногу — кто как договорится.

В этой связи мне хотелось бы особо подчеркнуть, что по сравнению с шестидесятыми и семидесятыми годами, когда я между отсидками бывал на свободе, органы внутренних дел, как в СССР в общем, так и в Дагестане в частности, еще больше погрязли в коррупции и нечистоплотности.

Как-то в кабаке я встретил старого мента, который когда-то ловил меня, когда я был еще пацаном. Я помнил его в чине майора, начальника уголовного розыска, теперь он был на

пенсии. Я бы его не узнал, если бы он сам меня не окликнул. От души пригласил меня к столу, а сидел он один, и я даже сам не знаю, почему согласился составить ему компанию.

Я никогда не думал, что смогу с этим змеем, которого я когда-то так ненавидел и который в свое время создал мне невероятное количество проблем, просидеть, что называется, в приятной компании несколько часов, да еще избрав для разговора такую щекотливую тему, как «кошки-мышки» или «казаки-разбойники» — то есть воры и менты.

В конце встречи он неожиданно сказал мне, по старой легавой привычке хитро прищурив левый глаз:

— А ведь знаешь, Заур, я давно не отдыхал в такой приятной компании, как сегодня с тобой. Ну, спроси меня, почему?

— И почему же? — спросил я его с нескрываем интересом.

— Потому, что мы с тобой кем были, теми и остались, непримиримыми, но честными врагами — ты вором, а я ментом. А эти ничтожества не только разрушили все, что накапливалось такими же, как я, честными работягами десятилетиями поисков истины и тяжкого труда, но еще и опозорили органы, которым я отдал всю свою жизнь…

Говоря откровенно, я долго не мог забыть эту встречу, сделав соответствующие выводы. Думаю, что единственным оправданием предательства, если, конечно, оно может служить людям, которые клялись когда-то быть честными, принося присягу и целуя знамя, была оскорбительно низкая зарплата. Во всем остальном я отказываюсь их понимать, хоть и сам держал многих из них на привязи как собак, бросая им как кости деньги, которые вынимал из чужих карманов.

Если определять биологически, то их можно было отнести к семейству двуруких млекопитающих, и, следовательно, они выполняли свои естественные функции на высшей ступеньке животного царства. Многие из них и сейчас работают в органах, но уже на высоких должностях и с большими звездами на погонах, надо думать, ведь практика у них была превосходная! Но основная масса, с легким легавокриминальным оттенком, ушла в бизнес, некоторые поумирали своей смертью, другим это помогли сделать.

Были, конечно, среди всего этого легавого сброда и умные, образованные и порядочные мусора. На таких двоих-троих работниках, собственно, и держалось любое отделение милиции или любой отдел.

В основе же всей правоохранительной системы было стукачество, на нем, можно сказать, все и держалось — раскрываемость преступлений, поимка воровских авторитетов и

прочее.

Почти все законники того времени были, в сущности, всего лишь великими пройдохами. Как пауки сидели они в тени, посреди своей хитро сплетенной сети и дожидались неосторожных мошек в образе человеческом. Жизнь в лучшем-то случае — жестокая, бесчеловечная, холодная и безжалостная борьба, и одно из орудий этой борьбы — буква закона. Наиболее презренными представителями всей этой житейской кутерьмы и были законники.

Со временем случайные люди, которые считали, что можно безнаказанно, а главное — необдуманно и без надлежащих навыков выуживать деньги из чужих карманов, бросали это ремесло. Некоторые потому, что успели обжечься на собственном опыте и одуматься, другие потому, что уже сидели за что-то другое. В городе остались почти одни профессионалы, которые все знали друг друга лично не один десяток лет. Их было мало, но зато это были в своем деле мастера высочайшего класса.

Изменили свою тактику и менты. Их тоже стало меньше (я имею в виду специалистов по борьбе с карманными ворами), но зато они тоже стали профессионалами. На протяжении многих лет они отмазывали нас, получая за это хорошие отступные и делясь этим наваром с кем положено.

Как можно было не «работать» и не оттачивать свое мастерство, если бывало, что в садильнике, навострившись на какого-нибудь залетного жирного бобра, у нас на пропуле был мент, а сзади ехала тачка, за рулем которой тоже сидел свой легавый.

По сравнению с недавним прошлым, когда город захлестнул карманный бум, теперь очень редко в милицию поступала заявка о карманной краже. Потому что люди, у которых мы крали, были либо залетными, либо богатыми и умными.

Глава 8
Казус с высокой комиссией

Приехала как-то в Махачкалу какая-то крутая комиссия из Москвы, которая курировала МВД. Они объезжали с контрольными проверками все республики Северного Кавказа, последним в их вояже значился Дагестан. В Махачкале того времени ресторанов, отвечавших требованиям таких искушенных гурманов, которыми по праву можно было считать членов этой комиссии, по большому счету не было вообще. Но самым уютным местом считалась почему-то «Лезгинка». Странным образом, особенно в обеденный перерыв, здесь харчевались все вперемежку. И козырные мусора, и крутые бобры, и крадуны, по большому счету. Вечером к ним прибавлялись игровые, которые целый день проводили на Приморском бульваре, разыгрывая кто деньги, кто машины, а кто и дома, а вечером заходили отогреть душу после холодного душа карточных баталий.

В один из майских дней того фартового года зашел и я со своими корешами в этот кабак, чтобы откушать чего-нибудь вкусного. Уже отобедав, мы по привычке не спеша подошли к выходу и остановились, чтобы попрощаться со своими собратьями, которые тоже в это время находились в ресторане.

В дверях мы вдруг буквально столкнулись с двумя импозантными и с виду бобристыми фраерами, но главным было то, что нам они не были знакомы, а это говорило о том, что можно было совместить приятное с полезным! То есть после вкусного обеда «отработать» этих жирных с виду гусей.

Реакция в таких случаях у кошелечников бывает мгновенной — здесь все до мелочей отшлифовывалось годами совместной работы. Иногда бывало достаточно одного молниеносного взгляда, дабы понять, что хочет партнер или чего делать не стоит. В тот раз возникла ситуация, аналогичная той, которые случались у нас очень часто.

Лимпус, как бы втиснувшись между фраерами, невольно остановился, извиняясь перед ними за такую поспешность и ссылаясь на что-то очень серьезное, вроде того, будто бы ему только что сообщили, что у него родился сын, или у него угоняют машину, или еще что-то, тем самым обращая внимание только на себя и закрывая обзор одному из потенциальных потерпевших.

Заика «поставил» второго фраера, выделывая всякого рода трюки и импровизации и тем самым сбивая фраера с метки.

Мне же оставалось только нырнуть в мгновение ока в скулу к

этому бобру, который сетовал на невоспитанность дикого народа, размахивая обеими руками, и выудить оттуда еще совсем недавно здорово выпиравший лопатник, что я и проделал со всей ловкостью, на которую был способен.

Вся операция заняла у нас не более минуты, а потому и прошла успешно, без сучка без задоринки, так, как мы всегда умели «работать».

Судя по тому, что лопатник был битком набит сто-и пятидесятирублевыми купюрами, мы не ошиблись: бобры действительно были жирными, но, поковырявшись дальше в его содержимом, мы почти сразу поняли и другое — это московские мусора, да еще и очень высокого полета.

Делать было нечего, нужно было заметать следы, но как именно, что для этого предпринять? Ответы на эти вопросы мы решили поискать в дороге, когда уже почти через час мчались в моторе по дороге в Грозный, предупредив заранее каждый своих домашних о том, что, кто бы нас ни спрашивал, мы неделю назад как уехали, а куда — никто не знает. Пусть легавые думают, суммируя показания наших домашних, решили мы, что мы уехали на гастроли еще раньше, чем произошла кража у мусоров.

Это, по крайней мере, лучше, чем то, что было на самом деле. В определенном смысле этот ход конем давал нам шанс выбраться из того щекотливого положения, в которое мы попали. А в том, что оно было слишком щекотливым, у нас не было никаких сомнений. К счастью, мы вовремя смылись и в своих расчетах не ошиблись, хорошо зная структуру работы наших непримиримых врагов.

Вечером мы были уже в Грозном. Таксист нас хорошо знал, поэтому мы наказали ему, чтобы он держал язык за зубами. Таксисты были тогда вообще народ понятливый, не знаю, правда, как сейчас.

Ночью мы вылетели в Москву и, прибыв туда под утро, успели взять обратный билет на послеобеденный рейс. Мы полностью переоделись и выкинули все вещи, что были на нас. В обед того же дня, уже из Москвы, вылетели вновь в Махачкалу и к вечеру были каждый у себя дома, где нас уже ожидали «друзья» из уголовного розыска.

Но мы были готовы к такому повороту событий и даже рассчитывали на них. У нас было время для подготовки к разыгранному позже спектаклю, поэтому каждый из нас представил такую комедию по дороге в милицию, что у легавых не было никаких сомнений в том, что мы действительно в городе некоторое время отсутствовали и только что приехали, ни о чем не подозревая.

Мы прекрасно понимали, что мусора могут опознать по крайней мере двоих из нас, поэтому при выборе одежды в Москве Лимпус и Заика оделись так, как никогда не одевались до этого.

Честно сказать, когда я увидел их выходящими из примерочной, то не мог удержаться от смеха. Лимпус был тогда еще очень молод и горяч, и я своим хохотом чуть не испортил весь предстоящий спектакль. Он отказывался надевать то тряпье, которое для него выбрали, но потом мы с Шуриком все же уговорили его не быть столь щепетильным, объясняя наши действия тем, что мы — профессионалы и всегда должны противопоставлять ментам наш воровской ум.

В итоге мы его убедили, ну а что касалось того, чтобы сыграть роль, то Лимпус был прирожденным артистом, впрочем, таким же, как и мы все.

Тем временем в стане легавых события развивались следующим образом. Нам в какой-то мере повезло с самого начала, потому что москвичи приехали обедать не одни. Пока они заходили в кабак, начальник уголовного розыска ДАССР (не помню, кто занимал тогда этот пост), который приехал вместе с ними, выйдя из машины, давал какие-то указания шоферу. Он стоял к нам спиной, когда мы выходили из кабака, и потому был не просто удивлен, а прямо-таки ошарашен, когда во время трапезы или после нее москвичи обнаружили пропажу гомона.

Конечно, дилетантами в своем деле три высокопоставленных полковника МВД СССР быть не могли, а потому они поняли сразу, что произошла кража, но когда именно это случилось? Стали тут же прокручивать каждый свой шаг, и все сразу стало на свои места. Дело было за малым: кто?

Они почему-то были уверены, что тут же узнают людей, которые столкнулись с ними в дверях кабака, если их им покажут. В этом вопросе у легавых проблем, конечно, возникнуть не могло, поэтому уже через несколько часов по всей Махачкале были произведены суточные аресты тех, кого мусора по тем или иным причинам причисляли к воровской элите преступного мира, зная наверняка, что таковыми являются именно карманники.

Начался естественный мусорской отбор: проверка алиби и прочих обстоятельств, доказывавших виновность или невиновность тех или иных крадунов. Круг подозреваемых понемногу сужался. Когда же подозреваемых осталось только четверо, а это как раз были те люди, у которых не было алиби, и те, кто мог красиво украсть, их показали потерпевшим. Но все менты при этом были заметно разочарованы, ибо подозреваемые и близко не подходили под описание, и легавым ничего не оставалось делать, как отпустить их с миром.

Теперь в плане легавых включалась следующая фаза: поиск тех, кто не попал под общую облаву. Этот процесс тоже прошел очень быстро, не выявив тех, кто был причастен к краже.

Лишь после завершения всех этих этапов добрались наконец и до нас, но нас нигде не было, никто нас не видел, а главное — никто не сдал: мы, по общему мнению, были на «гастролях».

Когда москвичам показали наши фотографии, то они недоумевали. Оказалось, что фотографии, которые хранились в архивах МВД, были сделаны в то время, когда все мы были еще пацанами. Но все же, по их мнению, мы были чем-то похожи на тех, с кем они столкнулись у дверей кабака.

Ментам в засаде у наших домов, как читатель видит, ждать долго не пришлось. Можно сказать, что все то, о чем я написал сейчас, мы знали уже тогда, когда нас везли в легавку. По дороге один несмышленый мусорок стал хвалиться расторопностью и оперативностью сотрудников уголовного розыска. Этот юный трепач стал для нас, что называется, находкой. Теперь мы могли ясно представить себе всю картину и знали наверняка, от чего плясать.

Встретили нас, как и принято было встречать у мусоров в подобных обстоятельствах, с пряниками, но мы знали — кнут ожидает нас впереди, если мы не обыграем легавых. И мы их обыграли, хоть и не миновали кнута.

Сначала, как и было положено, с нами по одному провели «доверительные беседы», каждая из которых сводилась к одному: верни пока по-хорошему!

Безо всяких обиняков в кабинет тут же входили потерпевшие, и что было самым важным и что впоследствии определило дальнейший ход событий — после некоторой нерешительности они все-таки указывали на всех нас.

Затем, также по одному, нам дали «оторваться», да так, что мы кое-как могли держаться на ногах. Лишь потом, когда мы были уже в разных камерах КПЗ, начали проверять наше алиби, и, на удивление ментам, оно оказалось почти безупречным.

Главным же аргументом в нашу пользу были авиабилеты, которые менты обнаружили в наших карманах при аресте. Проверить же достоверность нашего вояжа не представляло никаких трудностей. Это было проверено, и опять все складывалось в нашу пользу. Не могли же мы, по мнению ментов, украсть кошелек в обед, улететь в Москву непонятно откуда (в списках пассажиров в аэропорту Махачкалы наших имен не было)? И зачем на следующий день после обеда возвращаться в Махачкалу? Да и потерпевшие не были до конца уверены в том, что это именно мы.

Слава Богу, что среди всех этих зубров и боровов от уголовного розыска не нашлось именно такого, который смог бы логично оценить все произошедшее, ведь разгадка не стоила и выеденного яйца.

Вот тогда мне и вспомнились слова того мусора в кабаке. Если бы такое случилось лет 10–15 назад, на нас бы уже давно была санкция прокурора, старым мусорам не пришлось бы столько времени ломать голову над этой ерундой, для них она просто не была бы загадкой.

Глава 9
Договор с министром

Но один умный человек среди всей этой легавой шушеры все же нашелся, и, как ни странно, им оказался тогдашний министр внутренних дел Дагестана генерал Полунин. На вторые сутки после описанных событий нас вывели из камер КПЗ, где мы находились, посадили в машину и привезли в здание МВД. Двое незнакомых нам оперативников в штатском сопроводили нас на второй этаж этого старого, холодного и мрачного здания, фундамент которого строили еще пленные немцы, и, введя в огромную приемную, приказали сесть.

За столом в углу вместо секретарши сидел офицер в форме. При нашем появлении он снял трубку и коротко доложил: «Прибыли, товарищ генерал. — Затем, после маленькой паузы, отчеканил: — Слушаюсь!» — встал и приказал нам войти в кабинет, что мы и сделали в некотором замешательстве. Сопровождавшие нас люди остались в приемной, а офицер-секретарь молча отдал честь кому-то, развернулся и вышел.

Мы стояли у дверей огромного кабинета, в таких мне еще не доводилось бывать никогда. Прямо напротив нас из трех огромных окон с желтыми, как лепестки хризантем, занавесками дневной свет и лучи весеннего солнца, будто вырвавшись из плена, буквально ослепляли нас. В середине кабинета стоял огромный длинный стол, и справа в конце этого стола восседал седой старик. По крайней мере мне так сразу показалось. При нашем появлении он встал.

Перед нами предстал офицер, в генеральском мундире, со Звездой Героя Советского Союза на груди и планками других боевых наград. В том, что он бывший фронтовик, у меня не было никаких сомнений. Чуть выше среднего роста, не по годам подтянут и строен. На вид ему можно было дать и шестьдесят, и семьдесят лет. Лицо его имело благородный оттенок страдальца, и мне кажется, что именно эта черта его наружности сразу бросалась в глаза вору и отчасти могла сбить его с метки.

В ментах мы привыкли видеть лишь псов, но никак не благородных гепардов. Он молча подошел к нам и предложил сесть на стулья, расставленные вдоль стены с левой стороны от дверей. Он указал на них жестом, вновь не проронив ни слова, но безо всякого апломба. Затем стал медленно ходить взад и вперед, заложив руки за спину как арестант и изредка поглядывая на нас, но не искоса, как тихушник, а прямо и благородно, как мужчина.

Со стороны могло, наверное, показаться, что он отрабатывает на нас один из методов психического воздействия. Многие ли крадуны могли сказать или похвастаться, что они когда-то были предметом заинтересованности министра МВД, пусть и регионального значения? Но, думаю, это было не так.

Скорее всего, он размышлял над тем, как бы подоходчивее объяснить нам всю сложность создавшейся ситуации. Потому что, когда он начал нам все объяснять, нам сразу стало ясно, что этот человек никогда не имел ничего общего с такими людьми, как мы. Если же говорить точнее, то чиновники такого уровня никогда не опускались до той планки в иерархии МВД, при которой предписывалось ловить и разоблачать воров любых мастей. Для этого в их структуре существовал отдел угро.

На тот момент, к счастью, там не было настоящих сыщиков, с какими я когда-то привык иметь дело. Ведь чутье для сыщика является природным даром, который нигде не приобретается. Сыск представляет собой искусство, целиком построенное на тонком чутье, которому трудно дать точное определение.

Этому искусству вряд ли можно научиться по одним только книгам, и требует оно столько же такта, сколько и ума. Одним словом, сыщиком нужно родиться, так же как и вором. Я не помню дословно речь генерала, да и воспроизводить ее на бумаге, цитируя, нет надобности, — ведь это не речь Цезаря. Главное, думаю, это ее суть, а суть сводилась к следующему.

В данной ситуации уже никого не интересовало, кто украл это злосчастное портмоне — мы или кто-то другой. В большинстве случаев, если даже подтверждения виновности тех или иных крадунов найти не удавалось, легавые не сомневались, что отсутствие состава преступления являлось естественным следствием отсутствия возможности совершить таковое. Напротив, заключали они, нет ни малейшего сомнения в том, что при наличии возможности оное преступление не замедлило бы свершиться. Результатом такого заключения всегда была тюрьма.

Поэтому министр предлагал нам следующий простой выход из создавшейся ситуации, и он был для нас, безусловно, подарком судьбы.

Мы любыми путями находим и возвращаем украденное, а нам за это ничего не будет. Под словом «нам» генерал, естественно, подразумевал всех карманных воров города, ибо в противном случае любой из нас самое большее, на что мог рассчитывать, уйдя от ответственности, так это на то, что сможет сделать ноги, но опять-таки это было временным избавлением от цепких лап уголовного розыска страны. Денег на поимку любого преступника государство тогда не жалело, все это хорошо знали.

Гарантом того, что после возврата лопатника все будет так, как он сказал, служило лишь честное слово генерала, но выбора у нас не было, точнее, выбор всегда есть, но второй вариант нас не устраивал.

Одним из самых важных пунктов нашего договора с министром было то, что он не требовал возврата денег, его интересовали только бумаги, которые там находились. Наше пребывание на этом незабываемом приеме у министра было недолгим, ибо уже через пару часов, после того как нас доставили в его кабинет из камер КПЗ, мы сидели на одной воровской хазе и кубатурили над всем происшедшим.

Решение не заставило себя долго ждать. Для пущей убедительности мы решили подождать до завтра, а затем один из нас, вытянув жребий, должен идти в логово к ментам с гомоном, двое других — ждать его в подъезде дома напротив здания МВД. В соответствии с тем, как станут развиваться события, мы и решили определить наши дальнейшие действия.

На следующий день мы прибыли к обеду на место и расположились в подъезде дома напротив МВД. Стали тянуть жребий, и он выпал на Заику.

На всякий случай попрощавшись, мы с Лимпусом проводили его и стали ждать. Нетрудно догадаться, что время для нас тянулось тогда мучительно медленно, но не прошло и получаса, как кореш наш был с нами рядом, нам же показалось, что прошла целая вечность.

Генерал сдержал свое честное слово, и еще долго нас никто не трогал: ловить, конечно, ловили, хоть и не с поличным, но всегда отпускали, никогда не применяя при поимке допросы с пристрастием. Не знаю, то ли у мусоров была какая-нибудь инструкция на этот счет, то ли еще что, но мне все же кажется, что основную роль здесь сыграла связка «министр — воры». Но не особенно долго мы, а точнее я, пользовались подобными привилегиями.

Как-то в детстве бабушка рассказывала мне, что дед мой имел причуду, приезжая к ней на свидание, садиться в фаэтон, за ним следовало 11 пустых экипажей и лишь в 12-м лежала его трость и шляпа. Но дед мой мог позволять себе и более изобретательные причуды, владея целой улицей мастерских, изготовлявших на одной стороне фаэтоны, а на другой — зеркала.

Что же касалось его внука, то есть меня, то 70 лет спустя я не имел ничего, кроме ловких рук и немалого воровского опыта.

И вот однажды, познакомившись с одной очаровательной дамой, я обнаглел до такой степени, что приехал к ней на

свидание в 12 машинах такси. Думаю, читателю нетрудно догадаться, что в первом я ехал сам, следом шли пустые машины, а в последнем лежала новая, купленная только что в магазине трость и моя фуражка-бакинка. Но и это еще куда бы ни шло, если бы тот вояж я не проделал вокруг маленького бульварчика прямо напротив здания МВД Дагестана.

Деньги на эту дерзкую затею я, конечно, украл с корешами, но каждый использовал их так, как считал нужным.

Разве могли менты после этого случая оставить меня в покое? Коммунистическое законодательство шутить не любило. Быть жестоким считалось в порядке вещей. Беспощадность была исконным свойством судей, а жестокосердие их второй, если не первой натурой. Под словом «судьи» я подразумеваю всю систему правоохранительных органов.

Меня искали целую неделю, а поймав, дали оторваться так, что я почти целый месяц не выходил из дому. Если бы не это обстоятельство, меня бы, безусловно, посадили в тюрьму, это уж точно.

Узнав об этом, я понял, что теперь рано или поздно тюрьмы мне все равно не избежать, и решил отправиться на гастроли. Что произошло, то произошло, решил я, и никогда не сожалел о случившемся. Я просто ожидал очередных превратностей судьбы, сравнивал их с происшествиями, произошедшими со мною ранее, и делал выводы. Но я был уверен в себе, а это было главным.

Не учел я лишь одного. Расплата в этом мире наступает всегда. Есть два генеральных прокурора: один — тот, что стоит у ваших дверей и наказывает за проступки против общества, другой — сама природа. Ей известны все ваши пороки, ускользнувшие от закона.

Все наши поступки оставляют на нашем прошлом след — то мрачный, то светлый. Наши шаги на жизненном пути похожи на продвижение пресмыкающегося по песку и проводят борозду. Увы, многие поливают эту борозду слезами…

Кореша мои Лимпус и Заика, конечно, тоже поехали со мной. Мы вообще почти никогда не расставались друг с другом. Но что характерно и, можно сказать, даже парадоксально с воровской точки зрения, так это то, что у каждого из нас была красавица жена, которую каждый из нас, я это знаю точно, любил больше жизни.

Первым городом, который должен был распахнуть нам свои объятия, стала, как нетрудно догадаться, Москва!

Глава 10
И у белой смерти черное лицо…

В одном из хадисов Корана сказано: «Ты не узнаешь добра, если не узнаешь зла». Из одной противоположности проистекает другая. И это очень мудрое изречение, как и все то, что сказано в Священном Писании мусульман.

Я не зря вспомнил о нем, потому что в жизни своей видел почти одно только зло, потому, видно, что в большинстве случаев сам являлся его творцом, и вот теперь, лишь спустя долгие годы, понял и осознал многие ошибки своей жизни. А осознав, почувствовал такое облегчение на душе, какое, наверное, чувствует человек, сердцем прибегший к Богу и начавший ему молиться.

Спустя четверть века после тех событий, которые я собираюсь описать в этой главе, я пришел к выводу и могу смело уверить любого скептика в том, что не воровство и бродяжничество, не азартные игры и любовные забавы были нашими главными врагами в период того шебутного времени — ими были наркотики.

Я полагаю вполне допустимо немного уклониться от основного сюжета, если достоверные и малоизвестные факты внесут в эту повесть оправдывающее разнообразие. Тем более уверен, что это отступление будет небезынтересным, особенно для подрастающего поколения, которое старается, подражая страшной моде, захлестнувшей молодежь, баловаться наркотиками.

Говорят, что человек, много испытавший, приобретший потрясающий жизненный опыт и умолчавший о нем, похож на скупца, который, завернув драгоценности в плащ, закапывает их в пустыне, когда холодная рука смерти уже касается его головы.

Из всего сказанного читателю, я думаю, будет нетрудно догадаться и понять впоследствии, прочитав эту книгу до конца, что послужило мне поводом коснуться именно этой страшной общественной проблемы, которая, как некое чудовище, пожирает молодежь и которая зовется наркоманией. Поведать и тем самым помочь.

Думаю, главным является то, что я знаю (как знают и тысячи тех, кто много лет употреблял наркотики, но потом покончил с этим злом) о том, что никто — ни родители, ни общество, ни врачи, ни тем более милиция — не сможет решить эту проблему. Не сможет решить даже частично, потому что сытый голодного не

разумеет.

Понять наркомана в полной мере и помочь ему по силе возможности сможет лишь тот, кто сам прошел через весь этот кошмар и в конечном счете, найдя в себе силы, порвал с этим адским прошлым.

Но в первую очередь, конечно, человек, который хочет бросить наркотики, сам должен прийти к этому, его мозги должны быть постоянно сконцентрированы на этом желании, иначе все труды напрасны.

Хочу надеяться на то, что, прочитав эту книгу, молодежь сможет понять очень многое и сделать соответствующие выводы. Думаю также, что смогу хотя бы малой толикой помочь молодым пацанам и девчатам бросить эту пагубную и без преувеличения смертельную привычку, ибо, наверное, все круги ада, которые люди создали на земле, я, как мне кажется, прошел, и кому, как не мне, знать проблемы, которые будоражат общество: наркомания, беззаконие, произвол, воровство, разврат.

Но, как известно, прежде чем лечить болезнь, нужно знать ее историю. Поэтому мне бы хотелось вновь отвлечься от главной темы, чтобы поведать читателю, как все это начиналось, как эта язва — наркомания — вообще появилась в нашем обществе. И начать мне бы хотелось высказыванием мудрого султана Саладина, сделанным более тысячи лет назад об опии, ибо опий и есть прародитель почти всех наркотических препаратов (кроме кокаина, конечно, потому что листья коки, из которых его добывают, растут на карликовых деревьях в Колумбии). «Опий — один из тех даров, — сказал он, — что Аллах послал на землю на благо людям, хотя их слабость и порочность подчас превращала его в проклятие. Он обладает такой же силой, как и вино назаретян, смежая вежды бессонных ночей и снимая тяжесть со стесненной груди; но если это вещество применяют для удовлетворения прихоти и страсти к наслаждению, оно терзает нервы, разрушает здоровье, расслабляет ум и подтачивает жизнь. Не надо бояться, однако, прибегнуть в случае необходимости к его целебным свойствам, ибо мудрый согревается той же самой головней, которой безумец сжигает свой шатер».

Я вырос на старых и грязных улицах Махачкалы, на моих глазах зарождались почти все негативные явления общества, в том числе и наркомания, равно как и наркобизнес. В то далекое послевоенное время наркомания как в преступном мире, так и в обществе в целом была, мягко выражаясь, признаком дурного тона. И человек, употреблявший наркотики, считался изгоем общества, к которому он принадлежал, в том числе и общества преступного.

Группа людей могла воровать, грабить, разбойничать, но если кто-то из них садился на иглу, то уже сам постепенно начинал выходить из сообщества, потому что знал: рано или поздно его попросят покинуть этот круг. Но тогда эта просьба будет уже иного рода — не такой, как обычно.

Лишь немногие могли себе позволить прихоть подобного рода, это взрослые, слишком авторитетные люди, и их, разумеется, были единицы. Но и они особо не афишировали свое пристрастие к наркотикам, справедливо опасаясь общественного мнения преступного мира. Тогда не считаться с ним мог разве что глупец, а эти люди были далеко не глупцами.

Эти неписаные правила распространялись не только на Махачкалу, но и на всю страну в целом, потому что законы преступного мира были всегда и везде едины, а Махачкала это, Москва или Ташкент — не имело никакого значения.

Самое большее, чем могла побаловаться тогда молодежь и что допускалось в среде преступного мира (в свободное от «работы» время, конечно), — это была анаша, или, как ее еще называют, гашиш. Это чистая пыльца конопли, спрессованная над горячим паром, один косяк которой мог дать кайф пятерым, а то и большему количеству людей. А то, что сейчас молодежь называет анашой, то есть марихуаной (листья или стебли конопли), мы вообще выбрасывали и даже не знали, что эту гадость можно как-либо употреблять. Вот как глубоко в недра порока шагнуло сегодня молодое поколение.

В те же времена при желании молодежь могла расслабиться одним-двумя косяками анаши и несколькими бутылками сухого вина вроде ркацители. Пользовались этой расслабухой, конечно, не все и тем более не каждый день. Но это было допустимо. (Я, конечно, имею в виду молодежь преступного мира.)

Более того, милиция при обыске даже не отнимала и не конфисковывала анашу, не говоря уже о том, что не задерживала за ее употребление. Потому что статьи такой в Уголовном кодексе не было. Даже морфий, омнопон или промедол можно было купить почти в любой аптеке по простому рецепту врача.

Так продолжалось до 1974 года, пока не вышел указ о наказании за употребление и хранение наркотиков. Можно с уверенностью говорить, что именно с этого времени и следует отсчитывать начало подъема наркомании — как у нас в Дагестане, так и в целом по стране. Древние говорили: «То и ценно, что недоступно». Это изречение как нельзя лучше выражает то явление, которое к нашему времени приняло такие ужасающие масштабы и формы, что остановить его практически уже никому не под силу.

А началось все с того, что за употребление анаши, равно как и за ее хранение или продажу, стали сажать в тюрьму. Что же касалось морфия, омнопона, промедола и других препаратов группы «А», то их стали давать по красным рецептам, которые выдавались с тщательной проверкой больного и за подписью заведующего отделением.

Эти нововведения государственного аппарата тут же взяли на вооружение барыги, чем, думаю, и объясняется взрыв наркомафии в стране. Вот так один необдуманный указ дилетантов от политики породил страшное горе многих миллионов людей в стране и многие миллионы наркодолларов в карманах негодяев и ничтожеств, которых принято сейчас называть наркобаронами, а по-воровски — просто барыгами.

Постепенно, когда наркомания стала заявлять о себе все громче и громче не только в Дагестане, но и в масштабе всей страны, морфий и вообще все препараты группы «А» с аптечных полок были убраны и спрятаны в сейфах заведующих для выдачи с их личного разрешения. Цены на наркотики группы «А» на черном рынке поднялись неимоверно, и приобрести их мог уже далеко не каждый. Ими были немногие люди из числа преступного мира и те, кто имел большие деньги в бизнесе или власть имущие наркоманы.

И вот основная масса тех, кто употреблял наркотики ранее, не хотел их бросать, но не мог приобрести теперь, не имея достаточных средств, подалась в разные регионы страны, в основном в глухие провинции Украины, кишлаки Средней Азии и во многие другие места в поисках черняшки (опия-сырца) — единственного пока общедоступного и не такого дорогого, как морфий, наркотика.

Но и его продажа ушла в глубокое подполье и была связана с риском лишиться свободы на долгие годы. Закон в этом отношении теперь был строг. Так что цены и на черняшку в этой связи, естественно, поднялись в десятки раз.

И все же до главной беды было еще далековато. Если бы не чехарда с ценами, то никакой проблемы с наркотиками, конечно, не было бы.

Попробую объяснить, в чем тут дело. Когда цены взлетели до потолка, позволить себе колоться, как я только что упоминал, могли немногие. В основном, конечно, наркомания была распространена в преступном мире. Но и здесь не каждый мог себе позволить такую роскошь. В этом плане прерогатива была у карманников и у некоторых домушников, потому что у этой категории воров деньги водились постоянно, а наркотики, как известно, требуют неизменного присутствия средств.

Ведь чтобы сидеть на игле и ни от кого не зависеть, человеку в день необходимо было не менее ста рублей, в те времена немалые деньги.

Так продолжалось до середины восьмидесятых годов. К тому времени барыги, почувствовав колоссальные прибыли от продажи опия, иногда, когда его не хватало в достаточных количествах, умудрялись мешать его с чем попало, нисколько не заботясь о последствиях, а они были ужасны. На моей памяти масса случаев, когда несколько человек, уколовшись, тут же, да еще и в страшных муках, отдали Богу душу.

Тогда и придумали получать морфий кустарным способом, очищая терьяк от всяких примесей. Это был очень трудоемкий процесс: нужно ждать час, а то и больше, чтобы он прошел нормально и получился желаемый продукт. Порой возле домов «алхимиков» выстраивались целые очереди людей либо вереницы из нескольких машин. Ломка уравнивала всех: и бедных, и богатых, и сильных мира сего, и слабых. Никому ни до кого не было никакого дела. Но это в конце процесса. В начале же необходимо было найти черняшку, ангидрид, растворитель (желательно № 646), хлористый кальций и димедрол, который уже тоже стали выдавать в аптеках по рецепту.

В то время многие бросили колоться, справедливо полагая, что слишком много чего в жизни приходится сложить на алтарь кайфа, который к тому же рано или поздно приведет в могилу. Остались, можно сказать, ярые наркоши.

Я полагаю, что это был самый благоприятный момент, для того чтобы покончить в стране с наркоманией, к тому же не вкладывая при этом никаких средств, но увы… К сожалению, вместе с перестроечными реформами к нам в страну хлынул и поток наркотиков из-за рубежа.

К тому же это были в основном героин и кокаин, которые не требовали никакой переработки, да и не нужно было тратить время на поиски всевозможных ингредиентов, что в корне меняло буквально все: минимальный риск уколоться и умереть (исключая травку, передоз, конечно), спалиться ментам во время поисков самого наркотика, ну и еще некоторые технические мелочи. И задача, которая, казалось, должна бы вот-вот быть решена, теперь уже превратилась в настоящий бич для общества.

Так что отъезд наш на гастроли был обусловлен не только проблемой, связанной с легавыми, — проблема с ними была, можно сказать, вечной, тем более что после освобождения мне предписали один год административного надзора.

Это означало, что каждую ночь, с восьми часов вечера и до шести часов утра, я должен был находиться дома и не имел права

никуда отлучиться даже на минуту. Помимо этого ограничения я был обязан отмечаться каждую субботу в ближайшем отделении милиции. В случае, если поднадзорный допускал три нарушения в течение времени, пока на него действовал надзор, его брали под арест и лишали свободы сроком до трех лет.

Немало таких чалилось тогда по лагерям и пересылкам, демографически составляя численную основу рецидивной преступности. Так что мне приходилось исполнять все эти предписания легавых, но только до тех пор, пока мы не покинули Махачкалу и не отправились на гастроли.

Но и надзор оказался меньшим из зол, которое преследовало нас повсюду, где бы мы ни были, а вот то, что касалось наркотиков, было в действительности нашим настоящим горем.

С раннего утра, прежде чем выйти воровать, мы обязательно должны были уколоться, иначе и быть не могло, потому что кумар не давал нам покоя. Доза действовала до обеда, затем процесс приходилось повторять, а для этого нужно было либо ехать домой, либо раскумариваться, пристроившись где-нибудь неподалеку от места работы. Ну а вечером мы уже могли позволить себе настоящий кайф!

Такой расклад дня был не только у нас, но и почти у всех воровских бригад, с которыми мы сталкивались в Златоглавой. А их было множество, и к тому же из разных регионов страны. Что характерно, мы понимали, что наркотики съедают буквально все, что нам посылает наш воровской фарт, но бросить эту пагубную привычку не могли.

Эта неразрывная сцепка с наркотой, скорее всего, объяснялась образом нашей жизни. Бросали же колоться либо те, кому уже ничего не нужно было в этом мире, ибо они его уже покинули, либо те, кого сажали в тюрьму. Так что, даже зная о том, что рано или поздно нас постигнет Божья кара и мы очутимся в тюремной камере, мы и не пытались бросать наркотики, а зачем зря мучиться лишний раз, полагали мы?

Что же касалось смерти, то мы о ней тогда как-то не задумывались. Но при всем при этом уверен, что почти каждый из нас думал о доме, о женах и детях, но такие мысли посещали нас обычно тогда, когда было плохо, когда приходилось кумарить в ожидании курьера. Но стоило лишь принять дозу, как мы вновь забывали все на свете, кроме одного: как бы побольше украсть.

Мало того, я еще и не боялся кощунствовать, вспоминая по памяти и цитируя вслух пророка нашего Мухаммеда (мир ему), который говорил: «Человек, умерший на чужбине, обретает место в раю, равное расстоянию от его родины до места его смерти».

А еще он говорил: «Путешествуйте — и станете богатыми».

Глава 11
«Работа» в аэропортах

Воровали мы в ту пору, можно сказать, всюду, где можно украсть хорошие деньги, но основным местом нашей воровской деятельности были московские аэропорты Внуково и Домодедово. Здесь был обособленный от мегаполиса маленький островок, граждан которого можно разделить на две категории: воры с ментами и потерпевшие.

Почему я отождествляю непримиримых врагов — воров и ментов, справедливо поинтересуется читатель. Но непримиримыми врагами они были лишь в книгах и фильмах блюдолизов, в большинстве же своем и те и другие жили почти всегда дружно, иногда даже и припеваючи, ибо одни платили за свою свободу и кайф, а другие наживались на этом, с позволения сказать, бизнесе, почти ничего не делая.

Аэропорты Москвы, естественно, не были исключением из общих правил, скорее наоборот, здесь эти правила и зарождались (кому и сколько нужно дать, у кого и сколько нужно взять), вдали от кабинетов Петровки и Кузнецкого Моста.

В каждом из аэропортов действовало по нескольку бригад карманников из Баку, Самарканда, Питера, Ростова, Одессы и многих других городов нашей необъятной страны. Почти все мы знали друг друга в лицо, а некоторые из представителей разных воровских бригад названных городов были даже лагерными корешами. Но главным, конечно, было то, с какой стороны знали нас сами менты, то есть можно ли было нам доверять?

Обычно с подобными вопросами легавые обращались к именитой босоте, и те уже давали ту или иную характеристику. Все сведения и добыча подобного рода информации, конечно, шли окольными путями.

Но, честно говоря, на моей памяти не было случая, чтобы на кого-то из запрашиваемых она была отрицательной, потому что вряд ли нашелся бы ширмач, рискнувший красть в бригаде, при таком пристальном внимании воровской общественности, которая не прощала даже мало-мальских проступков, связанных с компрометацией ее рядов. Менты могли ошибаться или допускать какие-либо промахи, мы — никогда.

Кстати, даже между собой этот аргумент всегда ставился легавыми в заслугу ширмачам. Карманники, если они, конечно, были ими по большому счету, всегда считались привилегированной кастой в преступном мире, об этом знали все,

в том числе и менты, конечно, также все и уважали их.

Ловили же мусора тех несмышленышей, которые, не прозондировав почву, лезли в хлебные места, откуда мусора выкачивали свои кровные многолетним, испытанным способом. Иногда нам удавалось кого-то из них спасти от тюрьмы, даже не зная их, иногда нет — уж как кому из них везло в этом плане.

«Работа» в аэропортах осуществлялась посменно, то есть все зависело от того, когда производился тот или иной рейс, так как почти каждый рейс был куплен какой-нибудь из бригад. Здесь тоже все, конечно, зависело от мусоров, кому какой отдать рейс, потому что рейсы были разными. Самыми богатыми, конечно, считались рейсы на Кавказ и с Кавказа, они и стоили у мусоров дороже, но ненамного.

Менты очень редко шкурничали, зная и опасаясь того, что палка всегда бывает о двух концах. Но в общем-то жили все мы дружно и почти без разногласий. Никакой сутолоки между бригадами ширмачей во время «работы» никогда не было, потому что бригады редко сталкивались друг с другом.

Обычно в нужное время, примерно за час до отлета самолета, бригада была на месте, где под ее пристальным вниманием проходила регистрация билетов и сама посадка. По ее окончании в условленном месте строго проходняком, один из членов бригады вручал необходимую мзду из только что украденных денег ментам, а затем мы отправлялись уже кто куда, чтобы через определенное время вновь прибыть к очередному рейсу, купленному у ментов. Легавый расклад в концепции «вор — мент» был почти в любых подобного рода местах всех больших городов СССР, где карманник мог поживиться, а мент иметь от этого свою законную долю. Но взаимоотношения между ними проходили особый мусорской контроль, и к ним после проверки допускались, естественно, только избранные. Наше трио входило в это число, кстати, к тому времени это уже был квинтет. Вскоре после нашего приезда в Первопрестольную к нам примкнул и Харитон со своей подругой Леночкой, которая приезжала несколько лет назад вместе с моим корешем встречать меня в зону.

Подобные знаки внимания бродяги не забывают никогда, тем более когда это исходит от милой и очаровательной женщины. Высокая, под стать своему кавалеру, и с изумительной талией. С прекраснейшими, огромными глазами, которым зеленоватый оттенок придавал необыкновенную прозрачность, с маленьким карминовым ротиком, походившим на раскрывшуюся розу, с длинными шелковистыми волосами того приятного серо-пепельного оттенка, который придает лицу свежесть блондинок

вместе с оживленностью брюнеток, — такова была подруга моего кореша Харитона. Она была моложе его лет на десять.

Он познакомился с ней на какой-то вечеринке, а когда пошел провожать домой, то оказалось, что провожать-то ее некуда, она — круглая сирота и росла в детдоме, но чуть позже, окончив училище, переехала в общежитие от шарикоподшипникового завода, но из-за приставаний одного ублюдка из числа комсомольской верхушки ей пришлось оттуда уйти. Точнее сказать, ее выгнали, из-за «аморального поведения в общежитии» — таков был вердикт этих красноперых ничтожеств. Но человеку, умудренному жизненным опытом, увидавшему ее впервые и пообщавшемуся с ней некоторое время, было очевидно, что ей хоть и не хватало образования, но она воспитанная и порядочная от природы женщина.

Харитон привел ее к себе домой, где жил вместе с бабушкой и маленькой сестренкой, которая еще ходила в младшие классы школы, а впоследствии и отомстил тому негодяю комсомольцу, который пытался ее изнасиловать. Кстати, когда Харитон познакомился с ней, она была девственницей, очень его любила и готова была ради него на все.

Иногда, глядя на нее, мне почему-то на память приходил один и тот же случай, как она ругалась с ментами, защищая меня, когда они с Харитоном приехали встречать меня в лагерь. Она была похожа в тот момент на молодую тигрицу, пытавшуюся отбить у гиен своего ослабевшего собрата.

А ведь в тот день она видела меня впервые, но, видно, отзывов моего друга обо мне ей уже было достаточно, для того чтобы любить меня как родного брата.

Преданностью и честностью — этими двумя прекрасными качествами, безусловно относившимися к человеческой добродетели, Бог ее наградил по праву. Впоследствии я не раз убеждался в справедливости этого, так что, в свою очередь, при любой возможности старался сделать ей что-нибудь хорошее и приятное, по мере надобности опекая ее как родную сестру.

Харитон же в моей признательности не нуждался. Он знал, так же как и я или как любой из числа наших близких, что такое воровской долг и как его надо исполнять. Все мы были связаны тогда самыми крепкими узами на земле — узами мужской дружбы, тем более что она была закалена в камерах и лагерях ГУЛАГа.

Жили мы во время «работы» в аэропортах для удобства передвижения в совхозе «Московский», он был рядом со Внуковом, да и до Домодедова ехать было не так далеко, как из самой Москвы.

Лишь Харитон с Леной жили в столице, где у него были старенькая бабушка и маленькая сестренка.

К великому счастью, Харитон с Леной не кололись, хотя мы с Лимпусом и предавались кайфу почти всегда у них на глазах. Что же касалось Шурика, то он был сама корректность и никогда не позволял себе употреблять наркотики в присутствии дамы, кем бы она ему ни доводилась.

Но постоянных нотаций и упреков от Харитона мне все же избегать было трудно. Они оба с Леной были ярыми противниками наркотиков, но близких людей приходилось терпеть.

После смерти Брежнева и восшествия на престол тогдашнего председателя КГБ Андропова почти с каждым днем воровать становилось все сложнее. Но не в плане нашего мастерства, нет, конечно, а из-за постоянных показушных проверок всех хлебных точек Москвы людьми из МУРа и большими чиновниками из МВД. Дело в том, что подобного рода проверки проходили и ранее, но аэропортовские мусора платили тем, кто проверял их, то есть таким же легавым, как и они сами, которые тоже хотели сладко пить и есть. И все было шито белыми нитками и повязано крепкими узлами взаимной коррупции, начиная с самого Щелокова, тогдашнего министра МВД, и кончая рядовым постовым московских улиц.

С приходом же к власти Андропова почти весь аппарат МВД был заменен на новых сотрудников (в основном гэбистов) и всем тем, кто промышлял в аэропортах воровством и мошенничеством, правда ненадолго, все же пришлось покинуть их, пока наверху шла методичная и неторопливая притирка коррупционеров к людям из новой номенклатуры.

В этот период андроповского царствования предпринималось все для того, чтобы слово «законность» приобрело хоть какой-то смысл для вечно доверчивых сограждан. Репрессивная машина государства исполняла надлежащие ей функции — карала преступность, якобы невзирая на личности и места их службы. Так что и нам, от греха подальше, пришлось покинуть насиженное место, где удавалось долгое время неплохо наживаться.

Глава 12
Кражи на железнодорожных вокзалах (маленькие хитрости)

Некоторое время после этих немаловажных для нас событий мы были как бы не у дел, присматриваясь к обстановке, пока не наладили «коны» с вокзальными боссами столицы, но теперь приходилось быть очень осторожными и внимательными, хотя мы, в общем-то, и так почти никогда не расслаблялись.

Самым дорогим из вокзалов по праву считался Курский, потому что он был самым большим, а это обстоятельство в специфике нашей предстоящей работы играло далеко не малую роль. Ну а главная причина его дороговизны заключалась, конечно, в том, что поезда сюда приходили со всех регионов Кавказа. Майданщиками мы не были, поэтому кусок хлеба, доставававшийся им за счет их терпения, артистизма и виртуозности, мы не отнимали, тем более что и здесь, на вокзалах, был тот же расклад, что и в аэропортах.

Все было разграничено и распределено ментами. «Работа» у касс, встреча состава на перроне (в сам состав мы никогда не заходили, это было прерогативой майданщиков), ну и проводы пассажиров с перрона на такси или же в метро.

Что было поразительно (хотя, если подумать как следует, чему удивляться-то?) именно на Курском вокзале тех лет, так это то, что «работу» всех, кто промышлял здесь и платил за это мзду, координировало всего несколько человек. Они к тому же считались в органах МВД образцовыми легавыми и одни из немногих после восшествия Андропова остались работать на своих местах.

Это были поистине легавые — виртуозы коррупции, таланту которых позавидовали бы многие западные дельцы теневого бизнеса. В России в принципе всегда рождались разного рода недюжинные таланты. Так что нашему брату преступнику в этом смысле удивляться никогда не приходилось. Но и наша «работа» заключала в себе иногда некоторую долю чисто воровской изобретательности, хотя назвать ее нашей (потому что мы были карманниками) было бы не совсем верно, ну а заключалась она в следующем.

Когда заканчивалось то время, которое было отведено нам теми, кто следил за порядком, а мы по тем или иным причинам не смогли украсть нужной суммы или вообще не было фарту в этот день, мы спускались на самый нижний этаж вокзала. Полем

нашей воровской деятельности здесь были камеры хранения. Исходя из специфики «работы», к которой мы относились крайне серьезно и аккуратно, всегда точно зная, в какое время на какой путь какой платформы должен был подойти тот или иной майдан. Поэтому задолго до его прихода мы занимали четыре пустые ячейки, держа их до нужного момента закрытыми. Затем, заранее разделившись пополам, перед самым подходом состава, когда уже по радио объявляли о его прибытии, мы открывали ячейки.

После всех этих приготовлений в щель для пятнадцатикопеечной монеты в одну из ячеек бросали квадратный кусочек картонки, оторванный от пачки из-под сигарет «Прима», а ячейку рядом оставляли как есть — такой же открытой. Этот, казалось бы простой, трюк был рассчитан на простую психологию пассажира.

Что же происходило далее? А далее мы, отойдя в сторонку, так чтобы не маячить на глазах и чтобы все видеть, наблюдали следующую картину.

Как только поезд подходил к перрону и останавливался, толпа пассажиров тут же рвалась в камеры хранения сдать свой багаж. Искушенные многолетним опытом (а основная масса пассажиров была «челноками»), они буквально ломились в камеры хранения, но не в те, в которых им приходилось стоять в очереди порой по часу, чтобы сдать свой багаж, а в те, куда, бросив монету, можно было положить и взять багаж без проблем в любое время, не теряя при этом драгоценное время и нервы. Да и обходилось это дешевле, что тоже было для них очень даже немаловажно.

Но здесь, к сожалению, их поджидал сюрприз, приготовленный нами. Подбежав впопыхах к открытой ячейке, бросив монету и набрав код, человек пытался закрыть дверцу, но она, проклятая, не закрывалась, ибо не срабатывал механизм — мешала картонка. Тогда он по инерции, не теряя времени и видя рядом пустую ячейку, моментально впихивал туда свой багаж, даже и не подозревая о том, что видит его в последний раз.

Обрадованные такой «удачей», люди отправлялись, довольные, по своим делам, ни о чем, естественно, не подозревая. Когда ажиотаж, связанный с распределением багажа, спадал и все ячейки были заняты, кроме тех двух, в щели которых нами заранее были брошены кусочки от пачки «Примы», мы спокойно довершали задуманное.

Расчет наш был прост. Человек, впопыхах подбежавший к камере хранения, набрав шифр, опустив монету и видя, что камера не работает, устремляется по инерции к другой — той,

которая пустая. При этом он, как правило, не думает о том, чтобы сбить код, который только что оставил на той камере хранения, которую не смог закрыть, а думает в первую очередь, как бы быстрей положить багаж.

К тому же люди, постоянно передвигающиеся на колесах, как правило, всегда держали в голове один и тот же код: так было легче во всех отношениях. Не надо его записывать, ведь запись можно было и потерять. А если подобное происходило, то приходилось вызывать милицию и работника камер хранения, затем в мелочах рассказывать о содержимом вашего багажа и лишь только тогда, если, конечно, перечисленные вами вещи совпадали с содержимым камеры хранения, вам его возвращали, взяв небольшой штраф.

Посудите сами, кому была охота связываться с подобной процедурой? Да и показывать ментам багаж, учитывая тот режим в стране, когда подобного рода бизнес считался спекуляцией, за которую сажали в тюрьму, было далеко не безопасно — ведь, повторюсь, основная масса пассажиров были «челноками». Так что самый правильный, с точки зрения большинства пассажиров, вариант: запомнить код раз и навсегда как таблицу умножения.

Думаю, читателю нетрудно будет догадаться, что после спада наплыва пассажиров мы спокойно подходили к тем ячейкам, которые были открыты, смотрели на шифр, который забыли уничтожить незадачливые пассажиры, и, набрав его на соседних ячейках и открыв их, безо всяких проблем забирали чужой багаж.

За все то время, которое нам приходилось «работать» подобным образом, я не могу припомнить такого случая, чтобы мы хоть единожды уходили с вокзала с пустыми руками. Так что и волки были сыты и овцы целы.

Как правило, во все времена ни один вор не обходился одними и теми же приемами воровства. И если это был действительно вор, то есть человек, живущий только воровством и не замаравший свои руки ничем иным, то он всегда искал всевозможные подходы к достижению своей цели, оттачивая свое мастерство, постоянно меняя амплуа и импровизируя. Талант незаурядного актера обычно у таких людей был всегда налицо.

Иногда мы покидали столицу и уезжали на гастроли во Львов, Питер, Киев, Ригу, Клайпеду, Брест, но никогда нигде долго не задерживались. Москва всегда притягивала нас к себе как магнит.

Я, к сожалению, не знал тогда, что если судьба и бывает к кому-то дружественной, то только для того, чтобы потом по-свойски его обмануть. Она всегда возносит лишь затем, чтобы больней было падение. Впрочем, веселиться от удачи — лишь

одно из человеческих заблуждений, которым нет числа.

В то бархатное время, без сомнения, я был баловнем фортуны, но не пасынком судьбы. Изредка мы втроем бывали дома, в Махачкале, но никогда подолгу не задерживались там, ибо дома меня ждала неминуемая тюрьма. Я знал это и старался видеться со своей женой в Москве.

Я посылал ей деньги на дорогу и всегда встречал в аэропорту. Проведя некоторое время вместе, я провожал ее той же дорогой, что и встречал. Но, уезжая, она всегда покупала какой-нибудь гостинец детям, родителям или кому-то из близких.

Таким образом, потихоньку, сама того не замечая и не желая, она тоже превращалась в «челнока».

Я не препятствовал этому. Во-первых, потому, что мы таким образом чаще виделись, а во-вторых, в то время если люди хотели еще как-то жить, а не существовать на мизерную зарплату, то пытались заняться подобного рода бизнесом, ну не все, конечно, а те, у кого это получалось.

У моей жены, по ее мнению, это вроде стало получаться, но это было ее личное мнение. К сожалению, спустя много лет она поймет, что этот бизнес не был ее стихией.

Конечно, людям в некоторой степени приходилось рисковать, но риск почти всегда был оправданным, если, конечно, тот, кто рисковал таким образом, старался только для себя и своей семьи, не пускаясь во всякого рода авантюры.

Был еще один момент, и, наверное, самый главный, почему я закрывал глаза на ее коммерческую деятельность. Прекрасно понимая, каким путем я добываю деньги, ей до того момента, пока она не стала их зарабатывать сама, естественно, приходилось брать их у меня, ибо у нее было трое детей мал мала меньше, хотя родители наши, можно сказать, воспитывали двоих из них, но все же мать есть мать. А Джамиля, будучи в то время моей женой, была не только верной и преданной мне подругой, но еще и прекрасной матерью, и это безо всяких преувеличений. Конечно, когда я ставлю ее на ступень выше кого-то в плане морали, о ее отношении к моей воровской деятельности можно было бы и поспорить какому-нибудь праведнику, но скажите, кто безгрешен в этом мире? Наверно, тот, кто не живет в нем.

Глава 13
Карманник-чистодел по вызову

Однажды февральским вечером 1984 года, отмечая всей бригадой день рождения нашей несравненной Леночки в ресторане «Арагви», мы повстречали одного старого знакомого домушника. Знали мы друг друга еще с тех пор, когда я «работал» вместе с Геной Карандашом и Леней Дипломатом. Из всех, кто присутствовал за столом, он знал только меня и Харитона, но это обстоятельство не помешало нашему в некоторой степени откровенному разговору. Хотя, конечно, по правде говоря, абсолютно откровенным он был лишь только на следующий день, когда мы с Харитоном прикатили к нему на стрелку в Сокольники, которую забил нам Чалый, так кликали того старого домушника.

Предложение, которое нам сделал Чалый, было очень заманчивым — из тех, от которых трудно было отказаться. Нам предлагали «работу» чистодела по вызову.

Что же она в себе заключала, эта «работа»? Ну, во-первых, она могла быть предложена лишь только карманникам с незаурядными воровскими способностями, во-вторых, они должны быть чистыми, как белый лист бумаги, то есть истинными бродягами. Далее следовала сама суть, то есть специфика «работы», которая заключала в себе следующее.

Либо домушникам давали хорошую наколку на хату какого-нибудь жирного бобра, либо бригада домушников, по большому счету, получала серьезный заказ от клиента, который сулил ей огромный куш.

Разницы для меня и моих корешей в этой связи не было никакой. Что же это означало? Ну слово «наколка», думаю, нет смысла трактовать, значение этого слова знает, пожалуй, каждый — это наводка кого-либо на тот или иной объект (квартира, цех, магазин и так далее) с целью совершения в нем какого-либо преступления.

Под словом же «клиент», как правило, всегда подразумевался очень состоятельный и не менее влиятельный власть имущий человек. Ими обычно бывали серьезные коллекционеры, фанатично преданные своему хобби, а главное — те, которые не жалели никаких средств для достижения своих эгоистических целей.

Они узнавали каким-то образом, через свои личные каналы, что у кого-то есть тот или иной раритет, который им хотелось бы

приобрести, но с которым, как правило, никто так запросто не расставался никогда.

Самым печальным моментом для этих ничтожеств было то, что ни административной властью, ни властью денег, которых у них куры не клевали, ни посулами и обещаниями они не могли уговорить расстаться с желаемым того человека, у которого был необходимый им антиквариат.

Вот тогда они и обращались через подставных лиц, конечно, к домушникам. Те же, в свою очередь, понимали, что подобного рода «работа», как и любая другая, — крайне сложная воровская делюга, которая сулит огромные деньги, но должна всегда сводить риск к минимуму. А как домушнику по максимуму обезопасить себя от запала? Вот на этом-то этапе задуманного и вступал в «работу» карманник-чистодел.

С кем-нибудь из членов бригады домушников мы приезжали на явочную квартиру, передо мной включали видеомагнитофон, которые в то время только стали появляться у нас в Союзе, но в преступном мире были, можно сказать, с самого их появления вообще, и я смотрел маленький фильм. Обычно он был с одним и тем же сюжетом: нужный мне клиент выходит из дому, открывает гараж, выезжает из него на своем автомобиле, затем следует до места работы, нигде, как правило, по дороге не останавливаясь, и, приезжая в пункт назначения, ставит машину на стоянку и идет на работу.

Почти всегда тот же самый маневр он проделывает и после рабочего дня. Иногда на экране мелькали съемки какого-нибудь рандеву с любовницей или всякого рода деловые встречи, но это не имело никакого значения для тех, кто занимался этими съемками.

Главным для них после моего просмотра подобного рода сюжетов всегда оставался один и тот же вопрос: смогу ли я вытащить у будущего потерпевшего либо связку ключей от квартиры, либо лопатник, в котором находились желаемые ключи?

Как правило, для окончательного ответа мне необходимо было еще не раз прокручивать пленку, чтобы сказать «да» или «нет».

Думаю, читателю нетрудно будет догадаться, с какими сложностями мне приходилось сталкиваться в этой «работе», чтобы выудить из кармана незадачливого фраера желаемое. Как человек трезвого, ясного ума, я привык дозировать, взвешивать элементы риска, следить за тем, чтобы они не превышали допустимую норму, не превращали возможный риск в безответственную авантюру.

Поэтому я по многу раз прикидывал тот или иной вариант, который бы мог произойти во время «работы», рассчитывал и отмерял то, что для непосвященного человека было дремучим лесом и понять, конечно, было невозможно. И лишь после того как, прокрутив все возможные и невозможные варианты, я был уверен в себе настолько, насколько вообще человек моей «профессии» может быть в себе уверен, я говорил «да».

Для домушников это «да» означало то, что моя часть «работы», девяносто девять из ста ее процентов, должна быть сделана на о'кей, потому что они всегда знали, с каким ширмачом имеют дело.

В день, когда я давал им утвердительный ответ, мне тут же предоставлялась легковая машина, на которой мы со своими коллегами потихоньку, обычно день или два, прощупывали нужного нам фраера, но лишь только прощупывали, ибо сами они (то есть домушники) в это время тщательно отрабатывали план моментального свала с делюги.

Дело в том, что, как правило, люди, к которым они собирались в ближайшее время с визитом, всегда оборудовали свое жилище сигнализацией. А для того чтобы красиво войти в квартиру, взять то, что нужно, сделав в ней маленький погром, чтобы хозяин не сразу догадался, за чем именно приходили воры, прихватить по ходу пьесы еще что-нибудь ценное и успеть при этом скрыться, до того как приедет милиция, нужно было определенное время, рассчитанное по секундам.

Когда сама делюга и рассчитанный до минимума запала свал были отработаны домушниками до мелочей, мне давали добро, и с этого момента, можно сказать, и начиналась основная фаза операции.

С раннего утра, как только нужный нам объект выходил из дома, вся бригада домушников неотлучно находилась на какой-нибудь хазе, на телефоне и с понятным нетерпением ждала нашего звонка до самого вечера, обычно часов до трех. Если до этого времени мы не могли порадовать наших работодателей чем-либо приятным, то я звонил и давал на сегодня отбой. Если же все было нормально и заветные «мальцы» были у нас, я, заблаговременно позвонив, оповещал домушников об удачном на сегодня раскладе. Затем, всегда один, привозил ключи на то место, где меня уже с огромным нетерпением ждали домушники, заранее сообщив о нем по телефону. Это делалось для того, чтобы не терять зря драгоценное время.

Отдав ключи, я уезжал, оставляя им машину, и ждал на заранее оговоренном месте вместе со своими корешами одного из домушников, после завершения ими делюги. На этом наша

миссия карманников была окончена.

Никогда, ни при каких раскладах, ни разу за всю мою воровскую деятельность не было такого случая, чтобы домушники нас в чем-нибудь подвели, тем более если дело касалось воровской доли. Она была всегда свята для воров любых специальностей. Вопрос, какой она должна быть, — уже другой вопрос и обговаривался нами заранее, но, договорившись, повторюсь, всегда был чтим всеми нами.

Залогом успеха в любом серьезном деле всегда служит хорошая конспирация, в целях безопасности и благополучия. Этой старой как мир истиной мы и руководствовались, когда разрабатывали какое-нибудь дело, независимо от того, была ли это чисто воровская делюга на свободе или, например, побег из лагеря. Ко всему прочему, это нужно было еще и во избежание всякого рода эксцессов, связанных с запалами. По принципу: «кого никогда не видел, того никогда и не узнаешь» или «чего не знаешь, того и под любыми пытками сказать не сможешь», у нас и была разработана своя система связи, но мудреной назвать ее трудно. Например, если бригада домушников при разработке какой-либо делюги останавливала свой выбор на мне и вела со мной переговоры, то я знал лишь одного из ее членов. Так же обстояло дело и с нами.

Но карманники к этой конспирации почти всегда относились с некоторой долей иронии, ибо наперед знали, что доказать ширмачу, что украл именно он, у легавых был лишь один способ — поймать его за руку с поличным. А почти каждый из нас считал, что это абсолютно невозможно.

Карманники вообще в то время были сообществом самонадеянных и в высшей степени самоуверенных крадунов. Если же в любой из бригад находилась «жучка», то, будь она хоть семи пядей во лбу, ей крадуны не доверяли вообще, точно так же, как с женщин не могло быть никакого воровского спросу.

Но дамам преступного мира все эти воровские догмы преподносились в столь тонкой и деликатной форме, что подруги наши по жизни воровской, даже иногда и зная правду, никогда на нас не обижались.

Они понимали, что воровской закон един для всех, для любого человека, который живет этой жизнью, а тем более для тех, кто решил посвятить эту самую жизнь воровским идеалам. Но, как ни странно, порой в самых трудных и, казалось бы безвыходных, ситуациях, когда, по мнению любого скептика, украсть в той или иной ситуации было никак невозможно, именно женщина и служила тем отводом, за счет которого и удавалась невозможная покупка.

Посудите сами. Как можно вытащить связку ключей с верхов клифта у фраера или тем более со скулы клифта выудить портмоне, если потерпевший за весь день не бывает в таком месте, где могут собраться хотя бы несколько человек? Вот тогда на помощь и приходил, как правило, незаурядный талант карманника. Но иногда он был ничем, если рядом с ширмачом не находилось в этот момент красивой и умной подельницы, что в природе честных людей встречается крайне редко (я, конечно, имею в виду красоту и ум), но, как бы парадоксально это ни звучало, природа преступного мира иная, и здесь они встречались намного чаще.

Такова, к сожалению, наша жизнь, которая почему-то зачастую тянет в порок именно молодое и прекрасное, но до тех пор, пока оно молодо и прекрасно.

Обычно чуть позже для некогда юных и очаровательных дам всегда наступает прозрение, но, к сожалению, оно приходит всегда с большим опозданием. Когда же фраер щикотился, то, как правило, поведение потерпевшего в подобных обстоятельствах было банальным как вчерашний день.

Психология любого человека в наше время и, как я успел заметить из печального опыта многих лет воровства и во многих странах мира, заключается всегда в том, что человек, независимо оттого, мужчина это или женщина, обязательно ассоциирует кражу кошелька, портмоне или ключей от богатых квартир с толпой людей в магазине, на базаре, в автобусе и так далее.

Это объясняется тем, что люди видят в некоторых фильмах или черпают в подобного рода книгах искаженное представление о том, как орудуют карманные воры на тех же базарах и в тех же автобусах, тем самым даже и не догадываясь о том, что им стараются поведать (правда, не могу понять, с какой целью) о щипачах, но никак не о ширмачах. А это, смею заверить, как я ранее уже упоминал, абсолютно разные категории крадунов.

Натуральный же карманник был человеком абсолютно другого склада ума, нравственных, воровских принципов и, конечно же, методов самого воровства.

Таким образом, теперь уже потенциальный потерпевший, обнаружив пропажу, не мог себе даже и представить, сколько людей, обладающих многими навыками разного рода цирковых и драматических артистов, готовились к тому, чтобы выудить у него из кармана это заветное «нечто». Какой сценарий и какие декорации готовились всегда для подобного рода спектаклей, какие актеры были в них задействованы, сколько было всевозможных аксессуаров!

Но если бы даже у потерпевшего и могли возникнуть хоть

какие-либо подозрения относительно пропажи ключей или чего-то с ними связанного, то мысль о том, что в его квартире на страже сигнализация, всегда действовала почти на любого человека успокаивающе. Пока он звонил (если вообще утруждал себя этим) жене на работу, уговариваясь с ней, кто за кем заедет после рабочего дня, и прочее, в его пенатах уже, как правило, успевали побывать вездесущие домушники.

Но не только с домушниками мне и моим корешам в этой связи приходилось иметь дело. Иногда получал я заказы и от иного рода людей. Но при этом дело почти всегда обстояло куда проще, чем «работа» с домушниками и намного интересней и разнообразней.

Не было никакой спешки, не нужно постоянно чего-то ждать. Здесь же доля наша воровская была почти всегда баснословной и выплачивалась сразу. Главным было мое согласие после просмотра видеокассеты.

Порой даже одни издержки на подготовку самой операции составляли огромные по тем временам суммы.

Это обусловливалось тем, что мне частенько приходилось выезжать за границу, а я, естественно, был не один, со мной была моя бригада. Иногда даже приходилось следовать за объектом из страны в страну, чтобы, найдя подходящий момент, выудить у фраера то, что необходимо заказчику.

Но это происходило много позже того времени, о котором я только что упоминал, приблизительно тогда, когда рухнула печально знаменитая Берлинская стена.

Кстати, забегая немного вперед, надо сказать, что именно во время такого вояжа я вновь, много лет спустя, увидел своего сына и Валерию в Германии.

Таким образом, начиная с 1984 года я почти постоянно стал «работать» по вызову. Люди, с которыми я имел дело и которые по завершении такового были довольны моими результатами, характеризовали меня своим близким знакомым. Как правило, это был всегда один и тот же круг: либо воровская среда, либо среда крупных бизнесменов. И вот мои способности карманника-чистодела стали пользоваться в определенных кругах огромным спросом.

Я жил как хотел; что хотел, то и делал, окунувшись с головой в море кайфа и развлечений. Единственным же ограничением для меня и моих близких, если, конечно, можно было назвать таковыми людей, одержимых воровской идеей, был наш воровской долг.

Глава 14
Беда не приходит в одиночку

Частенько, ведомые им, мы покидали Златоглавую, чтобы отправиться куда-нибудь на север или на восток, в «крытую» тюрьму или полосатую командировку туда, где в невыносимых условиях чалилась шпана.

Летом 1984 года Заике пришлось неожиданно покинуть столицу. У него были кое-какие семейные проблемы, но не связанные с личной жизнью. Кстати, его жена Людмила, которую не только я очень уважал и ценил за качества, обычно не свойственные женщинам (она была скромна и умела хранить тайны), в одно и то же время с моей половиной, в середине 1983 года, родила ему дочь. Только его дочь Валечка была на полмесяца старше моей Хадижки. Мы проводили тогда Шурика, как и положено, в Махачкалу, но назад, к сожалению, он уже не вернулся.

До сих пор не могу понять, что побудило его тогда залезть в карман к одному очень жирному фраеру — жадность, наверно, что может быть еще? Ведь он уехал домой далеко не нищим! Да, в жизни воровской, к сожалению, иногда бывало и такое, когда жадность фраерская была способна на столь подлую каверзу.

В нашей жизни существуют определенные вещи, которые трудно планировать. А чрезмерная уверенность в себе, говорят, ведет к несчастью, поскольку делает нас беспечными. В общем, дали Заике тогда четыре года особого режима и вновь отправили в Севураллаг, на «Азанку», откуда он и освобождался несколько лет назад.

Остались мы тогда вчетвером, но о кореше своем, конечно, всегда помнили и никогда не забывали навещать его в остроге.

Но и в таком составе наша бригада существовала недолго. В самом конце 1984-го, прямо в канун Нового года, после удачно проведенного дела мы всей бригадой возвращались из Таллина. По дороге домой Харитон и узнал новость, которая не только приятно его удивила, но и спасла от многих проблем, которые могли бы возникнуть у него в будущем.

Лена ждала ребенка! Хорошенько все обдумав, мы с Лимпусом посоветовали ему не мочить зря рога, а упасть на некоторое время на дно.

Как читатель, наверное, помнит, у Харитона была старая бабушка да маленькая сестренка, теперь вновь предстояло пополнение, и не дай бог если случится что-нибудь с Харитоном,

ситуация могла оказаться катастрофической.

Исходя из всего этого, мы и уговорили его оставить весь куш, который заработали, у себя (а он был немалым) и спокойно заняться обустройством своей семьи, благо площади хватало всем в избытке. У него была огромная по тем временам четырехкомнатная квартира, оставшаяся ему от покойных родителей.

Новый, 1985 год мы встретили все вместе, а в первых числах января уже присутствовали на бракосочетании Харитона с Леной, я даже был свидетелем в ЗАГСе, а затем, сразу после свадьбы, мы с Лимпусом покинули столицу и укатили на гастроли.

Но прежде чем уехать, решили пойти на маленькую хитрость, такую, за которую впоследствии Леночка благодарила нас всю жизнь.

Прав был тот, кто сказал: «Если вора любит честная женщина, тогда либо она становится воровкой, либо он — честным человеком». Еще с ранних странствий по лагерям и тюрьмам нашей необъятной, будучи малолетками, все мы — и Сова, и Женька, и покойный Цыпа — обратили внимание на набожность нашего Харитоши. При любом раскладе он всегда обращался к Богу, тогда как никто из нас об этом даже и не задумывался. И много позже, когда мы уже были довольно-таки взрослыми людьми, Харитон не изменил своих взглядов. Если где-нибудь в кругу единомышленников кто-либо из присутствующих спрашивал его, как он может верить в Бога и воровать одновременно, тот никогда не отвечал на подобные вопросы, уходил от ответа, лишь искоса поглядывая на любопытного.

Так что я слишком хорошо знал характер и нравы своего кореша, поэтому и решил сыграть на них. Для этого мне пришлось призвать на помощь Леночку, теперь уже супругу Харитона. По моей просьбе она где-то раздобыла Библию и в самый разгар празднества, когда мы поздравляли молодых и были навеселе, я незаметно дал ей знать, и она ее принесла. Я на полном серьезе попросил Харитона поклясться на ней в том, что он будет ждать нас с Лимпусом до тех пор, пока мы не появимся, и что ни в одиночку, ни с кем-то другим он воровать не пойдет.

Спустя годы, когда мы с Лимпусом угасали в камерах или гнили в лагерях и Харитон был готов нарушить данную клятву, рядом неотступно оказывалась его верная подруга — Леночка, которая напоминала ему о святом воровском долге свято чтить данное слово, а тем более клятву, данную другу и Богу.

Вот в связи со всеми этими непредвиденными обстоятельствами мы и остались с Лимпусом вдвоем, но однако никого к себе в напарники не брали. Но не потому, что мы кому-

то не доверяли или что-то в этом роде (в то время было очень много достойных во всех отношениях крадунов, ничем, в сущности, не хуже нас), просто нам никто не был нужен.

Большую часть времени мы проводили в Питере. Когда человек долго живет в таком мегаполисе, как Москва, то в качестве альтернативы на случай атаса он выберет подобный ей город. Вот Питер как раз и оказался тем городом, который был нам нужен, — большой и деловой. Здесь, учитывая специфику нашей работы, скучать не приходилось. Главное — публика была интеллигентной. А с ней работать всегда приятно. Но как бы там ни было, на одном месте мы подолгу не задерживались. Постоянное стремление к чему-то новому, интересному, еще невиданному не давало покоя, и бродяжья душа стремилась в новые дали!

К сожалению для нас обоих, очень скоро мы будем вспоминать об этих своих устремлениях и желаниях, готовясь к самому худшему, к чему может готовиться человек в жизни, — к смерти. Каждый по-своему, в разных камерах смертников и размышляет о конце своего жизненного пути. Но пока мы об этом даже и не подозревали.

Как часто иногда в такие грустные минуты воспоминаний мне хочется повернуть время вспять, чтобы исправить множество ошибок, сделанных мною в годы моей бесшабашной и порою даже никчемной жизни, но увы! Время назад не воротишь…

Однажды мы с Лимпусом получили весточку от босоты, которая находилась в то время в наркотической зоне в Нижнем Тагиле. Братва просила привезти им по возможности черноты. В то время, как я упоминал еще совсем недавно, с ширевом было туговато. Мы сами порой еле перебивались, покупая при каждом удобном случае сразу по нескольку сот граммов «ханки», чтобы потом не мучиться в поисках.

Малява из лагеря застала нас в Ростове. Отсюда было два пути, где бы мы могли без особых хлопот, связанных главным образом с легавыми, достать достаточное количество черняшки: либо отправиться на Украину, либо в Среднюю Азию.

Выбор наш пал тогда на Среднюю Азию, и тому были веские причины, о которых читатель узнает чуть позже. Но путь во все республики Востока, независимо от вида транспорта, лежал через Каспийское море. Поэтому, взяв два билета на утренний рейс поезда Ростов — Баку, мы уже в шесть часов утра следующего дня сходили на перрон Сапунчинского вокзала столицы солнечного Азербайджана, чтобы продолжить отсюда свой путь на самолете, вылетев как можно быстрее в Ташкент.

Но здесь нас ожидали не просто маленькие трудности,

которые всегда и во всех регионах страны были связаны с приобретением авиабилетов, но и огромные проблемы, которые впоследствии, как читатель вскорости убедится, самым негативным образом повлияли на наше будущее.

Это произошло 27 декабря 1985 года. Уже несколько дней мы торчали в бакинском аэропорту в надежде улететь, но все было тщетно. Большие по тем временам деньги, которые мы предлагали кому бы то ни было, не производили ни на кого должного впечатления.

В канун Нового года все хотели вовремя попасть туда, где они стремились его встретить, а в данной ситуации деньги, а точнее будет сказать, их количество не играло на Кавказе особо важной роли.

К тому времени мы находились на грани эмоционального срыва, потому что запас ширева у нас уже был почти на исходе, а вернее сказать, его не было вообще. В гостинице при аэропорте, где нам удалось по случаю пристроиться с большим трудом, потому что она предназначалась только для летного состава, Лимпус, набирая ширево в шприц, нечаянно разлил содержимое целого пузырька на пол, и не куда-нибудь, а на ковровую дорожку, которая лежала на полу в нашем номере.

Положение, в которое мы попали, стало для нас настоящей катастрофой, потому что даже ваткой собрать пролитую жидкость невозможно.

Теперь, вместо того чтобы искать билет на самолет, нам пришлось искать чернь, поскольку без нее нечего даже и думать о каких бы то ни было действиях. Без наркотика мы были просто человеческой оболочкой, не более…

Вот в этот момент нам и попался один негодяй, из тех, что кормятся объедками из мусорских урн и в благодарность за это продают все и всех подряд, лишь бы заслужить милость хозяев. Такой тип гомо сапиенс встречается чаще на северных командировках, нежели на свободе, хотя и здесь их хватает.

И надо же было нам напороться именно на такого гуся лапчатого! Он сам к нам подошел, как будто у нас на лбу в этот момент было написано большими буквами слово «КУМАР». Перекинувшись парой-тройкой слов, мы тут же пришли к общему знаменателю. В такие моменты люди, одержимые одной лишь мыслью: как бы побыстрее уколоться, — теряют и бдительность, и брезгливость, и чувство разумной осторожности, и контроль над собой.

А профессор он или бухтосмазчик — это не имеет никакого значения. Будь ты хоть семи пядей во лбу, наркота не признает никаких альтернатив. Сплошная конкретика — либо укололся,

либо живой труп, одно из двух, если не считать, конечно, того, что третьим может быть перекумарка, но в моменты ломки такая мысль в голову наркоману сама по себе не придет никогда. Взяв такси, мы стали колесить по городу в поисках «ханки». В какие только тупики и закоулки мы не заезжали, объехали почти всю Кубинку, но все тщетно, кругом был голяк.

Тогда эта падаль, видно почувствовав, что мы уже тепленькие, предложил нам последний вариант: взять в больнице морфий в ампулах. Нам не было разницы, морфий это будет или «ханка», главное было вылечиться, поэтому, даже не задумываясь, мы согласились. На улице уже стемнело, когда мы подъехали к больнице имени Джапаридзе и эта падла, который сопровождал нас, вошел во двор огромного здания бакинской лечебницы. Лимпус полулежал на заднем сиденье такси, я сидел впереди, сняв полусапожки и поддав под себя ноги. «Кумар» уже ощущался во всем моем теле, но главным при этом всегда были ноги. Если их начинало крутить, то все, наступала ломка.

В салоне «Волги» стояла тишина, прерываемая частым посапыванием таксиста; видно, у него были полипы, подумал я как раз в тот момент, когда из открытых ворот больницы появился наш попутчик и сел в машину. В руках он держал какие-то ампулы.

Немного отъехав, мы остановились и решили немедленно уколоться. Я уже успел в этот момент достать из своего «дипломата» маленький дорожный стабилизатор для шприцев и, повернувшись назад, протянул было руку к Лимпусу за ампулой, как вдруг услышал с разных сторон резкий визг тормозов нескольких машин. И, даже не успев еще понять что к чему, я уже лежал на полу, скрюченный в три погибели, с наручниками на руках. Но сзади еще слышался шум борьбы. Это менты пытались разжать левый кулак Лимпуса, где ничего не было, а он в это время старался зубами раздавить ампулы, которые успел незаметно правой рукой бросить в рот. К счастью, ему это удалось.

Когда меня из такси пытались перетащить в милицейскую машину, я увидел впечатляющую картину — в духе Голливуда.

Спереди и сзади нашему такси перекрыли дорогу два «жигуленка» шестой модели, теперь уже с включенными фарами и воем сирены. Несколько сотрудников были наготове и держали в руках оружие. Кругом движение, суета, стоял неимоверный шум и гам. Было такое впечатление, будто захватили по меньшей мере целую дюжину наркоторговцев.

В то время такой фарс могли продемонстрировать только славные стражи правопорядка города Баку. Но как бы там ни

было, он внушал уважение гражданам. А это, по мнению ментов, всегда оправдывало любую показуху.

Когда меня втолкнули в машину, то моим единственным желанием было, чтобы меня хорошенько избили, ибо я уже начал по-настоящему кумарить.

Боль выбивается болью, и кумар не так остро ощутим. Я как-то раз попадал в подобную ситуацию, и, как ни странно, помогло на некоторое время. Правда, мне тогда здорово досталось. Так что все, что касалось запала и связанных с ним последствий, меня в данный момент абсолютно не интересовало, как будто это вообще касалось кого-то другого.

В тот момент я готов был пожертвовать половиной своей жизни, лишь бы только уколоться… Вот до чего довели меня тогда наркотики! Но, слава Богу, я еще не считал себя конченым человеком. Таковым мог считать себя тот, кто готов был за наркоту предать друга или ближнего своего, что в принципе было почти одно и то же.

Доставили нас в отделение милиции Ленинского района города Баку, которое находилось на станции Разина. Оказалось, что у больницы имени Джапаридзе и отделения милиции Ленинского района был один и тот же двор.

Зная, что мы неместные и в городе не ориентируемся, эта падаль, зайдя во двор больницы, свернул налево и оказался прямо в отделении милиции. Здесь он сдал нас с потрохами, получив за это от легавых отпущение блядских грехов, а затем на одну руку с ментами разыграл маленький мусорской спектакль, который им и удался с блеском.

После обыска нас с Лимпусом поместили в разные камеры КПЗ, и до утра никто нас уже не тревожил.

Глава 15
Неправдоподобная удача

Как провел я эту ночь, лучше не вспоминать. Наутро меня повели на допрос. За большим Т-образным столом огромного кабинета, куда ввели меня дежурные мусора, сидел мужчина-кавказец приятной наружности. Тонкие усики, свойственные этой народности, чуть подернутые сединой, наряду с пышной, почти белой шевелюрой, подчеркивали его возраст и расположение к собеседнику.

Это был заместитель начальника милиции Ленинского района города Баку Мамед-Али Мелим. Забегая вперед, хочу сказать, что подобного рода мусоров я в своей жизни встречал всего несколько раз. Это был особый сорт легавых, к сожалению таких сейчас уже нет.

Да и среди своих сородичей этот человек, видно, был отмечен по праву, ибо приставка «Мелим» в переводе с азербайджанского означает «учитель» и как бы присваивается тем людям, кто особенно уважаем среди народа.

Справа от входа располагались большой кожаный диван и маленький столик для чая, слева вдоль стен стояло множество стульев. Но самым для меня примечательным, хоть я и здорово кумарил, явилось то, что нигде не было ее — той привычной, обрыдлой, противной чахоточной рожи Дзержинского на портретах, которые являлись непременным атрибутом всех кабинетов подобного рода учреждений.

Я еще подумал тогда, окинув беглым взглядом этот шикарный, с точки зрения любого мусора, кабинет, что либо не нашлось сносно написанного портрета Железного Феликса, либо хозяин кабинета просто игнорирует это всеобщее раболепство, будучи влиятельным, а главное — порядочным человеком. К счастью, именно второй вариант и оказался верным.

— Ни о каком допросе не может быть и речи, — тут же сказал я начальнику, — пусть меня хоть убивают, я кумарю, и все тут.

Но это мое выступление, как ни странно, для него не было неожиданным.

— Ну что ж, — ответил он мне, даже не задумываясь и не удивляясь моей наглости, — если хочешь раскумариться, то грузись и, пожалуйста, — будет тебе белка, будет и свисток.

— За что грузиться? — спросил я его довольно-таки резко.

— За хаты.

Ответ был лаконичным, тут я на несколько минут

призадумался. Иными словами, мне предлагалось взять на себя квартирную кражу, одну или несколько, это уж как договоришься.

Подобная практика, которая применялась, да и сейчас применяется, уголовным розыском при раскрытии преступлений, осуществлялась по всей стране, я слишком хорошо знал это, поэтому удивляться мне тут было нечему. Да и долго думать не было особой надобности: я прекрасно понимал, что так или иначе мусора меня загрузят по полной…

Я догадывался, что за вопрос сейчас мучает легавого: кто перед ним — залетный наркоша-гастролер или матерый крадун?

На длинном столе, который примыкал к середине основного, за которым восседал мент, лежали раскрытыми наши с Лимпусом паспорта, мой «дипломат», в котором находилось десять колод карт, заточенных и заправленных мною ранее и закоцанных по мастям и по росту, под «очко» и под «буру»; дорожный футляр со шприцем и множеством игл, несколько пачек дорогих импортных сигарет, которые тогда не так-то легко было приобрести, и еще масса самых разных мелких вещей, необходимых в дороге.

Ни к чему не прикасаясь, мусор внимательно изучал содержимое «дипломата», искоса поглядывая на меня, а затем как бы неожиданно спросил:

— Ну что, каков твой ответ?

— Я согласен, — ответил я, теперь уже не задумываясь, — но с одним условием.

— Каким? — спросил он.

— Отпусти моего соседа, он мужик по жизни, работяга, — кирпичи делает в кишлаках и вообще далек от преступного мира, — начал я причитать. — Собирался, бедолага, со мной по дороге добраться до Средней Азии, и вот как все получилось…

— Ладно, сейчас посмотрим на твоего соседа, — сказал он мне и по телефону приказал дежурному привести Лимпуса.

У нас, как у разведчиков, на всякий случай было всегда наготове по нескольку легенд, так что в подобных ситуациях никто из нас не боялся, что друг брякнет мимо кассы, и я был спокоен.

Пока молодой и симпатичный, как девушка, мусорок ходил за Лимпусом, Мамед-Али Мелим позвонил кому-то и сказал по-азербайджански, чтобы принесли лекарство, при этом несколько раз резко бросал острый, как кинжал, взгляд в мою сторону, проверяя, знаю ли я их язык, но я, как обычно, был невозмутим. Этот урок я уже проходил и к тому же слишком давно.

Привели Лимпуса, я поразился его спокойствию и невозмутимости. Ведь я еще не знал, что этот мазохист сожрал ампулы с морфием вместе со стеклом и теперь не кумарил.

Видно, и легавый со знанием дела оценил его спокойный, не имеющий ничего общего с кумаром вид, но все же решил сделать ему маленькую фраерскую ломку.

Молодая медсестра, видно из соседней больницы, прямо на подносе принесла лекарство и поставила на стол. По всему было видно, что этот прием у них был отработан основательно. Морфий, по нескольку кубов в каждом шприце, лежавших в маленьком стабилизаторе на стерильной марлечке, как и положено у медиков. Рядом лежал маленький тампон из ваты, заранее пропитанный спиртом.

Я спокойно подошел и сел на диван, как будто находился на одной из наших воровских «малин», невозмутимо слил в один шприц жидкость и, затянув резиновым жгутом руку, стал искать вену, боковым взглядом, присущим разве что только карманникам, замечая, что мусор не сводит глаз с Лимпуса, который был по-прежнему абсолютно спокоен и невозмутим.

Можно только восхищаться его актерской игрой и выдержкой, а ведь он был тогда еще слишком молод для подобных сцен.

Но воровская школа бродяги давала знать о себе сполна. Поймав иглой вену и проткнув ее, я медленно ввел морфий, откинулся на диван и стал потихоньку ждать, когда кумар, как злой джинн, покинет мое тело.

Когда это произошло, я был уже во всеоружии. Главной моей целью стало отмазать Лимпуса, что уже, по моему мнению, не представляло особых сложностей: я грузился, он сыграл мужика, все стыковалось как нельзя лучше. В общем, можно было надеяться.

Говорят, что удача приходит к тем, кто умеет ждать, я бы добавил: а фортуна к тем, у кого благородное сердце и чистая душа.

Раскумарившись, я уже развалился за столом с видом профессора, который вот-вот должен начать читать курс лекций студентам. Лимпус же сидел на стуле возле стены, как и положено было сидеть мужику, тихо и спокойно. Теперь я отвечал на вопросы легавого не торопясь и даже с охотой.

Он ничего не писал, это, как я понял, просто беседа; допрос должен был состояться чуть позже.

Надо же было так нам подфартить в тот момент, чтобы неожиданная случайность в лице молодого мусоренка помогла нам выбраться из этого крайне сложного положения. Пока я доказывал начальнику, что я карманник, а не домушник, а он утверждал обратное, более того, давая мне недвусмысленно понять, что у них в районе более 50 нераскрытых квартирных краж и все они моих рук дело, в кабинет вошел молодой

ментенок и, согнувшись надо мной на несколько секунд, передал своему начальнику какие-то бумаги, а затем, обойдя стол, сел напротив меня.

Этого мгновения мне хватило для того, чтобы непроизвольно, как если бы какой-то волшебник водил моей рукою и пальцами, выволочь огромный лопатник из левого кармана брюк этого юнца и тут же зажать его под столом между колен. Все это произошло так быстро, что я сам даже не поверил в то, что сделал, но между коленок у меня было зажато веское тому подтверждение.

В этой связи меня всегда удивляла одна деталь: как может человек ничего не чувствовать, когда из его кармана тянут огромный, как двухтомник, бумажник, тем более если этот человек мент?

Дальше все шло так, будто этот сценарий был кем-то написан заранее. В тот момент, когда Мамед-Али Мелим спросил у меня, как бы со смехом, чем же я могу доказать то, что я карманник, а не домушник, молодой ментенок вскочил, будто его ужалила змея, и принялся верещать.

Картина была более чем впечатляющей, и я подумал: одно из двух — либо меня сейчас казнят, либо отпустят. Но в мгновение ока сообразив, я спросил у легавого, так просто, будто речь шла о самом обыденном, не этот ли гомонец он ищет, протягивая лопатник потерпевшему. Не успел я разжать пальцы, как гомон молниеносно исчез с моей ладони.

Воцарилась глубокая тишина, во время которой мусор проверял наличие денег в бумажнике, а их там было, по-видимому, немало.

С чисто ментовским изворотом Мамед-Али Мелим обратил все в шутку, а затем спросил у меня:

— Ну хорошо, в том, что ты карманник, ты меня убедил, а зачем тебе столько колод карт?

— Играть, — не задумываясь ответил я.

— Да ну! Тогда, может, покажешь нам что-нибудь?

— Без проблем! — ответил я, обрадовавшись такому повороту событий, и начал показывать им простые лагерные кренделя, которые имели на свободе огромный успех у фраеров. Через час выпустили Лимпуса, а к вечеру того же дня и я оказался на свободе.

Невзирая на то что из Махачкалы пришел на меня розыск за надзор (я сам его видел, Мамед-Али Мелим показал мне его), он все же отпустил меня, сказав на прощание: «Приезжай в любое время, когда захочешь. Я найду тебе квартиру, и будешь жить без проблем».

За сутки до Нового года мы прямо в Баку через ментов нашли

черняшки столько, на сколько у нас хватило денег. При задержании менты не отобрали ни копейки. Через тех же бакинских мусоров достали билеты на самолет до Перми и в новогоднюю ночь вылетели из Баку, впервые в жизни от души благодаря легавых.

Часть VI
Надежда умирает последней

Глава 1
Мама

Прошел почти год, как мы расстались с Харитоном, но после этого ни разу не показывались ему на глаза. Правда, однажды, когда у него родился сын Сережа, мы заехали с Лимпусом в Златоглавую, но только лишь для того, чтобы тайком увидеться с его женой Леночкой и дать ей немного денег на содержание новорожденного. Мы знали, что Харитон пока не у дел, но клятву, данную мне, держит. Больше мне не нужно было ничего.

Помню, где-то в начале февраля, разговаривая с женой по телефону из номера гостиницы «Даугава» в Клайпеде, я неожиданно узнал, что моя мама находится в больнице и ей в скором времени предстоит операция. Кроме этого, были и еще некоторые немаловажные для меня проблемы, которые прямой дорогой вели меня в тюрьму. Видно, фортуне, столь долгое время поощрявшей мои дерзкие выходки, в конце концов наскучили мои постоянные безрассудства.

С той минуты, как я узнал об этой печальной новости, не только меня, но и любого нормального человека на земле, оказавшегося в моем положении, больше абсолютно ничего не интересовало, кроме мыслей о том, как там моя мать. И в тот же день, когда я говорил с женой по телефону, вечером мы с Лимпусом вылетели в Махачкалу.

Я успел как раз вовремя: назавтра маме предстояла, по ее словам, не очень сложная операция. Сидели мы с ней в палате Железнодорожной больницы Махачкалы, и вместо того чтобы я успокаивал ее, мама сама меня утешала, прижав к груди и постоянно целуя и лаская.

Когда в разлуке много думаешь о любимых людях, но отвыкаешь ежечасно видеть их, при встрече ощущаешь некоторую отчужденность до тех пор, пока не скрепятся вновь узы совместной жизни.

Вообще, моя мать была удивительной женщиной, сильной и непреклонной перед любыми жизненными невзгодами. У нее был гайморит — ничего страшного, как она утверждала, тем более что ее положил к себе в отделение отоларингологии ее старый институтский друг, заведующий этим самым отделением, доктор Ройтман. В общем, мама меня, можно сказать, успокоила, но на сердце все равно было как-то тягостно; какое-то дурное предчувствие не давало мне покоя с того самого момента, как я увидел ее.

Приехав домой с женой и детьми, которые ждали меня, попрощавшись с бабушкой в вестибюле больницы, мы вместе стали ждать завтрашнего дня. В эту ночь я так и не сомкнул глаз, многое переосмыслив и, конечно, пожалев о многом.

Я понял в какой-то мере, что мы лишь короткое время способны противиться тому, что является вечным законом природы или нашей судьбой.

Бывает, что море, не желая повиноваться законам тяготения, взвивается смерчем, вздымаясь вверх горой, но и оно вскоре возвращается в прежнее состояние. Как было бы хорошо, если бы все события завершались тем, что все нити сходились воедино! Но такое случается крайне редко. Люди живут и умирают лишь в назначенное им время. То же можно сказать и о главных действующих лицах этого повествования.

Ну а теперь, с позволения читателя, мне бы хотелось перевернуть одну из самых печальных и грустных страниц моей жизни, и видит Бог, с какой тяжестью на сердце я это делаю. Но останавливаться мне уже поздно. Хотя, если быть до конца откровенным, я сам хочу до дна испить ту горькую чашу воспоминаний о печали и страданиях, которые Всевышний уготовил на моем жизненном пути. И мне бы очень хотелось, чтобы молодое поколение взяло для себя хотя бы самую малую частицу полезного из всего того, о чем поведано в этой книге, ведь она написана именно и исключительно для него. Я сам все это видел, вынес и пережил.

Высшая добродетель, гласит священная заповедь, состоит в том, чтобы воздать матери своей за все, что она сделала для тебя, дабы не воздела она руки, обращаясь к Богу, и не услышал бы Он ее жалобы.

К сожалению, худшие наши предположения сбылись. Не зря у меня с самого приезда домой болело сердце. У матери, абсолютно неожиданно для самих хирургов, был обнаружен рак. Но она догадывалась об этом, просто не была уверена в точности своего диагноза. Она была врачом и слишком хорошо знала цену догадкам или самовнушениям. Через несколько дней после операции мы забрали ее домой из больницы.

С этого самого момента мне, пожалуй, и стоит отсчитывать то время, которое принесло с собой на долгие годы все самое мрачное и печальное, что может сопровождать большого грешника в его земной жизни.

Муки и страдания, лишения и невзгоды, измена и смерть дорогих и близких мне людей — все эти наказания Всевышнего мне предстояло еще испытать в дальнейшем.

Привыкший к бродяжьему образу жизни, к воровству и

разного рода развлечениям, теперь я даже не мог себе позволить лишний раз выйти из дому, боясь не столько за себя, сколько за то, что, арестовав, менты лишат меня последней возможности увидеть мать живой. Еще несколько месяцев — срок, который врачи определили ей после операции.

Время шло своим чередом, но в состоянии матери негативных перемен мы не замечали, просто теперь она чаще обычного ложилась отдыхать. Но, как я позже догадался, она просто старалась не показывать нам своего настоящего состояния, которое было далеко не таким, как хотелось бы, прекрасно сознавая, как мы переживаем за нее и следим за каждым ее шагом.

Верно говорят: пришла беда — отворяй ворота. Глядя на жену, тут и отец мой занемог: его уже давно мучили боли в желудке, и он слег следом за матерью, как только ей стало хуже, а она уже почти не могла подниматься с постели. Как будто он только и ждал того, чтобы вместе со своей половиной отправиться в мир иной…

Положение становилось катастрофическим. Что касалось матери, то, как бы цинично ни звучали мои слова, здесь было все предельно ясно; нам оставалось только ждать, с отцом же все было по-другому.

Еще недавно здоровый и крепкий мужчина, он буквально на глазах следом за матерью сдал, и складывалось такое впечатление, что отец уже не встанет с постели. До такой степени плохим казалось нам его состояние.

Временами, глядя на родителей с грустью и состраданием, я поневоле вспоминал их частые споры между собой о том, кто быстрей умрет или кто кого должен вперед похоронить и на каком кладбище. В то время я смеялся над их дурашливыми притязаниями, глядя на то, как они — абсолютно здоровые и полные жизненных сил люди — готовятся к смерти, ворча друг на друга, но сейчас мне, конечно, было не до смеха. Как неумолимо летит время, подумал я. Ведь все это, казалось, было еще совсем недавно.

Но на этом беды, почти внезапно упавшие на мою голову, еще не заканчивались. Не знаю почему, но мои родители, насколько я всегда знал, никогда не копили денег на черный день. И вот когда после нескольких месяцев болезни сначала матери, а следом и отца в доме почти совсем не осталось средств к существованию, жена моя решила занять немного и поехать в Самарканд за дефицитными вещами, чтобы, вернувшись, выручить таким образом за них некоторую сумму.

Она уже давно поднаторела в этом деле, пока навещала меня

в Москве, да и сам я, по правде говоря, как-то растерялся в тот момент от возникшей и абсолютно непривычной мне житейской проблемы, и другого выхода из создавшейся ситуации не видел. Мы действительно были на мели, и это было более чем очевидно.

К сожалению, я не мог тогда даже предположить, что вновь увижу свою жену лишь несколько лет спустя в одной из азиатских республик, да еще и при весьма странных обстоятельствах.

Но в тот момент в мою голову не могли прийти не только какие-либо идеи и предложения на этот счет, но даже самые простые мысли путались в ней, как в паутине.

Да к тому же, помимо моих больных родителей, я думал еще и о двоих наших маленьких детях, которых тоже надо было чем-то кормить. К сожалению, события последнего времени стали развиваться так быстро, болезнь матери прогрессировала так стремительно, что в конце концов мне одному, можно сказать, и пришлось ухаживать за больными матерью и отцом, которые практически не поднимались с постели, да еще и смотреть за детьми, которым было — младшей три и старшей одиннадцать лет. На мой взгляд, за эти несколько месяцев моя старшая дочь Сабина повзрослела на годы. В этот, такой тяжелый период ее жизни, для своей младшей сестры она была и сестрой и матерью в одном лице, а для бабушки, которую она всегда называла мамой, — маленькой и любящей сестрой милосердия.

И что характерно, настырная от природы и даже в чем-то дикая Хадижка слушала свою старшую сестру беспрекословно. По-видимому, горе родственных душ даже в таком нежном возрасте не могло оставить в их детских сердцах места для каких-либо разногласий.

С каждым днем маме становилось все хуже и хуже. По-видимому, сильные боли не давали ей покоя, но она почему-то упорно не желала ехать в онкологическую больницу. Не я один уговаривал ее, чтобы она туда поехала. Дело было в том, что только после сдачи анализов и определения врачами-онкологами диагноза — рак, а в данном случае его простого подтверждения — врач-онколог мог выписать болеутоляющие наркотики.

Но так как мама почему-то упорно не желала туда ехать, то ни о каких болеутоляющих средствах не могло быть и речи. Я в то время плотно сидел на игле, и «ханка» у меня дома была постоянно.

Я предлагал матери, когда видел, что боли почти не давали ей покоя и были, по всей вероятности, невыносимы, делать уколы хотя бы внутримышечно, если она не хочет ехать в онкологическую больницу. Она категорически от этого отказывалась, даже взяв с меня слово, что я ни в коем случае не

подсыплю ей в чай или еще куда черняшку. К еде она почти не притрагивалась и худела прямо на глазах.

Со стороны, наверное, могло сложиться такое впечатление, что она умышленно обрекает себя на такие страшные муки и страдания, как бы пытаясь тем самым искупить перед Всевышним чьи-то грехи, забрав их с собой в могилу. Спустя годы я, иногда вспоминая обо всем этом, пытаюсь найти окончательный ответ, но до сих пор так его и не нахожу и, по всей вероятности, уже не найду никогда.

А разве можно вообще понять кому бы то ни было материнское сердце, предугадать его благородные порывы, устремления, желания? Я думаю, что только Всевышнему это под силу и только Он один может в этот момент самопожертвования быть рядом и помочь женщине, имя которой — мать. И это не сиюминутная идея большого грешника, отнюдь, это результат переживаний и размышлений долгих лет, проведенных в неволе.

В то время, кроме Лимпуса да жены Заики Людмилы, которая была и остается до сих пор для меня ближе родной сестры, я почти ни с кем не общался.

Если кто и заглядывал проведать мать с отцом, то это были их сослуживцы, и от них, кроме банального: «Всего хорошего, выздоравливайте поскорее», — ничего нельзя было услышать. Да они почти никогда и не задерживались у нас. Видно, атмосфера, царившая в нашем доме, была навеяна близостью смерти и большого горя, а такой «климат» подходит не всякому, кроме очень близких людей, конечно. А мне так необходимы были тогда житейские советы умудренных опытом людей.

Где-то в конце марта пропал Лимпус. Я не знал тогда, что и думать, но сердцем чувствовал: случилось что-то скверное. Абдул снабжал меня черняшкой, и если бы не его заботы, то я даже не представляю, что бы и делал в состоянии кумара у изголовья умирающих родителей. Так что его отсутствие могло быть сопряжено с чем-то очень серьезным, иначе, хорошо зная создавшуюся ситуацию, он хоть и без ничего, но все же показался бы мне на глаза.

К сожалению, худшее из моих предположений подтвердилось полностью — его арестовали легавые, но за какие грехи? Это в дальнейшем мне еще предстояло узнать, а строить какие-либо предположения у меня не было тогда ни возможности, ни сил. Я постоянно пребывал как в кошмарном сне, где козни черта сменялись происками дьявола.

Сейчас, спустя 16 лет после описываемых событий, вспоминая этот жуткий период моей жизни, а по-другому я затрудняюсь его назвать, мне даже не верится, что все это

происходило именно со мной, и от этого на душе становится как-то особенно не по себе.

И надо же такому случиться, чтобы именно в эту ночь, на 5 апреля 1986 года, я вышел из дому, чтобы найти, где уколоться. Иначе я даже не был уверен, что сам доживу до следующего дня, хотя слово «вышел», слишком громко сказано. Тогда, согнувшись в три погибели, я пробирался по темным махачкалинским тупикам, чтобы незамеченным добраться до дома одного барыги. Лучше бы я тогда подох где-нибудь в подворотне.

Безо всяких проблем мне удалось уколоться и тем самым раскумариться, как будто специально для этого меня там и ждали. Я знал, что мне необходимо было немного развеяться, поэтому задержался на этой хазе некоторое время, пообщался с людьми, узнал последние новости, которые были мне нужны, и ближе к утру попросил, чтобы меня подвезли домой.

Даже не знаю, почему я попросил ребят, чтобы те не заезжали во двор моего дома, а остановились недалеко от него. На дворе стоял апрель, но по ночам было еще холодно. Застегнув куртку на все пуговицы и подняв воротник, я простился с ребятами, вышел из машины, закурил сигарету и не спеша направился к дому, размышляя о чем-то своем.

Когда я подошел к подъезду и поднял глаза вверх, то по моему телу пробежала частая дрожь. Все занавески на окнах нашей квартиры были раздвинуты, во всех комнатах ярко горел свет.

Это означало только одно — в доме покойник. Даже не переводя дух, я стремглав бросился вверх по лестнице и мгновенно, чуть ли не в два прыжка, оказался на третьем этаже, напротив открытой двери в свою квартиру. Тут я и замер как вкопанный. Ноги отказывались идти дальше, меня трясло как в лихорадке, но я все же пересилил себя и переступил порог.

Не успел я сделать и нескольких шагов по коридору, как в тот же момент увидел отца, выходившего из зала и державшего на руках мою спящую младшую дочь Хадижку. Мы остановились как по команде, и на какое-то мгновение наши взгляды встретились, как будто для того, чтобы запечатлеть в душах самые тяжкие минуты нашей жизни. Я даже не удивился тому, каким образом отец, еще буквально несколько часов назад не поднимавшийся с постели, теперь стоял на ногах, да еще и с внучкой на руках. В глазах у него блестели слезы, но взгляд его, как обычно, был суров и мрачен. Он, видно, молчал лишь только потому, что не хотел показывать своей слабости, своего истинного состояния, не догадываясь о том, что оно написано у него в глазах.

Когда ему стало трудно сдерживать себя, он прошел мимо

меня на кухню, опустив голову на спящую внучку и уступая мне дорогу. Я вошел в зал.

Зеркало и телевизор были закрыты белой материей, а справа от входа, под белыми простынями, лежала моя покойная мать. Я сел возле нее на диван, еще как-то умудряясь держать себя в руках, снял с ее закрытого лица простыню и, уже не в силах больше сдерживать себя, залился слезами.

Я не представлял себе жизни без нее, я всегда думал, что она будет жить вечно. Этот дорогой образ, самый родной, знакомый с той минуты, как впервые открываешь глаза, любимый с той минуты, как впервые раскрываешь объятия, это великое прибежище любви, самое близкое существо в мире, дороже для души, чем все остальные, — мать, и вдруг ее нет… Я целовал ее лицо, нежно лаская, и прижимался к нему, как будто от моих ласк оно могло воскреснуть.

Я проклинал себя за то, что не застал ее последний вздох, не мог услышать ее предсмертное слово. А виной всему были наркотики. Как горько сожалел я тогда о том, что так низко пал! Как я корил себя за это! До самого момента омывания покойной я находился в шоке, не обращая никакого внимания на то, что делалось вокруг. Когда же обряд омывания был завершен и меня позвали проститься с ней, я вдруг почему-то заартачился и даже не сдвинулся с места, оставшись стоять внизу, так больше и не увидев никогда самый дорогой мне образ.

Порой в жизни человека бывают такие минуты горя и отчаяния, что он не то что не может контролировать свои поступки, но даже не в силах объяснить некоторые из них. Вот что-то похожее, видно, и было тогда со мной. Меня как бы придавило огромной, неподъемной глыбой.

Огромное количество людей собралось для того, чтобы отдать последний долг памяти моей покойной матери. Очень многим из них в свое время она спасла жизнь в буквальном смысле этого слова, многих вылечила от разных болезней и недугов. Она могла лечить даже души людей, и это признавали все те, кто обращался к ней с подобными просьбами. Она вообще была прекрасным и удивительным человеком. Люди до сих пор вспоминают ее добрым словом.

Глава 2
Ментовский канкан на гробу

Даже после самой продолжительной ночи всегда наступает рассвет, но только лишь для того, чтобы на землю вновь пала мгла. Прошло ровно десять дней после кончины матери. В этот день, 15 апреля 1986 года мы с приятелями собирались с утра поехать на кладбище заказать камень и немного привести в порядок могилу. После похорон я не был на кладбище ни разу и даже не помнил, где именно погребена мама. Состояние мое в тот день было таково, что впору самому ложиться в могилу. Поэтому помимо всех дел, которые мы собирались произвести там, я должен был еще и запомнить месторасположение могилы матери, как это обычно делается в таких случаях. Мне как будто сердце подсказывало тогда, что надо торопиться, но, к сожалению, этому не суждено было случиться.

В тот момент, когда в комнату тихо и почти незаметно — так, как это могут делать только легавые и воры, — зашел незнакомый мне мужчина, я сидел на диване и пил крепко заваренный чай, а старшая дочь, сидя рядом, причесывала свою маленькую сестренку. Поздоровавшись, он виновато, как гиена, попробовал мне улыбнуться, оскалив свои кривые зубы хищника, но ему это не удалось. Я смотрел на него в упор, уже давно вычислив, что это мусор.

— Чего надо, начальник? — спросил я у него, игнорируя его приветствия. — Видишь, у меня горе, не до тебя сейчас.

— Да нет, что вы, Заур, мы все прекрасно понимаем, поэтому и не вызывали вас к себе, зная, какое у вас горе. Просто у начальника моего есть к вам несколько вопросов, только и всего, и, чтобы не беспокоить вас вызовами в милицию, он сам приехал и просит вас спуститься к нему. Он сейчас сидит в машине, ждет. Если вам нетрудно, Заур, спустись, пожалуйста, вниз.

Пребывая в состоянии глубокого траура, я, наверное, потерял некоторый контроль над собой и не смог почувствовать подвоха в словах этого шакала. Хотя в то время я уже знал, как могут быть жестоки и коварны мусора в любых обстоятельствах, но чтобы до такой степени, не ожидал.

Возможно, в другой момент я и принял бы какие-нибудь меры предосторожности, разыграв, наверное, этих четверых псов, которые приехали за мной, или выкинул бы им какой-нибудь капкан, но я знал, что был чист перед законом, за исключением административного надзора. Но за него пока еще меня никак не

могли посадить в тюрьму: к тому времени у меня было всего одно нарушение, а для ареста нужно было три.

Да и не думал я тогда, что у нас в Дагестане найдутся люди даже из числа милиции, которые смогут в такой момент горя и скорби вообще предпринимать какие-либо меры в отношении меня. Ведь меня в милиции никогда не считали человеком, который может совершить какое-либо серьезное преступление. Я никогда, кроме воровства, ничем иным не занимался, это знали все без исключения. Подобные мысли, видно, пронеслись в моем мозгу со скоростью молнии, потому что через какое-то время я уже спускался с легавым вниз по лестнице. Возле дома стояла «шестерка» желтого цвета. Сзади сидели двое и спереди за рулем один человек. И лишь только этот дьявол в образе мусора открыл переднюю дверь и пригласил меня сесть, я почувствовал что-то неладное — и, к сожалению, не ошибся.

Как только я сел в машину, один из пассажиров, который сидел сзади, тут же нажал на кнопку — блокиратор двери. Тот, кто был за рулем, с проворством, которое и отличает легавых от другой категории людей, буквально лег мне на колени, будто сгорая от желания немедленно исполнить мне минет. Он защелкнул одну часть наручника на запястье моей правой руки, а другую часть прикрепил к ручке дверцы машины.

В этот момент, повернувшись к ним, я хотел, наверное, обругать всех, сидящих в этой машине, когда вдруг услышал стук по стеклу и плачущий голос своей старшей дочери Сабины: «Отпустите моего папу, он ничего плохого вам не сделал! Папа… Папа…» — повторяла она.

Сабина, оказывается, шла за мной, стояла и видела, как я садился в машину и как мне там надевали наручники.

В тот момент, когда плачущая малышка неистово забарабанила по стеклу, пытаясь, наверно, сломать преграду, разделяющую нас, машина резко рванула с места с пробуксовкой и свистом, чуть не сбив мою дочь, увозя меня на долгое время в неведомые дали.

Уже даже не стараясь повернуться, возмущенный таким диким поведением мусоров, в результате которого моя дочь чуть не оказалась под колесами машины, я так саданул кого-то из троицы свободной от наручников левой рукой, что выбил несколько пальцев. На меня тут же посыпался град таких ударов по голове и шее, что из носа тут же пошла кровь, и я потерял сознание, но было ясно, что удар мой был что надо и пришелся в цель.

Но без сознания я пробыл недолго. Когда голова моя повисла и стала биться о стекло, кто-то из мусоров взял ее обеими руками

со словами: «Вот так взял бы и оторвал ее на… так он всех уже з….л, сволочь!»

Как я узнал чуть позже, эти слова принадлежали Расиму, одному из троицы, которая находилась в машине. Ну а возглавлял ее Алиев Рашид, занимавший в то время пост начальника отдела уголовного розыска по убийствам и бандитизму ДАССР. Перс Расим был его подчиненным, рядом с ними сидел следователь прокуратуры республики Борис Доля, ну а за рулем — конченая мразь и ничтожество, тоже следователь по имени Бониамин. Его еще кликали Боней. Это была такая осклизлая мразь, которую стоило еще поискать даже среди легавых.

Почему именно я наделил его столь звонким эпитетом, читатель поймет чуть позже, а пока, выехав на трассу Ростов — Баку, водитель дал машине полный газ, и, успокоившись, мусора завязали оживленную беседу. На меня они как будто не обращали никакого внимания, но так только казалось.

Я видел боковым зрением, как их начальник Рашид, сидя у левой дверцы машины, сзади, старался как можно лучше разглядеть меня, не отводя своего проницательного взгляда. То, что он был главным среди этой своры легавых, я понял сразу. По-другому, видно, и не могло быть, ибо его умное и интеллигентное лицо говорило о том, что это как раз представитель того типа легавых, на которых и держатся целые мусорские отделы.

Что касалось остальных, то в сравнении со своим начальником они были обычной сворой легавых псов. Боня был здоровый, под 140–150 килограммов, и жирный, как боров, мусор. С глазами стылыми, как булыжники на мостовой в декабре, но с явной уверенностью в собственном превосходстве над остальными. Его высокомерие было видно за версту. Наверное, те, кто с ним общался, уже давно привыкли к этой особенности и не обращали на нее внимания. Но мне она сразу же бросилась в глаза.

Что касалось его коллеги по следственной работе Бориса Доли, то он, наоборот, был худощавым, только что вышедшим из запоя брюнетом, с редкой растительностью на голове — что-то вроде нескольких тростинок в оазисе среди пустыни. Он был конченым пессимистом. Правда, я сделал это заключение чуть позже, на допросах, где он пытался водить дирижерской палочкой, постоянно путая ее то с бокалом пива, то с бутылкой водки.

Последним представителем этой сводной следственно-криминалистической бригады мусоров был Расим. Типичный азербайджанец, вот только лишь с одной удивительной

особенностью: насколько я заметил впоследствии, он не просто не любил, а буквально ненавидел своих соплеменников.

Когда человек, кто бы он ни был, одержим комплексами, которые чужды даже животному миру, ждать от такого типа можно чего угодно, и, конечно, желательно таких уродов избегать. Но, к сожалению, в заключении нет выбора и терпеть иногда приходится весьма оригинальный вид фауны в образе легавых.

Вот в какой букет «незабудок» вплела меня судьба-злодейка. Но я тогда даже не догадывался, что мои горе-приключения еще только начинаются. Хоть мое состояние и было сродни глушеному карпу, в буквальном и переносном смысле, но все же, как известно, тем, кто сам частенько попадает в замысловатые и коварные лабиринты судьбы, природа никогда не позволяет надолго уходить в область отчуждения, впадать надолго в меланхолию, опускать руки. В данном случае третьего не дано: либо ты погибаешь от горя и переживаний, либо, стряхнув с себя тяжесть, продолжаешь идти по жизненному пути.

Но иногда бывает и так, что человеку помогает случай в мусорском облике. В народе об этом говорят, что «не было бы счастья, да несчастье помогло». Вот ко мне это высказывание как раз и подходило тогда.

Говоря конкретней, стряхнуть с плеч своих ту тяжелую ношу переживаний, связанных с кончиной самого дорогого мне человека, помогли мне тогда сами мусора. Да и помимо душевных мук были еще и физические, ведь я здорово кумарил, но старался держаться в рамках.

Но об этом они даже и не догадывались, иначе бы все было наоборот. Я по-прежнему сидел на переднем сиденье машины, окольцованный, как перелетная птица, откинувшись назад, и исподлобья наблюдал за происходившим вокруг. Машина мчалась не останавливаясь.

В салоне между мусорами шел оживленный спор на какие-то легавые темы. Я не обращал на них никакого внимания и даже не прислушивался к ним — все внимание мое было устремлено на дорогу. Я слишком хорошо знал эти места. Мог запросто с закрытыми глазами проехать путь по трассе Ростов — Баку, от Махачкалы до Золотого моста, то есть того места, где проходила граница между Дагестаном и Азербайджаном. В те времена Советский Союз был един и неделим, и там не было никаких преград, для того чтобы пересечь эту часть пути, даже не останавливаясь. И вот когда мы проскочили Золотой мост, опять-таки без всяких остановок, я впервые за все время пути серьезно призадумался о главном.

Меня фактически украли из дому, да еще в такой момент, когда я был в трауре. Для этого у мусоров должны были быть очень веские причины. И повезли меня не в райотдел милиции и даже не в другой город, а безо всяких разъяснений, санкции прокурора, если я был арестован, и прочих формальностей меня везли в соседнюю республику, да такой рысью, но зачем? К чему была такая спешка? Кто эти люди, которые сопровождали меня? Что за преступление хотят на меня повесить?

Все эти и множество других вопросов тут же обрушились на меня, едва только машина сделала первые километры по земле Азербайджана, как вдруг я впервые услышал голос старшего из этой своры:

— Видать, жизнь тебя многому научила, Заур, я смотрю, выдержки тебе не занимать. Что, не интересует, куда тебя везут и для чего?

Я смотрел в окно и молчал, как будто меня это действительно не интересовало. В машине стояла тишина, нарушаемая лишь монотонной, жесткой сцепкой резины колес об асфальт. Пауза слишком затянулась, но я упорно молчал, будто немой, всем своим видом давая понять, что мне все безразлично.

Я решил сыграть в отгадайку с этим мусором, но ошибся — он был далеко не подарком. Это открытие меня озадачило еще больше. По манере вести себя, по тому, как он умело вел нить разговора, как бы непринужденно сплетая ее в маленький клубок загадок, и еще по некоторым другим наблюдениям было видно, что человек, пытавшийся разговорить меня, — умный и опытный легавый.

Я знал, что птицы такого полета, как правило, в уголовном розыске ворами не занимаются. За что же меня взяли, пытался понять я тогда.

Но до разрешения этой загадки оставалось уже совсем немного времени. Как раз в тот момент, когда я раздумывал над рядом вопросов: зачем, за что и куда, — на дорожном столбике промелькнула надпись: «Станция Насосная».

Немного проехав вперед, Рашид приказал водителю остановиться и всем выйти из машины. Мы остались вдвоем, и он продолжил свой монолог, недавно прерванный моим молчанием:

— Я почти уверен в том, что через несколько минут тебя ждет продолжение твоих страданий, но хочу также, чтобы ты знал: никогда не сталкиваясь с тобой и даже не понимая почему, я все же тебе симпатизирую. Но мои личные чувства и амбиции ни в коей мере не относятся к моему служебному долгу. Как ты уже, наверное, догадался, я здесь главный. И смогу прекратить пытки, которые тебя ожидают в самом скором времени, только в том

случае, если ты дашь признательные показания.

Он закончил говорить так же, как и начал, театрально и в менторском стиле, будто только что окончил чтение монолога из шекспировского «Гамлета». В салоне машины вновь повисла тягучая пауза, но теперь уже я прервал молчание вопросом, который мучил меня всю эту дорогу больше всего, но задать его я постарался с некоторой долей иронии:

— Так в чем же меня хоть обвиняют, если не секрет?

— Советую тебе, Заур, чисто по-человечески, с этим вопросом особо не спешить, ибо уже совсем скоро ты узнаешь ответ на него, — сказал Рашид. Речь его была проникнута сарказмом. Однако мне тогда было не до того, чтобы обращать внимание на иронию мусора, ибо я уже потихоньку начал понимать, что ждет меня в действительности. Но мог ли я тогда представить, до какой степени ошибался?

Еще некоторое время мы молча сидели в машине, каждый думал о своем, затем Рашид позвал остальных, все вновь заняли свои места, и теперь уже безо всяких остановок машина, заехав в поселок, остановилась у какого-то саманного типа белого, видно только недавно выкрашенного, одноэтажного здания. Вокруг него со всех сторон росли маленькие, аккуратно посаженные кустарники и очень много деревьев. Это был красивый и ухоженный парк со множеством зелени.

Первым из машины вышел Расим, открыл переднюю дверцу, где сидел я, отстегнул наручник с ручки двери и, пристегнув его на свое запястье, потянул меня молча вперед так, как тянет, наверное, за веревку корову мясник, когда пытается затащить ее под нож. Вот таким несколько странным образом мы и вошли в помещение, которое функционировало как «Штаб дружины».

Глава 3
В застенках «горской инквизиции»

В коридоре было две двери: одна находилась прямо перед нами, другая — при входе на левой стороне этого небольшого коридора. Мы свернули налево и, открыв вторую дверь, вошли в комнату.

Если называть вещи своими именами, то это была скорее камера пыток, чем просто комната. Сам интерьер этого прибежища Сатаны располагался таким образом, чтобы при входе в него на психику человека могли воздействовать орудия пыток, которые лежали на столе возле стены напротив входящего, и чтобы сразу бросались ему в глаза.

Здесь были настоящие испанские щипцы, как будто специально взятые для пыток напрокат у инквизиторов. Теперь ими просто зажимали голову жертве и могли ее расколоть как грецкий орех. Все зависело от стараний палача и степени его ответственности.

Рядом со щипцами лежали длинные и тонкие сапожные иглы, воткнутые в черный воск так, чтобы их было хорошо видно входящему. Помимо своего прямого назначения их еще можно было загонять под ногти тому, кто имел несчастье находиться в этой комнате.

На столе также лежала бечевка в виде удавки, по крайней мере, мне так показалось. Ну а два толстых резиновых шланга свисали из полного ведра с водой, которое стояло с левой стороны стола.

А вот и смирительная рубашка на стуле, который стоял рядом со столом, у самой стены, с его правой стороны, и имел, как бы это выразиться поточнее, варварское применение, что ли, — это сравнение, наверное, будет самым подходящим.

Посередине этого стула было вырезано отверстие, а внизу находилось специальное приспособление, в которое вставлялась бутылка из-под шампанского (именно и непременно из-под шампанского), иначе эффект пытки утрачивал свою оригинальность.

При необходимости палач приводил механизм в действие, и бутылка потихоньку поднималась вверх, пока не заходила бедолаге в заднепроходное отверстие и не проникала настолько глубоко в организм, поражая слизистую и разрывая кишечник, насколько палач получал на этот счет приказ.

Сам горемыка при этом был, конечно, намертво прикреплен

специальными приспособлениями, которые не давали ему возможности даже пошевелить бедрами.

Этот способ пытки с применением бутылки был исключительной прерогативой азербайджанских стражей порядка. Нигде больше в Советском Союзе, насколько я знаю, подобного рода экзекуции в органах не применялись.

Надо сказать, что сама демонстрация возможностей этого зловещего заведения произвела на меня должное впечатление. А как же иначе?

Думаю, что человеку, далекому от жестоких тюремных экзекуций, проводимых в милицейских застенках, после просмотра всего этого могло бы показаться, что он попал в четырнадцатый век, в гости к соратникам Игнатия Лойолы.

Что же касалось меня, хоть я и видел впервые некоторые из представленных здесь экспонатов, а если быть более точным — инструментов, которые находились на вооружении у местных мусоров, но слышать о пытках с их применением мне, конечно, доводилось, и не раз.

Посреди этой зловещей комнаты стоял палач в буквальном смысле этого слова. Много зловещих лиц довелось мне видеть в жизни, но ни одно из них не дышало такой злобой и такой ненавистью, как лицо этого садиста. Я даже затрудняюсь подобрать этой образине подходящий эпитет. Пусть читатель сам представит себе Средние века и обычного палача инквизиции с крючковатым носом, выглядывающим из-под капюшона, со стеклянными, холодными глазами и с, казалось бы безучастным, видом дьявола, взирающего на свою очередную жертву. Это и будет почти точный портрет этого ничтожества, правда, моему недоставало капюшона.

Мантию палача ему заменяла милицейская рубашка, рукава которой были засучены по локоть и которая была расстегнута до самого живота, огромного и круглого, как у беременной женщины, но, в отличие от нее, безобразного до неприличия. На здоровых и жилистых руках растительности было больше, чем у гориллы, хотя сходство с этим представителем рода приматов было более чем очевидным, оно резко бросалось в глаза.

В такие минуты жизненных испытаний мозг начинает работать с утроенной энергией, ища выход из создавшегося положения. В данной ситуации, как я понял чуть ли не сразу, было несколько более или менее приемлемых для меня вариантов.

Первым в случае абсолютной безысходности была смерть.

Что касалось второго, то это должна была быть игра, но слишком тонкая игра, такая, глядя на которую, позавидовали бы

любые драматические актеры.

Но я еще не знал, что это был всего лишь первый акт того спектакля, который значился в репертуаре этого театра. Мне в нем отводилась пока всего лишь эпизодическая роль, возможно, даже роль статиста, в которой особого мастерства от актера не требуется.

Главные же действующие лица, оказывается, были рядом, но я их еще не видел и, как ни странно, до конца спектакля длиною в год так и не увидел, исключая, конечно, очную ставку и суд.

Читатель, наверное, справедливо задаст вопрос, зачем же нужна была такая радикальная мера, как смерть? А все дело было в том, что у мусоров этого зловещего региона, в отличие от других частей страны, существовало такое правило: если ни один из вышеописанных мною инструментов пыток не смог разговорить пытаемого, что бывало крайне редко, к нему применяли крайний метод, которым и являлась бутылка. Но применялся этот извращенный метод пыток в духе «утонченной изысканности востока» в основном к людям, придерживающимся воровской идеи или непосредственно к ворам в законе.

Например, в то время в Бакинском горотделе, где мне в подвале его КПЗ впоследствии пришлось просидеть несколько месяцев, один из урок, пытаясь избежать позора быть посаженным на бутылку, выбросился из окна третьего этажа. К несчастью, внизу варили битум, и он угодил прямо в бурлящий котел. Произошло это весной 1986 года.

Если же начать описывать пытки, которые применялись во всех закоулках мусорского Азербайджана, да еще и чуть ли не каждый день над людьми, которые не были так популярны в среде преступного мира, как воры в законе, но были стойкими борцами за идею, если позволительно будет так выразиться, то думаю, что здесь целой книги не хватит.

Таким образом, человек, подвергшийся подобной пытке, с точки зрения ментов, конечно, уже не мог считать себя тем, кем был прежде. То есть, говоря языком легавых, для них он был уже обезврежен и обезоружен. И, наверное, в какой-то степени менты добивались того результата, который был им нужен.

Что же касалось того, как на это обстоятельство посмотрят люди, с кем непосредственно придется общаться человеку, прошедшему через подобное испытание, то здесь мнение складывалось всегда однозначное. Если человек выдерживал все козни легавых, то никто даже и заикнуться не смел о том, что он не заслуживает места под воровским солнцем.

Но все же осадок от этой экзекуции у того, кто прошел через нее, оставался, конечно, мутный и на всю жизнь, да и психика его

была уже надломлена и он мог выкинуть любой фортель.

Поэтому бродяги, которые ожидали чего-то подобного для себя, старались избегать этого любыми способами. Слишком многое ставилось на карту.

Все это я, конечно, знал и всегда был готов к любому повороту событий в жизни, который мог быть связан с мусорскими происками.

Судьба почти постоянно готовила меня в процессе жизненного пути к подобным испытаниям, будто я родился на свет именно для этого: терпеть и переносить страдания и муки.

Постояв немного со мной у дверей этой обители дьявола, видно давая мне тем самым возможность получше прочувствовать, что меня в дальнейшем ожидает, Расим молча вышел, оставив меня наедине с этим стервятником. По всему было видно, что у них уже давно все было оговорено и запланировано.

Глава 4
Палач

Какое-то время этот питекантроп рассматривал меня молча, оценивающим взглядом профессионала. Я, набравшись наглости, сам подошел к нему поближе, как бы для того, чтобы получше разглядеть эту падаль. Мне не стоило этого делать, потому что не успел я еще перевести дыхание после этой дерзкой выходки, как молниеносным ударом в лоб он уложил меня на пол. Думаю, что такому удару мог бы позавидовать не один боксер. Я был в нокауте и не успел еще даже прийти в себя, как пинки ногами посыпались на меня.

Пока все действия этого мусора были давно знакомы мне, поэтому мне еще как-то удавалось избегать прямых ударов по почкам и печени. Но вот когда, видно, уже устав бить меня ногами, он связал мне руки сзади толстой бечевкой и подвесил, подняв как пушинку, на крюк, который торчал в стене рядом с ведром воды, я уже не смог избежать своей печальной участи.

Когда эта мразь вытащила из ведра с водой один из двух толстых резиновых шлангов и стала окучивать им меня, я, не выдержав боли, стал орать до тех пор, пока мой крик не превратился в шипение и свист.

Не знаю, сколько времени я провисел в таком положении — минуту или десять: в такой момент человеку трудно ориентироваться во времени, но хорошо помню, что, когда он снял меня с того крюка, так же как и подвесил легко как пушинку, я тут же потерял сознание от соприкосновения связанных сзади рук с полом.

Очнулся я весь мокрый, в луже воды, по-прежнему со связанными руками. Видно, пока я был без сознания, меня обливали водой, чтобы я быстрее пришел в себя.

Первое, что я увидел, открыв глаза, были два ботинка, скорее всего последнего размера. Трудно было их не узнать. Я чуть приподнял голову.

Невероятно, но факт — этот тип спокойно пил чай, и даже не преминул улыбнуться мне, когда увидел, что я пошевелил головой. Он сидел за столом с таким видом и вкушал горячий напиток с таким наслаждением, будто только что вышел из парилки.

Оттого что он сидел на стуле, его безобразный живот выпирал еще больше, фартуком закрывая его колени. Пот ручьями катился с его противной хари, милицейская рубашка

была насквозь пропитана потом, а на животе, из расстегнутой рубашки, проступало что-то сродни болоту: вода и растительность.

Для меня ирреальность этой сцены заключалась в том, что после подобного рода экзекуций я привык видеть ее исполнителя возбужденным, с повышенным содержанием адреналина в крови, жаждущим человеческой боли садистом. Им мог быть кто угодно из ментов, либо блядь какая лагерная, либо сука того же замеса, которые были на тот момент рядом.

Жалости, конечно, от таких извергов ждать не приходилось, но иногда была и она, было порой и какое-то понимание вопроса, из-за которого и возникал конфликт между людьми с разными понятиями и жизненными критериями.

А здесь я впервые в жизни столкнулся с тем, что это подобие человека был на работе, так же как и любой из нормальных людей, например, стоял у станка или у операционного стола. Но профессия этого «работяги» была — палач!

Ноль эмоций, жалости, сострадания. «Что поделать, работа такая», — наверное, ответил бы он, если бы у него спросили, как он может быть таким бесчеловечным? Но он будет далеко не последним подобного рода субъектом, который встретится мне еще в самом ближайшем будущем.

— Ну что, уже очнулся? — спросил он, когда увидел, что я очнулся. — Хорошо, молодец, сейчас начальник позову, он с тобой говорить будет. Будешь хороший, больше боль делать не буду, будешь плохой, еще хуже, очень больно будет!

Я молча взирал на этого дегенерата и чуть было вновь не потерял сознание от злости и беспомощности. Полагаю, что, обладай он хоть геркулесовой силой, но если бы в этот момент у меня были развязаны руки, я бы, без сомнений, перегрыз ему глотку, именно перегрыз — и никак иначе.

Но все было еще впереди, подумал я. Мысль о таком способе мести мне уже доставила некоторое удовольствие.

Глава 5
Сердобольный следователь Доля

Я по-прежнему лежал со связанными руками на полу, в луже воды, молча ожидая того, что произойдет дальше. Допив свой чай, палач (будем называть вещи своими именами) встал и не спеша вышел из помещения, оставив меня без присмотра на полу, но уже в следующую минуту вернулся, и не один. С ним вместе зашел следователь Доля.

Увидев меня в таком виде, он нисколько не удивился, что говорило о его компетенции в следственной работе, попросил палача посадить меня на стул, что тот и сделал, подняв меня с пола, как будто я был поломанной игрушкой.

— Руки развязать? — спросил палач у следователя.

— Не стоит пока, — поймав яростный блеск в моих глазах, без колебаний ответил тот.

— Ну хорошо, вы говорите, а я пойду, один человек видеть надо, хороший будет взбучка делать, если он говорить не будет.

Промычав какой-то бред, эта мразь вышел из кабинета. Но приблизительно через час я понял, что речь его, к сожалению, бредом не была. Просто он не мог хорошо по-русски выражать свои дикие мысли.

— В чем меня обвиняют? — спросил я у следователя, как только дверь закрылась за палачом.

— Я не уполномочен отвечать на какие-либо ваши вопросы, Зугумов, да к тому же вопросы здесь буду задавать я, а не вы, — ответил он, не отрываясь от протокола допроса, который начал сразу заполнять, войдя в кабинет, и даже не поднимая головы.

Ну что ж, позиция мусора, да и его нутро, были мне уже относительно ясны, я понял их по его ответу. Напротив меня сидел следователь-служака, человек по натуре беспринципный и, как только что стало видно, несколько трусоватый, для которого формуляры и протоколы были намного ценнее и выше человеческой жизни. О чем с ним было говорить далее?

Такой сорт следователей мне доводилось встречать в жизни, поэтому я решил, как частенько бывало в таких случаях, ждать, ждать и надеяться.

Молча ожидая, когда он закончит свою писанину, я несколько неожиданно для себя призадумался, а зачем мне вообще нужно сейчас бороться за жизнь, зачем она мне?

Передо мной мысленно, будто на экране, проплыли похороны матери, заплаканные лица моих маленьких дочерей и особенно

последний, неожиданный момент разлуки со старшей дочерью Сабиной.

Но этот миг, когда я почти опустил руки, был всего лишь мгновением, уже в следующую минуту, встрепенувшись, я готов был к схватке вновь, даже не зная ее действительной подоплеки.

Наконец он оторвался от протокола допроса и спросил меня без обиняков, будто обухом ударив по голове:

— Где машина, Зугумов? Где вы закопали труп?

Если до этого я был в нокауте, лежа на полу, то теперь я находился в состоянии легкого нокдауна, сидя на стуле.

— Какая машина? Какой труп? — вскочив со стула, начал я орать на него, не выдержав такой наглости. Тут я мгновенно понял, какое дело мне собираются шить мусора. — Вы что, с ума все посходили? Везете меня за тридевять земель из дома, где я нахожусь в глубоком трауре, чтобы пытать, как фашисты, а потом еще и задаете такие идиотские вопросы?

— Это не идиотские вопросы, Зугумов, это вопросы, на которые я советую вам отвечать, иначе вас ждут не то что большие неприятности, вас ждет нечто большее, — ответил мне следователь Доля безо всяких эмоций, спокойно и деловито.

Этот тон меня немного охладил.

— Ну хорошо, — продолжил я уже спокойней, — как я могу отвечать на вопросы, значения которых не знаю и не понимаю?

— Послушайте, Зугумов, меня абсолютно не интересует ваша позиция в этом вопросе. Я знаю, что вы бывалый уголовник и законы уголовного кодекса знаете не понаслышке. Я следователь, и меня в данный момент интересуют только факты и конкретика — «да» и «нет». Думаю, вы меня поняли?

— Куда понятней, — ответил я ему, — я вас уже давно понял и мой ответ: нет, нет и еще раз нет.

— В таком случае мне жаль вас, Зугумов, — вы даже не понимаете, куда попали и что вас ожидает впереди. Ведь это не Дагестан, и в скором времени нас, работников прокуратуры и уголовного розыска республики, здесь не будет, а разницу в методах допросов и дознания вы почувствуете уже в самое ближайшее время, если еще не почувствовали.

В этот момент взгляд его прошелся по «инструментам дознания», которые так и лежали на столе, а затем вновь вернулся ко мне, но уже с некоторой долей жалостливой ухмылки. Мне даже показалось, что его передернуло несколько раз.

— Поверьте мне, Зугумов, — продолжал он после небольшой паузы, — я некоторое время работал здесь.

Как бы парадоксально это ни звучало, но он говорил правду,

а смысл его слов я понял немного позже. Дописав наконец последнюю строчку протокола допроса, он спросил у меня, скорей для формальности, чем для самого протокола, буду ли я расписываться и, не дождавшись ответа, хоть его и не последовало вообще, написал: «От подписи отказался», затем, еще раз взглянув на меня и ничего больше не сказав, молча вышел, оставив дверь открытой.

Глава 6
Продолжение пыток

Не прошло и минуты, как в кабинет вновь вошел палач с улыбкой дьявола на лице и с ведром воды. Тут я понял, хоть ведро и было полным до краев, что сейчас, скорее всего, и начнутся сбываться слова следователя. К сожалению, я вновь не ошибся. Обладай я еще некоторое время подобного рода проницательностью, и мне в пору было бы заказывать себе деревянный макинтош или, на худой конец, колпак звездочета.

Я по-прежнему сидел на стуле со связанными сзади руками, безмолвно взирая на действия этого садиста. И когда он подошел ко мне, я уже, как бы по инерции, сжался в комок, но все равно не успел увернуться от резкого удара шлангом по голове, который он с удивительной ловкостью выхватил из ведра.

Так продолжилось то, что началось совсем недавно. Привыкший большую часть жизни терпеть интриги мусоров, я молча переносил пинки ногами вперемежку с ударами шланга, только лишь после каждого того или иного удара кряхтел, будто из меня выходил дух. Так люди кряхтят либо от удовольствия в парной, от березового веничка, либо после подобного рода массажа, который, я думал, уже не кончится никогда.

В перерывах, когда он уставал и садился пить чай, я лежал на полу и мы оба имели некоторое время на передышку. Каждый из нас молча наблюдал друг за другом и оценивал противника. Затем, после того как он выпивал маленький стакан чая, скорее, наверное, по инерции или в виде ритуала при подобного рода процедурах, чем из желания, он поднимался, так же молча брал шланг в руки — и все опять продолжалось.

Один раз он даже умудрился, видно от излишнего усердия, садануть шлангом себе по коленной чашечке. Я корчился на полу от боли, но все же следил за этой мразью. Ему было действительно больно, но он терпеливо снес эту боль, даже не выместив на мне злость.

И это для меня было ново. Палач, орудуя раскаленным железом, обжигается сам, но не обращает на это внимания. Вы ничего не чувствуете, так как другой страдает больше. Видя, как мучается тот, кого пытают, вы не ощущаете собственной боли. Что-то похожее по данной теории, вероятно, происходило в тот момент и с этим шакалом.

Не знаю, сколько еще длилось бы это планомерное избиение, я уже давно не ориентировался во времени, когда в какой-то

момент дверь в кабинет неожиданно отворилась и на пороге появился молодой ментенок с еще более дегенеративным лицом, чем у моего палача, и, не обращая на меня никакого внимания, сказал ему по-азербайджански:

— Все готово, они ждут, вытаскивай его отсюда.

— Ты приготовил все так, как я говорил? — спросил его мой садист.

— Да, мелим, не беспокойся, его не убьют, но ему, ада, будет немножко больно, ах, ха-ха-ха-ха, — залилась звонким щенячьим хохотом эта молодая гиена.

Они, конечно, не догадывались, что я понимаю их язык, но уверен, что, если бы и знали это, говорили бы так же открыто. Плевать они хотели на любые условности. Мне развязали руки, и в этот момент я чуть не потерял сознание от удовольствия — так мне стало хорошо. Да-да, друзья мои, не следует удивляться, бывает, что и от такой «мелочи» можно поймать настоящий кайф. Все зависит от обстоятельств и от того, в какой плоскости вы воспринимаете подобного рода жизненные блага. Думаю, я выразился понятно.

Я, конечно, догадывался, что эти ничтожества приготовили мне какой-то «приятный сюрприз», но дорожил секундами раскрепощенности, прекрасно зная из опыта прошлых лет, что такие мгновения передышек порой бывают не так часты, как хотелось бы, и вновь не ошибся. Не успел я даже слегка размять руки и плечи, как пинок молодого мусоренка напомнил мне о том, чтобы я поднимался.

— Тур, гиждыллах, — с брезгливостью и пренебрежением проскулил он.

Так, наверное, путник, увидев перед собой на дороге что-то интересное, пытается разглядеть эту вещь, перевернув ее концом ботинка, а убедившись в том, что она всего лишь грязный дорожный камень, пинает его куда подальше. Я потихоньку и не торопясь, опять же кряхтя, охая и ахая, но так, чтобы вновь не заработать удар чем-нибудь и при этом выиграть немного времени для еще большей передышки, поднялся на ноги.

С того самого момента, когда меня ввели в этот кабинет, я еще самостоятельно не стоял на ногах, и сейчас, встав на них, мне показалось, что эти ноги вовсе не мои. Будто кости в них заменили ватой. Пока молодой легавый занимался моей персоной, старый вышел из кабинета, и, когда я уже стоял несколько минут на ногах, он вошел и гаркнул молодому, чтобы тот меня выводил. Мы потихоньку вышли из кабинета, прошли по коридору и, свернув резко направо, вышли на улицу.

Глава 7
«Чем дальше в лес, тем толще партизаны»

Первое, что я заметил: было уже темно. Возле крыльца этого здания, точнее, где-то на его крыше, горел большой прожектор, освещая все вокруг.

На улице стояла толпа народу, человек 20–30, молча глядя на то, как я не торопясь спускаюсь по ступенькам широкой лестницы крыльца. Меня уже сопровождали четверо легавых — двое из свиты дагестанских мусоров, неизвестно откуда появившихся, и молодой мусоренок с моим палачом. Я думал, что толпа — это люди из числа простых любопытных сельских зевак, пришедших поглазеть, но не успел еще наш эскорт поравняться с ними, как они с диким, нечеловеческим ревом и причитаниями бросились на меня гуртом, словно стая изголодавшихся шакалов.

В воровской среде этот метод наказания преступников называется «самосуд», я был, конечно, с ним знаком не понаслышке и, когда попадал под него, всегда знал — за что, но в тот момент, когда эта толпа буквально рвала меня на части, мне было абсолютно не понять, за что же меня эти люди терзают и бьют, как лютого врага. Что мог я им сделать, впервые в жизни оказавшись на этой злосчастной станции? С кем они меня путают?

Когда мусора буквально вырвали меня из лап этой разъяренной своры сельского мужичья, женщин, стариков и даже детей, я лежал окровавленный, в лохмотьях на земле и только теперь понял всю сложность обстоятельств, в которых я ненароком оказался.

Я был в сознании, но не мог даже пошевелиться, тело мое было сплошным кровавым месивом. И это еще при том, что я в процессе экзекуции успел сжаться в клубок, защитив при этом важные органы тела от ударов. Да что и говорить, досталось мне тогда по полной программе. Мусора буквально внесли меня в какую-то легковую машину и повезли в неизвестном направлении. Уже в машине я впал в какое-то забытье и даже не помню, как мы добрались до КПЗ.

Здесь нас уже, видно, ждали, потому что меня безо всяких шмонов (хотя шмонать-то было уже нечего — на мне остались одни лохмотья) водворили в камеру-одиночку. Как положили меня легавые на нары, так я и провалился куда-то в небытие.

Я точно помню, что мне тогда снилась мать, я запомнил даже ее слова: «Крепись, родной, я всегда буду с тобой и Бог не оставит

тебя!»

Сколько времени я провел в забытьи, не знаю, но, очнувшись, весь мокрый от пота, лежа на нарах и глядя в грязный потолок той одиночной камеры, я пытался во всех деталях вспомнить то ли сон, то ли видение, в котором я слышал слова своей матери. Даже с того света мать пришла ко мне, чтобы поддержать в тяжелую минуту жизни! Как она любила меня при жизни, так продолжала любить и после смерти… И слова эти не бред старого грешника, нет, смею уверить в этом любого скептика. Теперь я уже точно знал, поняв это каким-то внутренним чутьем, что эти и дальнейшие муки, которые мне придется пережить, Всевышний посылает мне в искупление грехов моих за все то зло, что я причинил когда-то людям. Но я уже был готов к чему угодно, передо мной стояла мать, и я слышал ее слова, а этого было более чем достаточно.

В этой связи мне хотелось бы особо подчеркнуть одну немаловажную особенность человеческой натуры, которая порой мешает людям сделать правильный выбор в жизни. Будто дьявол не хочет расстаться со своими трофеями.

Дело в том, что иногда, в определенные моменты человеческой жизни, Всевышний, относящийся всегда с особой любовью именно к тем грешникам, которые раскаялись в своих прежних злодеяниях, посылает людям всякого рода знамения, для того чтобы человек очистился от скверны прошлого своего бытия и начал по-новому осмысливать суть самой жизни. Но в большинстве своем люди, к большому сожалению, замечают эту благодать Божью лишь тогда, когда им это выгодно, то есть когда им плохо и они ждут помощи, которую, кроме как от Всевышнего, ждать уже неоткуда, напрочь забывая об этом потом, когда беда минует их, но надолго ли?

Сейчас трудно вспомнить, сколько времени я находился в таком состоянии душевного покоя, скорее всего, недолго. Потому что меня, ко всему прочему, еще и очень сильно кумарило, а в таком состоянии человек не может находиться в забытьи даже час. От силы минут двадцать, не более. Но когда я вышел из этого состояния и пришел в себя, то по-прежнему лежал на спине, боясь даже пошевелиться.

Мне казалось, что каждая клетка моего организма — это сплошная боль, но, побывав на северных командировках, я частенько знавал подобное состояние после хорошей мусорской прожарки, так что мне было к этому не привыкать.

Какой-никакой, а опыт выживания у меня был немалый. Да и у реальности, надо сказать, свои условности, она всегда категорична, а значит, порой бывает жестока. В такой момент

жизненных испытаний она диктует свои правила: либо ты борешься и живешь, либо, опустив руки, умираешь. Третьего не дано. Так что, хорошо зная, что бывает с человеком, когда он поддается капризам дьявола, я попробовал приподняться, и, как ни странно, мне это удалось, правда не без некоторых трудностей. Я потихоньку, рывками придвинулся к стенке и, прислонившись к ней, перевел дух и осмотрелся.

Камера была такой же, как и тысячи ей подобных, со всем необходимым, положенным в таких помещениях. Почти из-под самого потолка, сквозь узкое отверстие в растрескавшейся от времени стене, в камеру пробивался единственный луч света, видно светивший из коридора, который будто говорил узнику: «Не отчаивайся, на тебя смотрит Господь!»

Поймав себя на этой мысли, я попытался было осмыслить то, что со мной произошло за этот в высшей степени черный день в моей жизни, но меня опять сбили с метки легавые.

Дверь в камеру отворилась, и, не говоря ни слова, два бугая-надзирателя, взяв меня под мышки, буквально потащили волоком по коридору и втащили в какую-то комнату. Яркий свет неоновой лампы тут же ослепил меня, и я заслонил глаза рукой. Когда же через некоторое время я опустил руку, то в сидящем напротив меня за столом человеке я узнал Рашида. Но кто сидел сзади него, я понял не сразу, а когда понял, то был, откровенно говоря, поражен, ибо этим человеком оказался я сам.

Я не буду описывать то, что увидел в тот момент в зеркале, ибо именно в нем я увидел свое отражение, — вид был еще тот, скажу лишь, что он был более чем плачевный — он был жалкий.

Позади Рашида висело большое и старое, со множественными дефектами зеркало времен реформации царского Азербайджана. И посадил он меня напротив него, конечно, неслучайно. Мой внешний облик несчастного и истерзанного псами горемыки, с точки зрения легавого, мог толкнуть на сучьи размышления того, кто не был стоек духом и кому дорога была жизнь, независимо от того, каким образом и кем, она будет ему подарена.

Надо сказать, что этот бестия Рашид был неплохим психологом, но, к счастью, практики работы с босотой и общения с российской шпаной у него не было вообще. А без знания всего этого разве мог человек претендовать на высшую ступень в мусорской иерархии? Нет, конечно!

Это обстоятельство, разумеется, не могло не броситься мне сразу в глаза, как только он заговорил со мной еще в машине по дороге сюда, но окончательно я в этом убедился лишь позже, уже будучи в одной из бакинских тюрем, под названием «Шуваляны». Ну а здесь пока шло знакомство в некотором роде. Он как бы

пробивал меня на вшивость, умничая, с некоторой долей высокомерия. Было видно даже невооруженным глазом, что и сам он прекрасно понимал, что этот метод или прием его поведения не делает ему чести.

Скорее наоборот — человек тонкого ума и расчета, который мог бы подвергнуться его допросу, сразу бы выявил отсутствие у него надлежащего уровня интеллекта и профессионализма, но внедренные в подсознание стереотипы допросов обычных уголовников брали верх над здравым смыслом этого человека.

Видно, он был болен мусорской проказой. Иначе как можно было понять умного и образованного человека, опускающегося иногда до уровня дегенерата?

Но хоть это и был враг, но враг умный и воспитанный, в отличие от прочих скотов, которые издевались надо мной и днем и ночью. К слову сказать, хоть я и попортил им немало крови и мой арест не принес его группе желаемого результата, все же Рашид ни разу не дотронулся до меня и пальцем. Кстати, еще один человек заслуживает нескольких лестных слов в этой связи в свой адрес — это следователь Доля. Все же остальные ничуть не брезговали подобного рода занятиями. Когда им представлялась такая возможность, из-за своей тупости и служебной некомпетентности они вымещали все свое зло на нас. Такая уж это порода людей, они совсем не редкость и сейчас в правоохранительных органах страны.

Рашид не обращал на меня никакого внимания, как бы давая понять своим поведением, что мне предоставляется возможность немного прийти в себя и поразмыслить над превратностями судьбы, тогда как сам при этом сидел с абсолютно отрешенным видом. Он листал какой-то журнал с картинкой пациента, ожидающего приема личного массажиста. При моем появлении он как бы нехотя приподнял голову, поздоровался довольно-таки учтиво и вновь уткнулся в чтиво.

Я, когда меня ввели в этот кабинет, первое время боковым зрением еще наблюдал за ним, но, когда догадался о причине его молчания, решил заняться собой и привести свои мысли и внешний вид, насколько это было возможно, в порядок. Но не успел я подумать о том, что пауза вроде уж слишком затянулась, как неожиданно начатый и так же неожиданно прерванный монолог этого, бесспорно, образованного легавого застал меня буквально врасплох.

— Знаешь, Заур, — начал он, — был такой гелиопольский жрец, большой знаток истории, так вот он говорил, безусловно рассуждая цинично, а в те времена это считалось нормальным, что «если человека долго бить, он сделает все, что покажется

немыслимым его потомкам».

Я молчал, прекрасно понимая, куда он клонит, ожидая, что он скажет что-нибудь еще, но он по-прежнему весь ушел в чтение журнала, как бы вообще меня не замечая. Глядя на него без стеснения в упор, так чтобы он почувствовал на себе мой пристальный взгляд, я прикидывал, насколько глубоко он изучил мое личное дело, а что он в нем копался, у меня уже не вызывало никаких сомнений.

Так, в молчании прошло некоторое время, пока в кабинет не заглянул вертухай местного КПЗ.

— Что-нибудь нужно, уважаемый? — спросил он у Рашида.

— Да, — на секунду оторвавшись от чтения, будто он сверял по таблице номер своего лотерейного билета, надеясь на выигрыш, подняв голову, ответил он, — уведите, пожалуйста, арестованного.

Через несколько минут, сухо попрощавшись с Рашидом, я был вновь водворен в ту же камеру, откуда меня вывели час назад на допрос. Выходя из кабинета, я окончательно понял, какую тактику выбрал этот мусор. Ну что ж, подумал я, поживем — увидим, у кого нервы крепче да и фантазии побольше.

В лице такого рода легавых, как Рашид, я привык всегда видеть если не джентльменов, то, на худой конец, людей воспитанных, с которыми можно было играть в порядочные игры, зная, что они всегда играют по правилам.

Хотя наши органы правосудия такими людьми особо похвастаться никогда не могли и не могут, но, к сожалению, будущее показало, что я ошибся в своей оценке. Что же касалось тех легавых, которые встретились в течение этого дня и ночи на моем пути, то ничего нового в их методах допроса и поведении я не увидел.

В какие только истории в своей бурной молодости я не попадал, в каких только жизненных передрягах мне не довелось побывать, каких только умудренных опытом оперов я не встречал за это время, так что меня трудно было уже чем-то удивить или, тем более, застать врасплох. Я уже, наверное, пожизненно привык быть постоянно на стреме, никогда не расслабляясь.

Но мне не давало покоя слово «труп». Было ясно, что на меня вешают убийство, но к чему тогда весь этот маскарад? Я знал, что наши мусора далеки от школы актерского мастерства Петровки или Крещатика, зачем же им понадобилось без надлежащего опыта вести подобную игру со мной, человеком, который, и они хорошо это знали, окончил академию воровских искусств, причем не в Дагестане? Здесь было что-то не то, что-то серьезное, но что?

Всю эту ночь я почти не сомкнул глаз. Этот вопрос

неотступно преследовал меня, когда я хотел на время отключиться. Да и кумар в полной мере давал знать о себе. Я, конечно, старался не подавать виду, зная, как мусора могут сыграть на этом, но у меня это получалось с трудом.

Так в думках да в ломках и просидел я до следующего утра, забившись в угол камеры, впервые в жизни не имея даже понятия, в КПЗ какого города нахожусь в данный момент. Это было что-то новое в моей жизни и вносило в нее некоторую оригинальность бытия.

В коридоре начались движение и суета, обычные в утренние часы в заведениях, подобных этому. Я даже представлял, что там сейчас происходит, но к моей камере никто не подходил и даже около нее не останавливался. Вывод напрашивался сам собой: меня должны скоро выдернуть, на меня в этом заведении разнарядки нет.

И я вновь не ошибся. Как только прошел завтрак, а мне было слышно, как баландер собирал миски, за мной пришли те же два моих ночных провожатых земляка. При свете дня я успел разглядеть их получше. Это был очень популярный на Кавказе вид ослов; их внешность и характерные данные слишком хорошо известны любому, поэтому, думаю, не стоит обременять читателя их описанием.

На улице нас ждала целая свита из легавых и почему-то две машины. Вторая, подумал я, привезла кого-то. Знал бы я тогда, кого она привезла, не поверил бы своим глазам! Меня затолкали на заднее сиденье одной из машин, защелкнули на запястьях наручники, и я вновь оказался в компании этих дегенератов. Всю дорогу они смеялись и шутили со мной, употребляя исключительно черный юмор. Я молча наблюдал за тем, какое удовольствие доставляло этим идиотам издеваться над людьми в подобных обстоятельствах, и в который уже раз представлял, как я перерезаю им глотки, а они корчатся в смертельной агонии.

В общем, шел обычный обмен любезностями, только с моей стороны он был как бы немым, но не менее любезным. Я сидел между двумя мусорами и, как только мы тронулись в путь, помимо того, что прислушивался ко всему, еще и внимательно следил за дорогой, зная, что рано или поздно должен будет появиться знак — конец населенного пункта. Ведь должен же я был знать, где нахожусь! Хотя бы в каком городе? Я не ошибся, такой знак вскоре появился — оказывается, мы выезжали из города Сумгаит.

Еще в юные годы, частенько наведываясь в Баку к друзьям в гости или просто поворовать, мы отправлялись в дорогу поездом, так что этот маршрут мне был немного знаком. Я быстренько

прикинул в уме, каково расстояние от станции Насосная до Сумгаита, и у меня получилось что-то около 15 километров. Я ненамного ошибся, ибо расстояние составляло всего 10 километров. Но, вы меня извините, пытать человека на какой-то почти никому не известной станции, а потом еще и везти его за десяток километров в КПЗ, в другой город… Не лучше ли было, рассуждая здраво, с точки зрения мусоров конечно, проделывать все это в Сумгаите, как говорится, не отходя от кассы? К чему были все эти непонятные перемещения?

На этот и другие вопросы я найду ответ уже в самое ближайшее время, а пока, теряясь в догадках, я увидел, что автомобиль, замедляя ход, разворачивался возле хорошо знакомого мне белого здания штаба дружины. Я огляделся по сторонам, но толпы нигде не было видно.

Как и вчера, меня вновь ввели в тот мрачный кабинет, но вместо одного палача теперь их было уже двое — вторым был вчерашний молодой, но прыткий ментенок, этакое юное исчадие ада.

Продолжать описывать в подробностях то, что вытворяли в последующие пять дней, но уже дуэтом эти два палача, мягко выражаясь, мне не доставляет удовольствия. Поэтому, с позволения читателя, я опишу их в двух словах. С утра, как только я попадал к ним в руки, на мне не спеша испытывали весь имевшийся у них в наличии арсенал инструментов для пыток. За исключением одного, бутылки, — ее они оставили, чтобы, как они выразились сами, «позабавиться напоследок с упрямцем из Махачкалы».

Но тут они немного просчитались, точнее говоря, перестарались в своем усердии. Обычно до самого обеда с особым старанием они трудились по очереди, не покладая рук, честно отрабатывая свой хлеб. Меня особенно удивляло, откуда у еще совсем юного человека, каким по возрасту был молодой палач, было столько злости и ненависти к людям? В моменты, когда старый боров садился на меня, со связанными сзади руками, а этот молодой садист загонял мне иглы под ногти, я отчетливо видел каждый раз широкую улыбку на его лице. А по временам он даже радовался, бурно выражая свои эмоции, когда ему удавалось сделать мне слишком больно и я корчился на полу.

Да, видит Бог, что в те моменты невыносимой боли их безопасность была в моих наручниках. Если сначала я думал, что смог бы разорвать глотку одному палачу, то теперь я был абсолютно уверен, что они оба не ушли бы от этой участи, окажись мои руки свободными.

В обеденный перерыв меня выводили в парк, подводили к

специально подобранному для этой процедуры дереву и заставляли его обнять, что я и делал. Далее мне на запястья надевали наручники, с таким расчетом, чтобы, вплотную прижавшись щекой к дереву, я не мог даже пошевелить головой.

После этого они садились за столиком чайханы, которая стояла тут же неподалеку, пили чай и наблюдали за тем, как молодежь резвилась надо мной, забрасывая меня камнями, бутылками и окурками. Тот, кому было не лень, мог запросто подойти ко мне и ударить под зад ногой или дать увесистый подзатыльник. Думаю, нет надобности описывать то, что я испытывал после подобных процедур.

Много лет спустя мне на глаза попалась одна книга, из которой я запомнил, а потом и записал, чтобы не забыть, следующее: «…даже в обычае ирокезов было уважать жертву в том, что, по их мнению, было самым святым. Они не привязывали к столбу пыток своих врагов с намерением унизить и оскорбить их. Напротив, эта традиция ирокезов умерщвлять в самых жестоких пытках тех, с которыми они сражались, была признаком чести, от которой не должен отказываться мужественный противник».

Вот я и подумал тогда, а может быть, я зря столько лет питал в груди лютую ненависть и жажду мести на этих ничтожеств и не оказывали ли мне честь эти туземцы со станции Насосная?

После экзекуций меня обычно увозили в Сумгаит, в КПЗ. А здесь уже эстафету принимали надзиратели этого заведения. За все время пребывания там я постоянно находился в одиночной камере, но уже не в той, в которую был водворен первоначально, а в камере, которая была недавно побелена и, судя по внутреннему виду, находилась еще в ремонте. Нары были покрыты толстым слоем извести и грязи, но тряпку, чтобы вытереть все это, мне не давали. За шесть дней я не выкурил ни одной сигареты, не съел и крошки хлеба — мне его просто забывали приносить, о большем, думаю, нет надобности и говорить.

Глава 8
Чахотка

На седьмой день, когда в обеденный перерыв я вновь был привязан к дереву пыток, как мысленно я назвал его, один лихой деревенский молодец решил, видно, испытать на мне, окольцованном наручниками и еле стоящем на ногах, какой-то недавно выученный удар локтем, и он у него получился, без сомнения.

Через какое-то мгновение, после того как я почувствовал сильнейший удар под лопатку, изо рта у меня хлынул фонтан крови. Я чуть было не захлебнулся, но вовремя подбежавшие мои палачи, мирно почивавшие до этого за одним из столиков чайханы, успели меня отстегнуть от дерева, и я тут же рухнул на землю как подкошенный. Мне необходимо было несколько минут, чтобы отхаркаться и прийти в себя.

Когда я поднял голову после этих процедур, то понял, что они здорово испугались. По их поганым рожам было отчетливо видно, что они перестарались — приказа убивать у них не было. Я попросил, чтобы мне принесли соль и кружку с холодной водой. Просьба моя была тут же удовлетворена, и уже в следующее мгновение, размешав соль в воде, я выпил эту жидкость и остановил кровотечение старым лагерным способом.

Мусора меня теперь не трогали, я облокотился о дерево, с которым еще совсем недавно был обручен, и впал в чахоточное забытье. Через какое-то время за мной приехала машина, меня посадили на переднее сиденье, предварительно раздвинув его, и машина тронулась в путь. Говоря откровенно, мне уже было безразлично, куда мы едем и что будет дальше, потому что я чувствовал, что умираю.

Но, говоря «мы», я сильно преувеличивал. В машине, кроме меня и водителя, больше никого не было. Да и водителя этого я видел вроде впервые. Тем не менее на этот раз мне не стали надевать наручники и прикоцевать их к двери. Но легавые не были бы сами собой, если бы все же не подстраховались.

Следом за нами шла еще одна машина, в которой сидела вся основная свора мусоров. Рядом со мной стояла баночка, куда я плевал и отхаркивался кровью.

Водитель при каждом приступе кашля воротил рожу так, что мы несколько раз чуть не съехали в кювет и не перевернулись. Это была, безусловно, мусорская «торпеда». Хотя по возрасту он был не особо молод, значит, видно, дурак. Кому вот так, запросто

охота подцепить чахотку? А среди служивых приказ надо выполнять. Вот, видать, и приказали везти меня. Как мы добрались до Дербента, один Бог знает, потому что по дороге у меня опять фонтаном пошла кровь.

В Дербенте меня тут же отвезли в больницу, под присмотром легавых поместили в процедурку и поставили капельницу.

Всю ночь я то приходил в себя, то проваливался куда-то. И хоть дежурный врач и пытался убедить моих провожатых в том, что я нетранспортабелен и они могут меня не довезти живого, его никто не слушал.

Утром меня вновь посадили в ту же машину и в том же положении, что и вчера, повезли уже в Махачкалу. Никто со мной ни о чем не разговаривал, ничего не объяснял потому что теперь все они боялись даже подойти ко мне и заразиться туберкулезом. Но также видно было по их гнусным рожам, что они боятся все же, как бы я не умер без приказа.

Путь до Махачкалы был недолог, где-то через пару часов мы уже доехали до дома и меня доставили не куда-нибудь, а в КПЗ. Помню тогдашнего начальника этого заведения Махача, как он ругался с ними и как протестовал, зная наперед, каким может оказаться финал, но звонок его руководства поставил все точки над «и».

Меня определили в одну из камер этого бывшего застенка чекистов, где в свое время расстреливали тех, кто не был с красными в одной своре.

Через какое-то время приехала «скорая», мне привезли «аминокопронку» и сделали в вену укол хлористого кальция, чтобы остановить кровохарканье.

— Этого пока хватит, — сказал врач «скорой помощи», — но за ним нужно постоянное наблюдение!

— За это не беспокойтесь, — не без иронии ответил ему один из мусоров, он будет под самым что ни на есть пристальным наблюдением.

Глядя на этого мусора с некоторой долей удивления и брезгливости, врач попытался было объяснить ему, что в этих чудовищных условиях с такой болезнью не выжить.

— Ничего, ничего, доктор, вы еще не знаете его, — раздался в ответ противный и писклявый голос мусора. — Даже змея, его укусив, сама умрет. Не беспокойтесь за него, он живучий…

К сожалению, я не видел, кому принадлежали эти слова, потому что за мной уже закрылась дверь камеры.

С 25 апреля по 13 мая 1986 года я находился в камере махачкалинского КПЗ, пока меня не этапировали в тюрьму. За это время я немного пришел в себя. Ко мне каждый день приезжала

«скорая помощь». Мне делали уколы, даже умудрялись ставить капельницу в камере. В еде также не было отказа, хоть я почти к ней и не прикасался. В общем, по всему было видно, что я еще немного протяну, так, по крайней мере, характеризовал мое состояние один из вызванных мусорами врачей из числа постоянного персонала их госпиталя.

Только после этого объяснения доктора меня и решили направить в тюрьму. Прошел ровно месяц с того момента, как меня, можно сказать, мусора украли из дома.

С тех пор у меня не было общения ни с одним человеком из числа преступного мира. Поэтому моя радость была неподдельной, когда после стольких издевательств в Азербайджане я вдруг оказался в родной махачкалинской тюрьме, в камере-сборке. Человеку, не посвященному в перипетии преступного мира, связанные с местами заключения, это трудно будет понять. После карантина, буквально на следующий день, я уже был водворен в камеру, на этот раз это была тубхата.

Ровно 25 лет назад я переступил порог этой тюрьмы, и вот до сих пор, спустя столько лет, она не отпускала меня из своих жилистых и когтистых объятий.

Осознавать это было, конечно, прискорбно, но что поделать, такова была, очевидно, моя судьба. Вероятно, через все это я должен был пройти, хотя еще и не догадывался, что все только начинается.

Глава 9
Следствие как метод «плетения лаптей»

На первом же допросе, который пришел снимать с меня Боня после недельного пребывания в тюрьме, я узнал такие новости, от которых впору было лезть в петлю. Меня обвиняли не в одном, а в целых семи убийствах, да ладно бы еще меня одного, подельниками у меня, оказывается, были Лимпус и Иса Зверь.

Все семь трупов были трупами ментов, и происходили все эти убийства на территории двух республик — Азербайджана и Дагестана.

Дело в том, что ориентировались мусора на фотороботы, которые им предоставили работники правоохранительных органов Азербайджана, ссылаясь на якобы реальных свидетелей, видевших людей, как две капли воды похожих на нас.

Но не с опознаний подозреваемых, как должно было быть, начали свою работу мусора, а с самой натуральной показухи, нисколько не беспокоясь о возможных трагических последствиях.

Вот как это началось. Неожиданно в начале года вместе со своим автомобилем «Волга», на котором он занимался частным извозом, пропадает житель станции Насосная, работник вневедомственной охраны той же станции. По весне, когда с предгорья сошел снег и крестьяне вышли на виноградники, один из них, немой, обнаружил труп, изъеденный волками. Его нетрудно было опознать, и началось следствие.

Когда азербайджанские легавые поняли, что раскрыть это дело — дохлый номер, они прибегли к испытанному методу. Нашли таких свидетелей, которые, если надо, могли бы составить словесный фоторобот убийцы отца Гамлета и утверждать при этом, что они видели его своими собственными глазами.

«Случайно» оказалось, что лица, изображенные свидетелями на пленке, были схожи именно с нашими. Тогда мусора Азербайджана, узнав от своих дагестанских коллег, что схожие лица принадлежат матерым преступникам Махачкалы, попросили, чтобы они привезли этих людей на станцию Насосная.

Они аргументировали свою просьбу тем, что у них есть методы, которые могут разговорить даже мертвого. Таким образом два моих подельника были доставлены на станцию Насосная и подверглись тем же пыткам, что и я, но чуть раньше меня. Лимпуса и Ису мусора взяли за неделю до моего ареста.

Они бы взяли и меня с ними — наблюдение за мной велось днем и ночью, — но я был постоянно в окружении людей. А

попробовали бы они взять меня в этот момент, их бы разорвали на части, они это прекрасно знали и поэтому ждали удобного случая, и как читатель видит, он себя долго ждать не заставил.

Во время экзекуций на станции Насосная Лимпус, во избежание дальнейших пыток, думаю, читатель догадывается, о чем я говорю, загнал себе в живот супинатор и, так же как и я, был потерян на время для мусорского беспредела.

А вот бедолаге Исе пришлось столько натерпеться, что, не выдержав пыток, он сошел с ума, так, видно, и не поняв, за что его пытали.

Кстати, та толпа, которая рвала меня у порога белого здания «Штаба дружины» станции Насосная, были родственниками одного из убитых. Им сказали, что его убили именно мы.

Это были единственные люди, кого еще можно было понять во всей этой истории и на которых я не держу зла, хотя последствия их самосуда до сих пор дают знать о себе. Кто его знает, как бы я поступил на их месте? Но история, к сожалению, на этом не заканчивается.

Бояться смерти — это не что иное, как приписывать себе мудрость, которой не обладаешь, то есть возомнить, будто знаешь то, чего не знаешь вовсе. Ведь никто не знает ни того, что такое смерть, ни даже того, не есть ли она для человека величайшим из благ; между тем ее боятся, словно знают наверняка, что она величайшее из зол.

Чуть больше месяца я находился в тюрьме Махачкалы. За это время произошел целый ряд событий, которые в дальнейшем сыграли очень важную роль в моей жизни. Органы дознания двух республик решили объединить свои усилия для более продуктивной следственной работы по делу об этом множестве зверских убийств. Для этих целей к нам троим и были прикреплены четыре следователя. Двое были из прокуратуры Азербайджана и двое наши, из Дагестанской, — Борис Доля и Боня.

Для более надежной конспирации и во избежание утечки какой-либо информации, касающейся следствия, из стен изоляторов, все мы находились в разных тюрьмах разных городов, но только следователи знали, кто — где. Лимпус сидел в Хасавюрте, Иса — в Дербенте, а я — в Махачкале. Так что путь к общению был закрыт.

Лимпуса я видел последний раз на свободе перед кончиной моей матери, Ису — вообще не помню когда. С Исой мы особо и не общались. Знали друг друга постольку поскольку и близкими друзьями или приятелями никогда не были. Уже одно только это обстоятельство могло помочь следствию. Ведь даже абсолютный

дилетант в криминалистике мог бы согласиться со мной в том, что идти на такого рода преступления, совершая их с тонким расчетом и хладнокровием, не оставляя при этом ни одной улики, могли лишь люди, хорошо знающие друг друга и обязательно прошедшие вместе хоть какую-то часть жизненного пути.

Но увы! Глядя со стороны на ход следствия, можно было сделать два вывода. Первый, наиболее приемлемый для людей честных, — это отсутствие надлежащего опыта у следственной бригады, что касается второго, то он напрашивался сам собой. Ибо, копнув немного глубже, я имею в виду показания свидетелей, множество экспертиз, косвенных улик и прочего, становилось ясно, что мы никак не можем быть виновниками этих преступлений. «Против нас» были лишь фотороботы. Но так ли велика роль каких-то там фотороботов, составленных неизвестно кем, когда нет ни единой улики? Даже в том случае, если бы мы и брали всю вину на себя. Как можно было нас содержать столько времени под стражей, да еще и зверски пытать?

Ответ напрашивался сам собой. Перед следственной бригадой стояла одна, я подчеркиваю, одна задача: любыми путями раскрыть преступление. Именно так и обстояли наши дела, и свала у нас не было почти никакого, разве что в могилу. Но мы еще обо всем этом ничего не знали и не догадывались даже, что ждет нас впереди…

За это время я немного оклемался в тюрьме. Мне, как и всем больным туберкулезом, делали уколы, выдавали лекарства из тех, что имелись в тюремной санчасти, и все бы могло быть неплохо. Может, я и не вылечился бы совсем — от чахотки просто так не вылечиваются, а в тюремных условиях тем более, но уж немного поправился бы точно, если бы, к сожалению, злой рок вновь не дал о себе знать.

Чуть ли не каждый день меня вызывали на допрос к разным следователям, но толку от этого было мало. Разговаривать — да, пожалуйста, я охотно с ними общался, мог поддержать разговор на любую тему, но не более. Я знал по опыту прошлых лет, что стоит только подписать хоть одну абсолютно неважную бумажку, и следователь сразу тебя затянет в такую бумажную волокиту, из которой очень трудно будет выбраться, а главное — разобраться, что к чему и что же надо предпринять в том или ином случае. А тем более когда у тебя не один, а целых четыре следователя, да еще из прокуратур двух республик…

Что же касалось адвоката, если таковой был у вас, то его вы могли увидеть и пообщаться с ним только лишь в зале судебных слушаний, да и то за несколько минут до начала процесса.

Как я узнал много позже, между мусорами существовала

договоренность, не знаю, правда, официальная, письменная, устная или еще какая, о том, что если следственные органы Дагестанской прокуратуры не смогут раскрыть эти преступления, то мы втроем будем препровождены в Азербайджан и уже в тамошних местах заключения над нами будет продолжаться следствие.

Естественно, обо всем этом никто из нас ничего не знал, зато это хорошо помнили наши следователи, тот же Боня. Его мусорское тщеславие не могло смириться с тем, что он здесь не может раскрыть такое громкое дело, за которое вполне можно получить внеочередное повышение по службе, а в Азербайджане его раскроют — и все лавры победителей уйдут к азербайджанским коллегам.

Что поражает в этой связи, так это цинизм и полная деградация человеческого начала в этом ничтожестве. Он не то что предполагал, нет, он был просто уверен, он знал абсолютно наверняка, что после пыток в застенках «бакинского гестапо» никто не сможет устоять и скажет все, что от него потребуют. Вплоть до того, что сможет продать даже родную мать. И это, читатель, не мои домыслы, все это и многое другое говорил мне сам Боня, когда чуть позже этапировал меня в своей машине в Баку.

Но пока я был еще в Махачкале, он решил попытать свое мусорское счастье и написал запрос, чтобы меня вывезли из тюрьмы в КПЗ якобы для проведения следственного эксперимента, а в действительности чтобы применить ко мне силовые методы допроса. Ведь в самой тюрьме такие действия были исключены. Мало того, если вас привозили из КПЗ с какими-либо явно выраженными побоями, следственный изолятор вас не принимал. Поэтому эта мразь решила вывезти меня из тюрьмы и самой испытать действие игл, когда их загоняют под кожу. Ему не показался особо убедительным тот аргумент, что мои пальцы после станции Насосной были не особо покалечены. «Они у тебя, как у женщины, Зугумов, маленькие и, видно, очень нежные. И как ты ими только воровал? Ну ничего, будь уверен, что после моего разговора с тобой тет-а-тет они будут у тебя как лапы у гуся — вообще без просветов между пальцами», — нечаянно проговорился мне Боня, находясь в крайней степени возбуждения. Впрочем, в тюремном кабинете следователя он боялся проявлять по отношению ко мне какие-либо насильственные действия. Во-первых, потому, что знал: я ему не позволю над собой здесь издеваться и, обладай он хоть силой циклопа, смогу дать ему достойный отпор, а во-вторых, не стоило поднимать лишний шум заранее.

Какой именно следственный эксперимент собирается он провести в ближайшее время, вывезя меня из тюрьмы в КПЗ, угадать, конечно, было несложно. После предыдущих подобного рода экспериментов я еле сжимал кулаки, под ногтями на обеих руках постоянно собирался гной и мне доставляло массу хлопот выдавливать его оттуда. В тюрьме любые, даже мало-мальские проблемы возрастают до невероятных размеров, а подобная этой — тем более. Вышестоящее начальство шло следователям на любые уступки, главное, чтобы они были оправданы.

Таким образом, в начале июня, еще с вечера наутро меня заказали слегка. На языке надзирателей тюрьмы это слово означает «вывоз из тюрьмы, но недалеко». Этим «недалеко» могла быть поездка в суд, на следственный эксперимент или в КПЗ к следователю на очные ставки или какие-то другие действия — в общем, в пределах города. Я сразу понял, куда и зачем меня выдергивают, и был, конечно, к этому уже давно готов.

Глава 10
Уж лучше «вскрыться», чем накрыться

Наутро следующего дня меня привезли в КПЗ, как я и предполагал, а после обеда появился и сам Боня. Приехав в КПЗ, я решил не применять сразу крайних мер, а на всякий случай промацать почву, то есть действительные намерения этого легавого. Под сочетанием «крайние меры» я подразумевал мойку, то есть маленький кусочек лезвия, который был постоянно при мне. С годами я до того привык к этому непременному аксессуару карманника, что забывал иногда вытаскивать его изо рта, и порой ел и спал с ним во рту.

К сожалению, в намерениях этой падали я не ошибся. Как только был выделен отдельный кабинет, он тут же пригласил одного молодого мусоренка, который ждал его приказаний в коридоре. Хоть на меня и были надеты наручники, все же, зайдя в кабинет, а дверь находилась позади меня, этот не по возрасту шустрый легавый шныренок без лишних вопросов молча и со знанием дела привязал меня к стулу, зайдя неожиданно сзади и закинув веревку вокруг меня так, как в американских боевиках киллеры накидывают удавку на шею жертве. После того как я был крепко привязан к стулу, он так же молча вышел из кабинета, как и вошел в него.

Начал Боня допрос с того, что потихоньку, гуляя по кабинету из стороны в сторону за моей спиной, читал мне какие-то нравоучения и периодически при этом хлестал меня ладонями то по голове, то по лицу, приговаривая какую-то козью прибаутку. Если же исходить из того, что рука у этого стапятидесятикилограммового гада была под стать его комплекции, то, думаю, нет смысла описывать мои душевные и болевые ощущения.

Когда примерно через полчаса он присел на стул напротив меня, я был измотан как душевно, так и физически. В голове у меня шумело, как на берегу моря шумит прибой, но это состояние депрессии все же не мешало мне думать.

Достав из черного потертого портфеля сверток из белой тряпочки, Боня демонстративно развернул его в нескольких сантиметрах от моего лица. Увидев, как на белом лоскуте материи засверкали две отполированные до блеска, тонкие сапожные иглы и какие-то маленькие, женские, похожие на маникюрные ножнички, я понял, что все еще только начинается и мне нужно всего лишь выиграть немного времени, чтобы не дать возможности этой мрази издеваться надо мной. Но как его

выиграешь у этого ничтожества? И я решил разыграть маленький спектакль.

Хоть и было мне тогда противно до тошноты, но все же пришлось ломать перед этой падалью комедию. Как я предполагал, так оно и произошло. Этот демон съел наживку, которую я закинул ему и даже, в благодарность за мое будущее сотрудничество, в виде награды дал мне в камеру пачку сигарет. Мы условились о том, что сейчас он отправит меня до вечера в камеру, а уже вечером я дам ему интересующий его расклад. Я аргументировал это тем, что мне якобы нужно было немного подумать и выбрать свою позицию в делюге.

Предвкушая вечерний триумф и предполагая, наверное, что он самый умный среди всех мусоров, участвующих в разработке дела, этот дебил отправил меня в камеру, простившись со мной до вечера.

Но как бы то ни было, он все время был начеку, потому что надзиратель снял с меня наручники только у дверей моей камеры. Как только я попал в свою обитель, а сидел я вновь в одиночке и, по счастливой случайности (потому что я за полмесяца изучил в ней каждый угол), в той же камере, что и месяц назад, я первым делом закурил и прилег на нары немного развеяться. Я знал, что надзиратель будет еще некоторое время стоять рядом с камерой, ожидая, не выкину ли я какой-нибудь фортель, пока не убедится в том, что я прилег отдохнуть, а затем отойдет ненадолго. В этом заведении слишком хорошо знали, на что я могу быть способен, особенно по части постановки спектаклей и разного рода фортелей. На этот счет надзиратели КПЗ были тщательно проинструктированы своим начальником Махачем.

О чем думал вертухай в тот момент, когда я услышал его крадущиеся, удаляющиеся от моей камеры шаги, я не знаю. Наверно, о том, что может сделать этот несчастный в абсолютно голом подвальном помещении, когда у него отобран даже носовой платок?

Но он и не догадывался, что, для того чтобы они не боялись за мою безопасность, им нужно было как минимум вырвать мне обе челюсти. Так что пока вертухай ходил куда-то, я шустро разделся по пояс, достал лезвие и первым делом перерезал себе вены на обеих руках, затем располосовал живот и уж потом зацепил с правой стороны шкуру на горле и писанул мойкой так, чтобы рана была как можно шире.

Я прекрасно знал из тюремного опыта, потому что сам не единожды вскрывал себе вены, что даже если ко мне долгое время никто не придет, я не истеку кровью. Со временем кровь

свернется и остановится.

Правда, все зависело от того, как порезаться, но технологию членовредительства я хорошо изучил в заключении еще малолеткой, а затем специализировался на разных режимах. Поэтому в моем положении я ничем не рисковал, только выигрывал.

Если бы, конечно, я был среди северных шакалов ГУЛАГа, то боже упаси было заниматься там членовредительством, потому что эти твари давно потеряли всякую человечность.

Они умудрялись даже порой посыпать песочком кишки, когда кто-нибудь, не выдержав давления стен камеры, распоров живот, вываливал их через узкую щель между полом и дверью в коридор. Я уже не говорю о том, как они относились к тем, кто резал вены и горло.

Но здесь, в Дагестане, менты еще не стали бесповоротно и окончательно бесчеловечными скотами. Некоторые из них не могли себе даже представить такое отношение к людям. И это, безусловно, вселяло робкую надежду в таких людей, как я.

В общем, картина, которую застал мой нерасторопный надзиратель, была более чем впечатляющей.

Что здесь началось! Сбежалось все начальство всего отделения милиции. А КПЗ находилась тогда в подвале двора Ленинского райотдела. Я лежал с закрытыми глазами, по-колымски наблюдая через тоненький просвет между ресниц за тем, что происходит вокруг, и временами еле сдерживал улыбку. До такой степени смешно выглядели некоторые легавые, которые сбежались в подвал КПЗ, но не потому, что произошел сам факт членовредительства одного из подозреваемых, а потому, что они хотели впервые увидеть преступника, перерезавшего себе горло и живот, чтобы, придя домой, рассказывать об этом домочадцам. Как они были наивны!

Но всем хотелось бы, конечно, чтобы именно таких работников правоохранительных органов было у нас побольше. Ибо сегодня им как раз той человечности, что была раньше у их коллег, и не хватает.

Но вернемся в камеру КПЗ, откуда немедленно вызванная «скорая помощь» везла меня уже в «бессознательном» состоянии в первую городскую больницу. Сзади «скорой помощи» ехал милицейский «бобик», а замыкала этот необычный эскорт машина начальника КПЗ Махача.

Пользуясь случаем, хочу отметить, что во всех отношениях Махач, хоть и был ментом, да еще и начальником КПЗ, оставался всегда добрым и порядочным человеком, что бывает очень редко. А знали мы друг друга не один десяток лет. Привезя в больницу,

меня вынесли на носилках из машины скорой помощи и положили на стол в приемном покое, все еще «без сознания».

Здесь, так же как и в КПЗ, посмотреть на меня сбежался чуть ли не весь персонал. В один момент слух о том, что привезли серийного убийцу, который сам решил покончить с жизнью, да еще таким варварским способом, облетел всю больницу. Но и мусоров с большими звездами понаехало немало.

В общем, получился неплохой спектакль, честно говоря, я и не рассчитывал на такой эффект. Меня подлатали чуток, аккуратно обработав все раны, дали понюхать нашатырного спирту, и я как бы пришел в себя.

Глава 11
Бороться, чтобы выжить

Первым ментом, которого я увидел возле себя, был Зубайруев. Мы знали друг друга тоже очень давно. Не вдаваясь в какие-либо дебаты, а он один, по-моему, хорошо меня понял, он тихо проговорил:

— Заур, я тебе обещаю, что отсюда тебя повезут в тюрьму. Не выкидывай, пожалуйста, больше никаких фокусов, о которых тебе впоследствии придется здорово пожалеть.

Он стоял прямо у моего стола под лампой и говорил тихо, чтобы его никто не мог услышать. Я так же тихо ему ответил:

— Ты разве не видишь, в какой капкан затянули меня эти гады?

— Я все вижу и знаю очень многое. Ты знаешь меня, Заур, я к тебе всегда хорошо относился, поэтому позволь дать тебе совет. Когда после этих процедур приедешь в тюрьму, хорошенько подумай, как тебе в дальнейшем противостоять ложному обвинению, если оно действительно является таковым, и бороться, чтобы выжить. Еще раз запомни: бороться, чтобы выжить! Сильные люди борются, не занимаясь членовредительством, а думая головой. Впереди тебя ждут очень большие испытания, и не здесь, на родной тебе земле. Готовься к ним, они уже не за горами, но я тебе этого, естественно, не говорил, понял? Когда сможешь подняться, внимательно посмотри на наше начальство, стоящее за моей спиной, которое приехало сюда, как только узнало, что ты пытался покончить жизнь самоубийством, и тебе многое станет ясно. И еще одно: запомни, с детства зная тебя, я не верю в то, в чем тебя обвиняют, кстати, так же как и многие другие работники.

— Добро, — ответил я ему по-прежнему тихо, по-заговорщицки. — Я тебе верю, не бойся, все будет «ровно».

Зубайруев был единственным ментом, который за все это время сделал для меня не одно, а сразу два добрых дела. Во-первых, он дал мне очень дельный совет, а во-вторых, сказал правду о том, что меня ожидало в самом скором будущем. А эти сведения в моем положении были намного важнее, чем обычная информация о перемещении заключенного, то есть о моем перемещении.

После всех процедур, связанных с оказанием мне медицинской помощи, я, как и обещал мне Зубайруев, без всяких остановок все с тем же эскортом был доставлен прямо в

следственный изолятор номер один, то есть в тюрьму Махачкалы. Среди ночи, что было крайне редко, меня бросили в ту же камеру, из которой еще утром вывозили в КПЗ, но уже перебинтованного с головы до ног в буквальном смысле этого слова. Как тюремные надзиратели, так и сами заключенные, которые находились со мной в одной камере, были нимало удивлены и не могли понять, как тюрьма могла принять меня в таком виде?

За все то время, которое мне осталось еще просидеть в этой тюрьме, меня ни разу ни к кому не вызвали, все было тихо и спокойно, но я знал, что после этого видимого спокойствия и тишины неминуемо последует буря.

Глава 12
Сафари с Боней

Примерно через неделю после описанных только что событий я получил маляву по тюремному телеграфу. Когда я ее вскрыл, то был настолько удивлен ее авторством, что сразу и не понял написанного. Малява была от Шурика Заики. Оказывается, не на шутку взявшиеся за раскрытие этого преступления легавые, обнаружив из источников, одним им ведомых, что последние годы на свободе я общался с Заикой и Лимпусом, решили этапировать Шурика из Свердловской области, с «Азанки», где он отбывал четыре года срока, в Махачкалу, в надежде на то, что Шурик прольет какой-либо свет. В действительности же менты прекрасно сознавали, хорошо зная Заику, что если даже Шурик что-то и знал, он ни под страхом смерти, ни под пытками никогда не выдал бы друга. Так что для человека, понимающего толк в мусорской кухне, было ясно как белый день, что этот вызов бродяги чуть ли не с края света был лишней галочкой в отрабатывании версий по делу о громких убийствах.

Даже с точки зрения основ криминалистики, мы никак не подпадали под убийц, потому что были ворами и даже никогда не были осуждены за что-либо иное. В этой маляве было еще немало новостей как об обитателях северных острогов, так и о жизни преступного мира в целом.

Я в тот же день ответил Шурику на его маляву, пытаясь одним нам понятным языком объяснить кое-что, но ответа, к сожалению, не дождался.

На следующий день, сразу после утренней поверки, меня заказали с вещами, а это означало дальний этап. А уже чуть позже, ближе к обеду, я был вновь на дороге, ведущей в Азербайджан. Перипетии судьбы, как я и ожидал, продолжались, но теперь уже больших пауз в разнообразии и поворотах событий не было.

Как только меня вывели из камеры, я тут же очутился в «Жигулях» шестой модели, которые стояли во дворе тюрьмы. Хозяином машины был не кто иной, как следователь Боня. В принципе нетрудно было об этом догадаться, ибо я все время ожидал, что когда-нибудь, он все же отомстит мне. И вот, видно, случай, которого он так долго ждал, ему наконец и представился.

Как и во время предыдущей нашей поездки, меня приковали наручниками к дверце машины, только на этот раз обеими руками. Так что мне пришлось вплотную прижаться к двери,

согнув голову почти до колен. Руки были перебинтованы, с ран от порезов еще даже не успели снять швы. На животе, правда, швов не было — у меня не получилось такой маленькой мойкой добраться до кишок, но несколько порезов были ощутимы, так что живот, как и горло, был перевязан, и от этого я был неуклюж и неповоротлив.

Но куда мне было деваться? Приходилось молча терпеть. Еще в самом начале пути я спросил его:

— Ты что, Боня, не боишься заразиться, ведь у меня туберкулез в открытой форме?

На что он цинично и с ядом в душе ответил мне:

— Даже если ради того, чтобы снять с тебя шкуру и поймать кайф от твоих страданий, мне пришлось бы утопиться в болоте вместе с тобой, я бы пошел на это, а что такое туберкулез? Плевать я на него хотел, лишь бы иметь удовольствия видеть твои страдания и слышать твои мольбы.

— Ну уж второго ты от меня никогда не дождешься, — тут же ответил я ему.

— Не спеши говорить «гоп», пока не перепрыгнешь, урод. У тебя все еще впереди. Насосная была всего лишь маленькой прелюдией к большому концерту, ты еще не видел настоящих палачей.

В какой уже раз мне давали понять, что меня ожидают еще более суровые испытания, чем те, через которые я уже прошел, говорили о них прямо в лицо, нагло, да к тому же с ничуть не скрываемым злорадством. Ну что ж, я был ко всему уже давно готов, откровенно говоря, даже устал в ожиданиях.

Но мне было абсолютно непонятно, откуда у этого человека, который сидел за рулем и глядел на меня с такой злостью и презрением, накопилось на меня столько яда? Ведь я его раньше никогда не видел и не знал о его существовании вообще. Тем более что работал он в Каспийске…

В этой связи мне вспомнились слова одного мужика, который сидел со мной в одной камере в Махачкале. Он рассказывал про Боню, а они были знакомы с детства, что этот легавый всегда был оборотнем. Те, кому приходилось сталкиваться с ним по работе и кто хорошо знал его и не боялся, никогда не здоровались с ним первыми, а если была такая возможность, то вообще избегали встречи с ним.

В среде уголовного мира, в том районе, где он работал, он старался завоевать себе дешевый авторитет у криминальных воротил, и ему это со временем в какой-то степени удалось. Считалось, что если нужно поговорить по душам с кем-либо из криминальных авторитетов, то к нему начальство обязательно

посылало Боню. Ну а тот, естественно, в таких случаях никогда не терял возможности поднять свой авторитет, стараясь быть хорошим и для тех и для других.

Одним словом, он был обыкновенной милицейской проституткой. И в руках такой мрази были судьбы нескольких бедолаг, которым была уготована судьба если не мучеников, то «терпигорцев», это точно.

Безо всяких остановок где-либо по пути мы добрались до границы двух республик — Дагестана и Азербайджана. Немного углубившись на территорию Азербайджана, Боня решил заправить машину. В этом месте всегда стояло много транзитных машин и была масса народу. Здесь была заправка и несколько магазинов.

Что касается природы, то места здесь бесподобны по красоте. Лесной массив сменялся горным ландшафтом, а если устремить свой взгляд немного выше, он уже останавливался на заснеженных вершинах Главного Кавказского хребта. Природа по всей федеральной трассе Ростов — Баку, которая проходила через несколько республик Кавказа, издревле славившихся уникальностью флоры и фауны, абсолютно и чарующе неповторима в своем разнообразии.

Место, где мы остановились, было одним из них. Здесь бил целебный горный источник, такой, каких не было во всем Азербайджане. Источник прятался чуть в стороне от людской суеты, в тихом месте в окружении нескольких плодовых деревьев.

Мы подъехали к нему сразу после заправки, и, выйдя из машины, Боня припал к фонтанчику с живительной влагой, как заблудившийся путник в пустыне, вдруг увидев источник жизни, наслаждается даром Всевышнего.

Для этого ему пришлось лечь и упереться руками в землю. Вся эта картина была в метре от меня, я наблюдал за ним и ждал, когда он, напившись, вспомнит и обо мне. Была самая жаркая летняя пора на Кавказе, в пути мы пробыли уже около четырех часов, и меня мучила жажда ничуть не меньше, чем этого борова.

Утолив жажду, он снял рубашку и майку и, ополоснувшись из маленькой лужицы у родника, присел возле источника. Достал пачку сигарет, демонстративно вынув одну, закурил и, затянувшись с видимым удовольствием, ехидно улыбаясь при этом, спросил у меня с сарказмом:

— Заур, ты случайно не голоден?

Я сразу понял, каковы будут дальнейшие действия этого ничтожества, а потому, отвернувшись, чтобы не выдать своих чувств, ответил ему по возможности спокойно и с достоинством:

— Нет, Боня, спасибо, все нормально, можешь ни о чем не

беспокоиться.

— Ну, может, ты водички хочешь попить, Заур? Смотри, какая она здесь прозрачная и холодная, или сигаретку выкурить? Ты только скажи, не стесняйся.

— Я же тебе сказал, что не хочу ничего, кроме того, чтобы ты оставил меня в покое, — ответил я, уже почти теряя терпение.

Помимо того что меня мучила жажда, я еще находился в таком состоянии, что все мое тело взывало об отдыхе.

Я согнулся в три погибели. Видит Бог, от взрыва бешенства в тот момент меня спасла молитва. Я просил у Всевышнего лишь одного — чтобы Он дал мне терпение. Слава Аллаху, Он, как ни странно, внял моим мольбам, хотя я был уверен в том, что Он от меня давно отвернулся.

Послышались протяжные звуки клаксонов, кто-то помахал Боне рукой, и, даже не останавливаясь, конвойный эскорт проследовал далее. Не торопясь Боня набрал в несколько бутылок воды, постучал по передним колесам машины, несколько раз искоса взглянув на меня, как бы ведя борьбу с самим собой, а затем резко сел в машину и рванул с места, что-то бурча себе под нос.

Начало, заложенное в его душу дьяволом, видно, взяло верх над человеколюбием, ничего другого в принципе я и не ожидал.

В Баку мы прибыли, когда уже было совсем темно. С утра, как только меня вывели из здания тюрьмы в Махачкале и уже ночью, когда водворяли в камеру Шаумяновского отделения милиции города Баку, я постоянно находился на одном и том же месте — на переднем сиденье машины, пристегнутый наручниками к ручке дверцы.

Я проделал весь путь в машине этого изверга в полусогнутом состоянии, почти всю дорогу лежа головой на своих коленях, с повисшими на наручниках руками. Эта мразь ни разу не дал мне даже глотка воды, не отстегнул наручники даже на минуту, я уже не говорю о каких бы то ни было других послаблениях, которые положены этапируемому преступнику.

Трудно передать на листе бумаги, какое я почувствовал облегчение, когда с меня были сняты эти проклятые наручники. На запястьях рук кожа была стерта до крови, но я не чувствовал от этого боли, я чувствовал скорей блаженство от того, что их больше нет на руках. Я оказался, видно, в камере-каталажке, потому что здесь только вдоль одной стены была расположена узкая скамья. Никогда не забуду то наслаждение, с каким я растянулся на этой «перине». Никто из дежурного персонала этого отделения милиции так и не подошел ко мне и ни разу не потревожил за эту ночь. Я слышал, как в дежурной части менты

что-то орали во все горло, и уже сквозь пелену сна вспомнил, что недавно начался чемпионат мира по футболу, и, видно, вся дежурная часть болеет за кого-то.

Глава 13
Одиночка

На следующий день перед обедом на меня опять надели наручники и отправили в Бакинский городской отдел милиции, в КПЗ, которая находилась в подвале этого пятиэтажного здания.

Камера, куда меня посадили, была просторна и походила на огромную гробницу, освещенную двумя очень маленькими окнами, в изобилии снабженными решетками, сквозь которые скупо сочился дневной свет. Никогда — ни до, ни после этого за всю мою тюремную жизнь я больше не встречал таких огромных камер КПЗ. В ней могло бы запросто поместиться человек тридцать, но в этот раз я находился здесь один. Так в одиночестве в этой камере мне пришлось просидеть чуть больше месяца, пока меня не перевели в другую, к людям, но какое это было время, не дай бог врагу его пережить! Сколько мне пришлось натерпеться и испытать за этот месяц с лишним, знаю лишь я и Всевышний. Я никогда до этого никому не рассказывал о том, через какие муки нам пришлось пройти тогда с моим подельником Лимпусом, находясь в этом проклятом месте. Даже между собой для нас с Лимпусом эта тема всегда была закрыта, и если я решил рассказать о ней на страницах моей книги, значит, на это у меня появились свои причины.

Одна и самая главная из них — это, пожалуй, предостережение молодежи от необдуманных поступков, которые могут в конечном счете привести их либо в камеру смертников, либо к праотцам. Сейчас пришло как раз такое время, о котором даже и не подозревали, что оно может наступить, не только правоохранительные органы, но и преступный мир. Думаю, что мои слова в этой связи на страницах книги более чем актуальны, они просто очевидны.

Жить, а точнее сказать, страдать, я начинал в три часа ночи. Именно в это время меня, сонного и измученного предыдущими допросами, выводили из камеры и вели на третий этаж, где и располагался главный офис легавых Азербайджана по выколачиванию показаний и всего того, что касалось самого что ни на есть грязного белья в отношениях людей между собой. Могу с уверенностью сказать, что с точки зрения тех, кто организовал этот «пыточный процесс», если будет позволительно так выразиться, он вполне оправдывал надежды его организаторов. Из ста процентов «раскрываемости преступлений», «явок с повинной», «правдивых показаний» и прочей противозаконной

показухи, думаю, что 90–95 процентов были его прямым и непосредственным результатом.

Но что было характерно, здесь, за очень редким исключением, почти никогда не били, здесь только пытали. В кабинете, куда меня вводили долгое время и интерьер которого я запомнил на всю оставшуюся жизнь, не было ничего примечательного на первый взгляд. Стол, стулья за столом и вдоль стены, сейф, рядом табурет, правда зачем-то закрытый куском материи.

Лишь одно могло показаться странным — это крюк, вбитый в стену. Но для постороннего глаза увидеть его было практически невозможно. Когда его нужно было задействовать, в кабинет никого из посторонних не пускали, да они практически и не могли туда попасть, потому что крюк начинал применяться по своему прямому назначению с трех часов ночи. Что касается табурета, то это был знакомый читателю стул-бутылка, который до поры до времени стоял в углу, закрытый от посторонних глаз простыней.

Все остальные подручные средства были скрыты от посторонних глаз в сейфе, да и было-то их немного. Несколько сапожных игл для «подногтевого массажа», набор оригинальных щипчиков на заказ, чтобы вырывать ногти, когда они совсем уже и не ногти, а что-то совсем не похожее на них. А вот маленький никелированный молоточек психиатра — его использовали здесь, чтобы дробить коленные чашечки несговорчивым и молчунам. Тонкий шелковый шнур с эбонитовой палочкой посередине служил для того, чтобы затягивать им голову до тех пор, пока тот, к кому он был применен, либо говорил то, что было нужно палачам, либо молчал, а шнур при этом медленно затягивали до тех пор, пока это вообще было возможно. После частых подобного рода процедур головные боли в лучшем случае преследовали человека всю жизнь.

Глава 14
И снова пытки…

Когда через месяц с лишним меня перевели в камеру, где я увидел кого-то, кроме ментов, я чуть не заплакал от счастья. А этот «кто-то» был Володей Барским, с которым впоследствии мне пришлось сидеть в тюрьме «Баилово» в одной камере и не один день. Но об этом чуть позже. За все то время, что меня пытали, я совершенно оглох и почти ослеп. Каждый раз, как только меня заводили в кабинет или камеру пыток, как кому будет угодно определить это место, одна засвеченная молодая легавая мразь, видать еще только стажер у палачей, сыпала мне в глаза какой-то серый порошок, и я почти ничего не видел весь процесс пыток. Но зато изначально мне в полном комплекте показывали весь набор «инструментов», который был у них в наличии.

Как много позже мне объяснили люди, сведущие в подобного рода вопросах, порошок этот был безвреден. Полученный в каких-то секретных лабораториях соответствующих ведомств, он применялся обычно как психотропное средство. Считается, что человек, знающий, чем его пытают, но плохо видящий сам процесс пыток, больше склонен к подавленности и угнетению, а значит, и к «откровению», что, естественно, и было самым главным для тех, кому нужна была определенная информация от этого человека. Конечно, подобные средства применяли не ко всем, но, видно, семь убийств были весомым аргументом для их применения. Так что после всего этого кошмара людям, для того чтобы общаться со мной, нужно было первое время орать или показывать мне что-то на пальцах. Ногтей у меня не было вообще ни одного ни на руках, ни на ногах, а между пальцами абсолютно не было просветов, так они опухли. Я зашел в камеру на полусогнутых, потому что чашечки на коленях были если не раздроблены, то сильно покалечены. Нос уже в который раз был переломлен в нескольких местах, а изо рта вновь, как и некоторое время назад при подобного рода экзекуциях, потихоньку шла кровь.

В принципе от позора пытки через бутылку меня вновь спасла, как ни странно, чахотка. В начале второго месяца пыток у меня неожиданно вновь хлынул фонтан крови изо рта, и легавым ничего не оставалось делать, как прекратить пытки и перевести меня в общую камеру, чтобы я был на виду. Они уже давно поняли, что от меня ничего не добьются, но жажда крови, видно, брала свое. Так что на этот раз поистине актуальной оказалась

поговорка «не было бы счастья, да несчастье помогло».

Когда говорят о ком-то: «он родился в тюрьме», то это, видно, про меня. В камере, куда меня поместили к пока еще только задержанным арестантам, я понемногу стал приходить в себя. Общение с людьми и относительный покой давали свои ощутимые результаты. Но и на этом этапе следствия мусора все же не могли совсем оставить меня в покое. Каждую неделю из Махачкалы приезжала смена следователей, которые выводили меня, но не наверх, на третий этаж, — этот этап уже был пройден, — а в кабинеты для допроса в подвале самого КПЗ, и здесь держали по нескольку часов для отчета, положив передо мной чистый лист бумаги с ручкой и включенный магнитофон с микрофоном, направленным на меня. Иногда, когда им надоедало мое молчание, а я уже вообще не разговаривал ни с кем из легавых, меня просто одним хлестким ударом сбивали с табурета и, когда я лежал без сознания, тонкой струйкой лили в ухо либо воду, либо чай. Это занятие, кстати, было любимым времяпрепровождением Бони в часы скуки.

Несколько раз меня вывозили из КПЗ, в отделение милиции Шаумяновского района. Здесь у местных мусоров тоже было свое разнообразие пыток: они надевали наручники на руки и ноги и били маленькими рейками по пяткам. Эффект от этого рода издевательств был всегда налицо. Я неделями не мог стать на ноги, а учитывая разбитые коленные чашечки, сделать это было вообще адскими муками. Но бить или применять какие-либо другие недозволенные методы легавые этой ментовки, видно, боялись. Один мой вид говорил им о том, что еще немного усилий — и они будут общаться с трупом. Да я и был уже давно трупом, правда, еще кое-как ходячим.

Как ни странно, но единственное утешение, не считая разговоров с некоторыми из задержанных, мне давало общение с мусорами самого КПЗ, хотя слово «мусора» здесь вряд ли уместно.

Все то время, что я находился в КПЗ, независимо от того, пытали ли меня наверху, на третьем этаже, и сидел один, или уже после пыток, когда я находился в общей камере, они не оставляли меня без человеческого внимания и теплого отношения.

В чем оно выражалось, спросите вы? В моем положении это было вообще неоценимо. В отличие от КПЗ Махачкалы, где в то время несчастной матери или жене приходилось стоять сутками у стен милиции, для того чтобы передать теплую одежду своему близкому, и ни о чем другом не могло быть и речи, здесь, в Баку, было все по-другому. Раз в сутки в шесть часов вечера любой желающий мог принести арестанту передачу, и ее принимали

беспрекословно. Так вот, все смены надзирателей КПЗ без исключения собирали с каждой передачи понемногу, конечно, с согласия самих арестованных, и приносили это мне, поддерживая таким образом мое существование. Если бы не их заботы, вряд ли я, с открытой формой туберкулеза, мог долго протянуть на скудных хозяйских харчах. Я был тронут и благодарен людям, которым за подобное внимание ко мне грозило самое малое — увольнение с места службы.

Иногда надзиратели даже выводили меня ночью в коридор, заводили в те же кабинеты следователей, только теперь здесь сидели за столом арестованные за что-либо высокопоставленные бобры. Мы вместе распивали коньячок, закусывали его лимончиком и мило беседовали друг с другом.

Мое общество почему-то их очень интересовало. Они, конечно, были уверены в том, что все эти убийства совершил именно я со своими подельниками, вот они как бы и восхищались моим терпением и мужеством, зная, как меня пытают, а я не говорю ни слова. То же самое думали и сами надзиратели, иначе и внимания такого ко мне не было бы, это ясно. У них были свои критерии в жизни, и я удивлялся порой, как они были схожи с теми, что были святы для таких, как я.

Я несколько раз пытался переубедить и тех и этих, объясняя им, что я вообще не в курсе всех этих дел, но мои ответы они принимали за излишнюю скромность, и мои попытки приводили скорее к обратным результатам.

Глава 15
Как Володя Барский ментов подставил

В общей камере, куда меня водворили, после того как во время пыток у меня пошла горлом кровь, находился, как я уже говорил, только один арестант — Володя Барский. Его привезли тогда из тюрьмы на следственный эксперимент. Он был бродягой и крадуном по жизни, а по «профессии» — домушником. В заключении он находился уже с полгода, но это была не первая его ходка. К тому времени у него их было пять, так что нам было о чем поговорить.

Разделенная с кем-то тюрьма — это уже только наполовину тюрьма. Жалобы, произносимые сообща, — почти молитвы. Молитвы, воссылаемые вдвоем, — почти благодать.

С точки зрения бродяги, исходя из своих личных убеждений, Володя мне пришелся по душе. И хотя я и был в тот момент, о котором хочу сейчас рассказать, немного слеповат, а в полумраке камеры этот фактор удваивается, и почти глух, я все же не ошибся в своих суждениях. Но с самого начала меня смутил один его поступок, да скорее, наверное, даже и не поступок, а обстоятельства, при которых все происходило, в том числе и наше знакомство.

Володя был коренным бакинским евреем, жил с матерью, и никого у них больше не было. Поймали его менты с поличным, что бывает крайне редко, особенно для домушников такого профессионального уровня, каким был Барский, но в его случае это была не редкость, а скорее неизбежность: его же подельник, которому он, безусловно, доверял, и подставил их обоих, рассказав ментам о времени и месте кражи. Он был законченным наркоманом и до этого спалился ментам, приобретая наркоту, вот и сдал легавым своего кореша, тем самым заработав себе прощение, но надолго ли? Однажды переступив черту дозволенности, в дальнейшем такое мразье так и жило двойной жизнью, не имея никакого будущего, пока их кто-нибудь не убьет или пока они сами не крякнут где-нибудь в подворотне от передоза.

Когда Володя рассказал мне вкратце всю эту банальную историю, связанную с его арестом, я тут же по привычке призадумался, а на какой тогда эксперимент его привезли из тюрьмы в КПЗ, если с делюгой у него было все предельно ясно? Я лежал на нарах на спине и, глядя в потолок, не мог видеть, но чувствовал пронизывающий взгляд Барского. Он лежал рядом на

боку, подперев голову рукой, и ни на секунду не спускал с меня своего внимательного и умного взгляда.

В тюрьме не принято спрашивать — это святое правило обязательно для всех, поэтому я ждал, когда он поймет наконец, рассматривая меня так внимательно, кто я, и расскажет мне продолжение, если, конечно, посчитает нужным. Но пока я думал об этом, камера распахнула свои массивные двери и писклявый голос надзирателя скорей пропел, чем прокричал: «Барский, на выход» Когда же я остался в камере один, то, честно говоря, тут же забыл и о Барском, и о его рассказе.

У меня была куча своих неразрешенных проблем, главная из которых заключалась в вопросе: как выжить? Но вечером Володю привели назад в камеру, он был в заметно приподнятом настроении, некоторое время шутил и рассказал мне массу разных анекдотов, а затем уединился на некоторое время в правом углу камеры. Я по-прежнему лежал в том же положении, что и тогда, когда его уводили. И мне недосуг было следить за его перемещениями. Через некоторое время Барский подошел к нарам, присел рядом со мной и предложил тоном закадычного друга: «Заур, бродяга, давай курнем что бог послал, так просто, как будто мы были всю жизнь знакомы, а сейчас мы не в КПЗ, а на блатхате».

Ясное дело, что в голове у меня тут же пронеслось, а скорее возникло подозрение относительно источника, откуда была взята анаша, и прочие предположения, но, видно, инстинкт опытного каторжанина, повидавшего немало разных людей в заключении, говорил все же об обратном. Мне хотелось по возможности заглянуть в его глаза, но, к сожалению, не получалось. В том месте камеры, где я лежал, света почти не было, если не считать маленькой лампочки, горевшей над дверью, правда, не укрытой решеткой, иначе в камере вообще бы царила сплошная, непроглядная темень.

Не успел я сказать ему «нет», пытаясь аргументировать свой отказ тем, что вообще не курю анашу, особенно теперь, когда у меня чахотка в открытой форме, так что мой ответ не должен его обидеть, как Володя, не дав мне даже рта раскрыть, тут же пояснил все то, что, по его мнению, могло заинтересовать меня и насторожить.

В большинстве своем на всей территории бывшего СССР в практике мусоров того времени существовал метод, если, конечно, его можно было назвать таковым, при котором раскрытие преступлений, в частности квартирных краж, было упрощено до минимума и даже в какой-то степени поставлено на конвейер.

В чем он заключался, я уже описывал в предыдущих главах, но, думаю, стоит немного напомнить о нем читателю.

Заключался он в следующем. Ловили ли домушника с поличным, либо его кто-то сдавал, или еще каким-нибудь образом ему было предъявлено обвинение — все это не имело абсолютно никакого значения. Главным было то, что на свободе он не мог уже оказаться по крайней мере до суда, а этого времени было более чем достаточно для того, что предпринималось далее. Мусора предлагали квартирному вору два варианта. Первый — это пытки до тех пор, пока, не выдержав их, он не подпишет все, что бы ему ни предложили, и второй, при котором он должен был брать на себя множество нераскрытых в этом районе квартирных краж, но за это ему предлагались наркотики на любой выбор, которые хранились в изобилии в сейфах следователей.

Володя избрал второй вариант. Но не был бы он тем, кем был, если бы выбрал этот вариант, испугавшись пыток. Когда менты стали перечислять ему кражи и время, когда он совершал их, Барский обнаружил одну деталь. В то время, когда совершались некоторые преступления, вину за которые ему предлагали взять на себя, он сидел в лагере в Архангельской области, где-то на Пукса-озере.

Сначала Володя хотел было сказать им об этом, но вовремя опомнился и оказался прав — решил сыграть с ментами до поры до времени на одну руку. Что из этого получилось, читатель скоро узнает, а пока он начал брать на себя буквально все, что бы ему ни предложили менты, и даже с удовольствием, как бы предвкушая момент восприятия наркотиков, которые ему обещали за это.

Что же касалось легавых, то они, конечно, на радостях не стеснялись вешать на него все нераскрытые преступления в их районе, по возможности близкие к его воровской профессии, увлекшись этим занятием так, что даже не обращали внимания на время и даты их совершения, — и вот что произошло потом, в результате всего этого на суде. В одном из эпизодов Барский, «с его слов», влез в номер в гостинице «Апшерон» и украл там некоторые вещи, принадлежавшие приезжей чете военных из Украины. Ими оказались генерал одного из отделов украинского КГБ и его бывшая боевая подруга — тогда медсестра, а теперь его старенькая седая супруга.

Но зачем, спрашивается, было ехать генералу такого ведомства в Баку на суд, когда у них всего-то были украдены выходной гражданский клифт генерала, какая-то бижутерия его жены и старый железный портсигар времен Отечественной войны, сделанный из патрона? А дело все заключалось в том, что

портсигар этот был подарен генералу, в 1942 году еще лейтенанту, одним сослуживцем, который вынес его, раненого, в одном из боев на Курской дуге, а сам при этом погиб. Это была память, которую не купишь ни за какие деньги.

Когда судья дала слово генералу, он попросил Барского лишь об одном: вернуть портсигар или сказать, куда он его выкинул, потому что тот не представлял ни для кого другого никакой ценности. Взамен же генерал обещал ему свое содействие. Но каково же было удивление некогда боевого офицера, когда на эту просьбу Барский возразил отказом, аргументируя его тем, что не совершал этого преступления и даже не имеет понятия, кто его совершил, потому что в это время находился в заключении в Архангельской области. Сознался же он потому, что менты заставили это сделать, жестоко пытая и избивая его.

Суд, разумеется, отложили. Проверить показания Барского было делом одного часа. После их подтверждения следователей, которые поставляли ему анашу и терьяк, таким образом пытаясь подняться по службе, поснимали с работы, а самого Володю освободили, даже не обратив внимания на то, что одну кражу он все-таки совершил. Видно, гнев генерала КГБ оказался слишком грозен для этих шавок из Бакинской прокуратуры.

Я не знаю, правда, как сложилась далее судьба Володи Барского, но перед расставанием, а сидели мы вместе с ним в это время в шестьдесят шестой камере второго корпуса «Баилова», я советовал ему тут же покинуть Баку. Внял ли он моему совету, кто его знает. В противном случае его ждала месть местных легавых, а это было покруче пыток испанской инквизиции.

Половину этой истории, которую я описал выше, рассказал мне Володя, вторую же ее половину, кроме Всевышнего, не знал в тот момент никто. Когда в момент его откровений я пытался остановить Володю, он сказал мне, что у него нет повода для того, чтобы скрывать что-то от меня. Вся тюрьма, где он сидит, знает о том, какие муки мы с Лимпусом терпим здесь от ментов, но держимся и не продаем друг друга, хотя на кону у нас стоит жизнь.

— Каким же еще людям можно верить в этом мире, если не таким, как вы? — спросил меня тогда Володя.

Я не стал его переубеждать в том, что я не виновен, а что касается веры, сказал ему прямо:

— Я свято верил только двум людям: маме и бабушке. Сейчас их уже нет на этом свете, поэтому полностью доверять я уже никому не могу, ну а частично — это другой вопрос.

На этом наши беседы, конечно, не закончились. Много о чем мы переговорили за ту неделю, которую просидели в камере

вместе. Затем Барского вновь этапировали в тюрьму, а ко мне подсадили еще кого-то, и еще, и еще, до тех пор пока и самого наконец не отправили в центральную бакинскую тюрьму «Баилова».

Глава 16
Смотрящий по двум корпусам

Это был уже август. В общей сложности только в КПЗ в разных городах я просидел три месяца при допустимом тогда максимуме 13 суток, да и то с разрешения прокурора республики. Кто же разрешал чинить над нами подобный произвол, для нас так и осталось загадкой. Наверно, все тот же прокурор республики или кто-то, кто стоял еще выше, но это уже сейчас не имеет для меня никакого значения. Все равно с такой мрази спрос один — никакого.

С самого начала, еще в карантине, я сидел, как мне сказали надзиратели этого корпуса, в камере, откуда в свое время бежал Сталин, когда был водворен в «Баилова» за свои революционные дела. В ту камеру меня поместили одного, а этап, который пришел со мной, был отправлен в камеру через стенку. У меня уже к тому времени вновь появилось утраченное за время пыток чувство юмора, и я шутил по этому поводу, разговаривая сам с собой, к добру ли такой предшественник, хотя бы и почти сто лет тому назад?

И еще я ломал голову над тем, как умудрился человек, кем бы он ни был, убежать из этого каземата, не будучи невидимкой.

Начало тюремного бытия здесь было уже знаменательным. Что будет дальше? На следующий день я попал по распределению во второй корпус, а еще через день к тюрьме подъехал Тофик Босяк, один из бакинских воров в законе, и доверил мне смотреть за положением в двух корпусах — первом и втором. Всего в «Баилова», как и в Бутырках, было шесть корпусов, и так же, как и там, здесь один корпус был корпусом смертников. В «Баилова» им был пятый корпус, что касается Бутырок, то в ней был не корпус, а коридор — «аппендицит» под номером шесть.

С одной из сторон второго корпуса «Баилова» можно было разговаривать со свободой, когда оттуда подъезжал кто-нибудь, правда, приходилось кричать, но это было даже кстати, ибо контингент тюрьмы, услышав от вора имя положенца, никогда не позволит себе никаких сомнений в его компетенции. Сообщение, естественно, слышали и менты, впрочем, и это было на руку ворам, ибо и менты таким образом становились ручными.

«Баилова» того времени была тюрьмой, о которой мог мечтать всякий заключенный ГУЛАГа. Почти в любое время суток, имея деньги, арестант мог себе позволить множество запрещенных вещей: пойти к другу в гости в камеру после

поверки, иметь хорошее курево, чай, наркотики, продукты питания… Все это можно было заказать с воли, при желании — даже женщин. Были бы деньги, за них здесь почти все продавалось и покупалось. Но за такими делами в тюрьме всегда нужен воровской глаз, чтобы все было по возможности честно и благородно — по-воровски.

Вот я и осуществлял эту непростую миссию. У меня была возможность почти в любое время выходить из камеры и ходить по двум корпусам туда, где требовалось мое присутствие. Естественно, при этом я всегда вел себя прилично, положение обязывало меня не употреблять наркотики, спиртное, не быть предвзятым и пристрастным ни в чем и ни к кому, даже по отношению к родному брату, окажись он вдруг рядом.

Время в тюрьме, как обычно в таких случаях, летело незаметно. Когда ты занят вопросами общакового характера, эти проблемы не всегда позволяют даже выспаться, будто ты работал в три смены без отдыха. Иногда можно перепутать даже дни недели и числа месяца.

Меня ожидал смертный приговор, и тюрьма для меня, безусловно, была душевным бальзамом. Она лечила от меланхолии и скуки, от мыслей, которые неотступно следовали за мной, где бы я ни был и что бы ни делал. Время, которое я провел в «Баилова», даже не знаю почему, стало для меня особенно памятным. Скорее всего, в тот период в моей душе произошла какая-то переоценка. Наверно, после пройденных испытаний и еще предстоявших в будущем мук я стал смотреть на жизнь совершенно иначе.

Ко мне несколько раз приходили разные следователи из разных прокуратур, один раз даже приехал заместитель прокурора Дагестана. Приводили десятки свидетелей, которые на разных очных ставках утверждали, что это именно меня они видели в том или ином месте, связанном с тем или иным убийством. Я уже так привык к их ответам, что даже абсолютно не реагировал на них, молча наблюдая за их мышиной возней и ничего по-прежнему не подписывая. Будто в кабинете, в котором я подвергался допросу или очной ставке, меня вообще не было.

Но в тюрьме меня ни разу не тронули даже пальцем. Здесь у легавых был уже другой этап следственной работы. Убедившись в том, что признательных показаний от нас не добиться, мусора поменяли тактику. Теперь у них шла полным ходом работа со свидетелями и разного рода экспертами, но главного, что нужно было, чтобы человек предстал перед судом, — улик — у них до сих пор не было, да и в принципе не могло быть. Я знал это, но так же хорошо знал и то, какие силы правоохранительных

органов двух республик были задействованы для того, чтобы мы не только предстали перед судом, но и были осуждены, и на этот счет не тешил себя иллюзиями.

Глава 17
Выжить, чтобы не жить…

Когда в конце ноября меня перевели в другую бакинскую тюрьму, «Шуваляны», которая находилась на окраине города и где сидели в то время оба моих подельника, я понял, что дело наше вошло в заключительную фазу, значит, скоро должен начаться суд. Я вновь не ошибся в своих прогнозах. Но и здесь до суда пришлось посидеть еще несколько месяцев, пока, по мнению следователей, они не собрали полную обвинительную базу против нас, за исключением одной «мелочи» — хотя бы единственной маленькой улики…

За то время, пока мы ждали суд уже все вместе в «Шувалянах», произошло событие, которое запомнилось нам с Лимпусом надолго. Думаю, что тот урок, который нам был преподан, мы усвоили на всю оставшуюся жизнь.

В один из обычных будних тюремных дней меня вызвали в очередной раз к следователю. Здесь, так же как и в «Баилова», следователи несколько раз приходили к нам и проводили вся кого рода недостающие экспертизы. Например, сажали у горячей печки-буржуйки, пока я не истекал потом, а затем один из следователей давал мне чистый кусок белого батиста, чтобы я вытирал им пот. Потом этот придурок запихивал пинцетом эту тряпку в банку, писал на ней мое имя и дату и опечатывал ее. «Если ты находился в помещении хоть десять лет тому назад, — говорили они мне, — эта экспертиза покажет твое пребывание там».

Так вот, проходя по узкому коридору старого, царских времен одноэтажного здания тюрьмы «Шуваляны», я вдруг увидел знакомый образ женщины, сидящей на диване с книгой в руке. Зрение мое еще не было достаточно восстановлено после пыток, в коридоре был полумрак, да и кто бы мне дал остановиться, чтобы я смог получше ее разглядеть? Но уже в самом скором времени мне представилась такая возможность, даже более того, я смог с ней поговорить. Ну а пока разводной надзиратель завел меня в кабинет и тут же вышел оттуда.

За столом сидели Расим, Борис Доля и еще два бакинских следователя, имен которых я тогда не знал. В дальнем углу на диване сидел еще кто-то. Я плохо видел, да и ни к чему мне было напрягаться, чтобы разглядеть того незнакомца. Кто из порядочных людей мог находиться среди этой своры легавых псов? Меня пригласили присесть и начали, как обычно, «мило

шутить». Юмор, конечно, соответствовал их интеллекту. Я давно привык к такому развитию событий на допросе, поэтому и в этот раз, как обычно, молча рассматривал трещины на противоположной стене и не обращал никакого внимания на этих недоносков.

В один момент Расим перестал смеяться и неожиданно резко, выплеснув из своего жала яд, сказал мне:

— Все, Заур, вы с Лимпусом уже спеклись, как сдобные булочки. Теперь шансов на то, чтобы вас не расстреляли, — ноль.

Наступила тягучая пауза, при которой вся свора смотрела на меня и заговорщически молчала. Это было что-то новое в их поведении и методе допроса, но тем не менее я не проронил ни слова, будто и не слышал вовсе, что обращаются именно ко мне.

— Слышишь, ты, ну-ка иди сюда, урод, — вдруг услышал я, как Расим, неожиданно прервав паузу, обратился к тому незнакомцу, что сидел в углу на диване.

Когда невысокого роста, согнутый чуть ли не в три погибели человечек молча приблизился к столу и сел напротив меня, я не поверил своим глазам. Передо мной сидел Алик Мерзик, с которым как я, так и Лимпус воровали вместе, которого мы считали своим другом и с которым я даже тянул вместе срок в Орджоникидзе. Но поразило меня не столько то, что он сидел напротив меня, а то, каким тоном эта мразь Расим обратился к нему. Все знали Мерзика как порядочного и дерзкого крадуна, который никогда и никому не спустил бы такого к себе обращения. И что я слышу?

После некоторого замешательства, которое я при всем желании не смог скрыть от легавых, мне все стало ясно. Я жил в таком мире, где подобные поступки не были редкостью, но в своих кругах, а эту мразь я считал когда-то человеком своего круга, они все же были единичны. Что же произошло дальше? Забегая немного вперед, следует рассказать читателю один эпизод, который лег в основу показаний этого ничтожества.

В то время мы находились с Лимпусом в Махачкале по каким-то срочным делам, приехав на несколько дней из Москвы. Это было приблизительно за год перед описываемыми мною событиями. Мы узнали, что освободился Мерзик и приехали к нему домой, чтобы оказать ему уважение, как бродяги бродяге, — в общем, как принято в нашем мире. Привезли с собой наркотики, конечно же, были при хороших деньгах и не преминули поделиться ими с этой мразью.

Увидев у нас за поясами пистолеты, когда мы на кухне варили «ханку», Мерзик задолбал вопросами, которые в преступном мире порядочные люди не задают никогда. Когда мы

вышли от него, я обратил на это внимание Лимпуса, на что тот мне ответил:

— Да ты что, братуха Заур, он же свой, мало ли, только откинулся, видит, лаве у нас хорошее, фигуры в придачу, ну и запарился немного.

— В том-то и дело, Абдул, — парировал я, — на свободе еще, может, кто-то и запарится, офраереет немного от сытой жизни, это может быть, базару нету, но только что вернувшийся от хозяина бродяга не может откинуться запаренным, иначе он не был среди людей, а значит, и не был тем, кем мы привыкли его считать.

Вот такой разговор произошел у нас с Лимпусом, и спустя год я убеждаюсь, к великому сожалению, как я тогда был прав. Оказывается, я участвовал в очной ставке со свидетелем, которая велась в соответствии с регламентом подобного мероприятия: он сказал, я спросил и прочее.

Я не говорил ни слова, молча слушая, как это ничтожество стелет заученными у мусоров фразами, и думал. Не удивлялся, нет, — этот момент уже давно прошел, просто думал. Сколько же эта падаль может намутить воды среди людей — ведь никто, по-видимому, не знает, кто он, а мы, возможно, уже не сможем ни с кем пообщаться.

Ход моих мыслей неожиданно прервал Расим, остановив Мерзика на полуслове, видно поняв, что я его вообще не слушаю, думая о чем-то своем.

— Есть вопросы, Зугумов?

— Только один, начальник.

— Ну давай спрашивай.

Все уставились на меня с неподдельным интересом, им, видно, было любопытно, что же за вопрос я задам этому ренегату.

— Скажи, Мерзик, ты знаешь, что своими показаниями подводишь нас с Лимпусом под вышак? — спросил я его как бы ненароком, безучастно, сам удивляясь собственному спокойствию.

Он долго молчал, видно, мое поведение произвело на него сильное впечатление. Чувствовалось, что он ожидал иной — взрывной и бурной — реакции и подготовился к ней, а столкнулся с полным безразличием. Пауза явно затянулась, и Расим стал торопить его с ответом, но тот упорно молчал, глядя куда-то мимо меня. Тогда я наконец сказал ему:

— Видит Бог, Алик, я согласился бы еще год просидеть в таких нечеловеческих условиях, чтобы только поприсутствовать на вашей с Лимпусом очной ставке.

Лишь тогда он распрягся, обругав и меня, и Лимпуса. Я хотел

было ответить ему как положено, но не успел — резкий, но несильный удар Расима возвратил меня на стул.

На этом, к сожалению, как представление, так и удивления мои не кончались. Следующим свидетелем была женщина, которая сидела в коридоре с книгой. Сообразуясь с воровской этикой, в кругу босоты спроса с женщины ни за какой проступок не бывает, я не хочу называть ее имени, тем более что она — моя соседка и ныне здравствует. Я простил ее, тем более что она и сама впоследствии хлебнула немало горюшка.

Больше никаких сюрпризов ни со стороны легавых, ни со стороны свидетелей до самого суда не было, если не считать огромного количества наседок, которых мы с сокамерниками тут же вычисляли и, когда успевали — обезвреживали их, а когда нет — они успевали выламываться с хаты.

Глава 18
«К исключительной мере наказания»

Когда перед отправкой в суд я встретился в «воронке» с Лимпусом, то не поверил своим глазам. В моих братских объятиях оказался измученный и больной старик. А ему было тогда всего 27 лет! Как же должен был выглядеть тогда я, если был на 12 лет старше Абдула и страдал тяжелой, открытой формой туберкулеза? Да, обстоятельства нас не пощадили. Третий подельник — Иса молча сидел в самом углу «воронка» и ни на что не обращал внимания. Я поздоровался с ним, как и положено, пытался заговорить, но все было тщетно — он меня не видел даже в упор.

Сколько злости было тогда в моей душе, один Бог знает. Работягу, человека честного и порядочного во всех отношениях, каким все знали Ису по свободе, эти твари пытками довели до помешательства. Как тут было не злиться?

В первый день, когда нас доставили в суд и началось слушание дела, я с неподдельным интересом и вниманием слушал речи судьи, прокурора и прочих действующих в этом поистине драматическом спектакле лиц, но в последующие дни судебных заседаний, а их было всего семь, интерес к ним у меня да и у Лимпуса пропал.

Говоря языком комментаторов футбольных матчей, «игра шла в одни ворота». Оскорбления, крики и угрозы со стороны родственников потерпевших, мольбы и просьбы женщин о том, чтобы нам непременно дали расстрел, были пустяками по сравнению с тем, какой произвол творили судья с прокурором. Я не был этим ни удивлен, ни тем более поражен, но Лимпус, не выдержав, начал оскорблять их так, что судье на время пришлось объявить перерыв.

В этой связи мне вспомнился суд в Коми АССР, когда меня крутили за побег, двенадцать лет тому назад. Я думал тогда, что круче беспредела со стороны суда быть не может. Теперь я понял, как я ошибался. Бывает, оказывается, и еще хуже — это когда тебя внаглую подводят под расстрел…

Думаю, нетрудно представить себе, в какой атмосфере проходили следующие дни судебного слушания, пока не наступил последний день, когда судья объявлял нам приговор. Мы стояли и смотрели по инерции прямо в рот этому ничтожеству в мантии. Хоть я давно был готов к этому, все же слушал приговор судьи. Я был недвижим, как статуя на пьедестале, и непроницаем ни для

кого, кроме Всевышнего. Где-то внутри себя я это чувствовал, как никогда оно придавало мне силы, а этого вполне было достаточно для того, чтобы я смог перенести любые удары судьбы.

В зале суда стояла мертвая тишина. И даже тогда, когда судья зачитал нам с Лимпусом смертный приговор, а Исе — 15 лет строгого режима, никто из присутствующих, а их было человек сто, не сказал ни слова, не проронил даже звука.

Всякое великое горе внушает уважение, и еще не было примера, даже в самые жестокие времена, чтобы в первую минуту люди не посочувствовали человеку, на которого обрушилось непоправимое несчастье. Разъяренная толпа может убить того, кто ей ненавистен, но редко случается, чтобы люди, присутствующие при вынесении смертного приговора, оскорбили несчастного, даже если он действительно совершил зверское злодеяние.

При относительной уже тишине солдаты приказали просунуть руки сквозь решетки и надели нам с Лимпусом наручники, а затем вывели по одному из зала суда и тут же загнали в «воронок». Больше Ису мы не видели.

Через несколько часов, пройдя капитальный шмон и прочие процедуры, о которых сейчас даже вспоминать неприятно, нас с Лимпусом водворили в одиночные камеры пятого корпуса смертников. Хоть я и держался на людях, но прошедшая неделя измотала мои нервы полностью, а последний день добил меня окончательно. Как бы то ни было, но все же, до того как я услышал приговор судьи, какая-то надежда еще теплилась в душе. В общем, я был окончательно разбит и, как только переступил порог своей, ставшей на долгие полгода родной камеры, сразу же прилег на нары ничком, и хотел было забыться, но, не услышав сзади знакомого клацанья дверных засовов и замков, повернул голову в сторону двери.

В узком дверном проеме маячили двое надзирателей. Один из них, что стоял впереди, был здоровый детина, абсолютно лысый и без усов — это редкость среди кавказцев, поэтому я сразу обратил на него внимание, хотя прежде никого из них не видел. Глядя на меня безжизненными, рыбьими глазами, скрипнув своими вставными железными зубами, пригнув жирную шею, на которой ясно обозначились горизонтальные и вертикальные складки, и сжав кулаки, он воскликнул с сарказмом: «Ну вот и все, это твоя конечная станция, следующая будет в аду, через несколько месяцев. Готовься и жди!» Пока этот питекантроп нес всю эту чушь, с наслаждением смакуя каждое слово, второй надзиратель, что стоял сзади и был еще чуть ли не на голову выше первого, долгое время молча рассматривал меня своими

прищуренными глазами, оценивая взглядом, и я вернул ему его взгляд: так пойманный лев мог смотреть на зрителя через решетку клетки. Я так и не ответил им ни на их реплику, ни на взгляд, а просто повернулся к стенке и дал понять, что не желаю иметь никаких дел с такими подонками. Через мгновение дверь с шумом захлопнулась. Не могу объяснить как, но и я тут же буквально провалился куда-то в небытие, — это, оказывается, был глубокий сон, последний сон подобного рода, который я уже не увижу шесть долгих месяцев.

На следующий день, проснувшись, я уже по-настоящему чувствовал себя смертником. Первым делом я осмотрел свою камеру. Накануне я даже не взглянул на нее, настолько нравственные переживания заглушили во мне все, касающееся внешней стороны жизни.

Что же представляла собой камера смертников? Это было серое и мрачное, почти квадратное помещение (4 х 4 м). При входе справа на цепях висели узкие нары, при подъеме их пристегивали к стене огромным замком, а при отбое опускали на маленький табурет, вмурованный в пол. В левом углу от входа — параша, крышка которой была прикреплена к ручке так же цепью толщиной с детский кулак. Между этими двумя непременными атрибутами любой тюремной камеры страны на высоте в два человеческих роста находилось окно, если его можно было так назвать.

Раньше казалось, что окна существуют для того, чтобы в комнату проникал свет, в этой же камере мои представления на этот счет резко изменились, ибо свет из этого окна не поступал вовсе. Несметное количество решеток полностью преграждало свету доступ в камеру. Никогда нельзя было понять, глядя по привычке в окно, какое сейчас время суток: день или ночь? И только строгое расписание быта корпусов смертников позволяло ориентироваться во времени.

Камеру освещала маленькая лампочка, которую я, так же как и дневной свет, не видел ни разу и которая ни разу не перегорела за все то время, что я там находился. Она располагалась где-то высоко над дверью, утопленная в глубокой нише и тоже была зарешечена. Таким образом, в камере царил постоянный полумрак, дававший понять ее обитателю: ты еще не в могиле, но уже и не среди живых. Камера как бы являлась своего рода промежуточной станцией на пути в мир иной.

Сейчас я могу себе позволить иронию по отношению к тамошнему быту, но в то время мне было, конечно же, не до смеха. С самого подъема, как только поднимались нары, начиналось хождение — четыре шага к стене и столько же

обратно до двери. И так каждый день. Мне кажется, что за те полгода, находясь в строгом уединении и вышагивая взад и вперед, я прошагал расстояние от Земли до Луны.

Единственный раз в сутки камера открывалась, когда выводили на прогулку. Это мероприятие всегда проводилось после отбоя. Открывалась кормушка, я просовывал в нее обе руки, на них защелкивались наручники, и только тогда открывалась дверь. На прогулку меня всегда сопровождали трое: один офицер и двое солдат внутренней службы, которые давали многолетнюю подписку о неразглашении места службы. Со стороны могло показаться странным, что четыре человека, шагая по коридору, не издают даже малейшего шума. Объяснение же заключалось в том, что пол в коридоре был покрыт толстым, толщиной в две ладони, слоем резины, а сверху еще была постелена дорожка из плотного материала. За исключением раздачи пищи и еще некоторых моментов, в коридоре всегда стояла гробовая тишина.

Связь с внешним миром производилась только через одного человека, но о нем чуть позже. Целый день часовой был обязан бесшумно маршировать взад-вперед по коридору, и он же нас кормил, когда привозили баланду.

Что нужно приговоренному к расстрелу человеку? На мой взгляд, исходя из собственного печального опыта, — две вещи: курево и место для движения. Помимо положенной по закону для подобного рода осужденных осьмушки махорки, которой аккурат хватало на четыре скрутки, из корпусов приносили общак, который я сам еще недавно собирал для этих и других важных тюремных целей. Но доставлял это всегда один и тот же человек, и, как ни странно, этим человеком был сам исполнитель смертных приговоров. Звали его Саволян.

Я на всю жизнь запомнил это имя. Для смертников он был буквально всем. Человек этот был настолько независим, что не подчинялся даже начальнику тюрьмы. Как мне удалось узнать много позже, люди подобного рода занятий всегда подчинялись только Москве и никто, кроме московского начальства, не являлся для них авторитетом. Это была особая категория людей — палачи. Меня очень интересовали критерии, по которым их отбирали, и эта заинтересованность, я думаю, понятна. Я и подобные мне находились в прямой зависимости от этой публики.

Сам Саволян был ниже среднего роста, но хорошо сложен и мускулист. Глубокие морщины вокруг глаз и складки, которые пролегали около носа и рта, выдавали его возраст. На вид ему было далеко за пятьдесят. Хмурый взгляд, дрожащие руки и молчаливость вполне соответствовали его профессии.

Все обитатели смертного корпуса знали, что кормушка открывается четыре раза в сутки — трижды для принятия пищи и один раз для защелкивания наручников перед прогулкой. Дверь же открывалась один раз, и только ночью, — днем она не открывалась никогда.

Самыми тягостными были минуты ожидания прогулки после отбоя. И когда дольше обычного приходилось ждать конвой, мысли в голове проносились как шальные, обгоняя друг друга, ибо время вывода на прогулку совпадало со временем вывода на расстрел.

Прогулочный дворик был окружен высокими стенами, по которым скользили косые лучи мощных прожекторов. Иногда, когда одинокая луна решалась заглянуть в эту бездну нравственного и физического уродства, где бродили вечно озабоченные, угрюмые, бледные как тени люди, над которыми был занесен меч правосудия, сюда заглядывали ее блики. При мне, пока я находился в этом корпусе, расстреляли четверых…

Мне кажется, что смерть человек чувствует каким-то спящим до времени шестым чувством. Какие только мысли не приходили в голову каждую ночь с отбоя и до начала прогулки! Бывало, приходилось подолгу сидеть у дверей камеры и прислушиваться к малейшему шороху, а иногда часами мерить шагами камеру, призывая эту самую смерть как манну небесную.

Я вспоминаю, как с самого моего появления в этой камере я целыми днями напролет просиживал на корточках возле двери. Перед этим, во время суда, когда Лимпус начал ругать всех подряд, а я, естественно, поддержал его, нам немного намяли бока и мне в этом кипише сломали ребро. Так вот, сидя у двери камеры смертников, я даже не чувствовал боли телесной. Ребро так и срослось крест на крест. Много позже, в Туркмении, в городе Чарджоу, когда мне делали операцию по удалению легкого, хирург потом спрашивал меня, в каком же Богом забытом месте я находился в тот момент, когда получил такую травму и мне некому было оказать медицинскую помощь?

Однако страх был сильнее боли. Мне кажется, что казни страшнее ожидания трудно придумать, потому что человек наказывает себя сам, постоянно психологически настраиваясь на неминуемый скорый конец. В моем случае апогеем ожидания этого самого конца были те доли секунды, когда я в наручниках выходил из камеры и внимательно смотрел на руки конвоя — нет ли у них наготове еще одной пары браслетов на ноги. Если кандалов не было, я облегченно вздыхал и успокаивался ровно на сутки: я все еще пребывал в состоянии депрессии, которая неизменно приходит вслед за сильным эмоциональным

напряжением.

Сначала человек, не находя себе покоя, ищет выход в действии, он не в силах сидеть сложа руки и молча ждать развития событий. Затем он доходит до такого состояния, когда страх окончательно парализует его волю и он жаждет одного — конца. Пусть самое страшное, лишь бы скорее конец.

Но вот проходит и этот этап ожидания смерти и наступает новое, доселе неведомое тебе чувство: душою ты становишься похож на старого дервиша-стоика. Так, находясь в камере смертников уже достаточно долго, для того чтобы нормальный человек сошел с ума, я почему-то вдруг вспомнил Боэция — римского философа и политического деятеля, который жил в пятом-шестом веках нашей эры. Так вот, когда его по ложному доносу посадили в тюрьму и он, в ожидании казни впадая в отчаяние, призывает смерть, в его темнице появляется величественная дама Философия, которая прогоняет уныние и приступает к утешению — «исцелению» своими средствами. А формой терапии избирается сократическая беседа. Вот так и я, прочитав в свое время достаточно много философских трудов известных миру людей и обладая неплохой памятью, решил последовать примеру Боэция, облачась в старый халат дервиша.

Все эти чувства и преобразования во мне продолжались пять месяцев и двадцать шесть дней, пока на двадцать седьмой день, ближе к вечеру, я не услышал шум открываемой двери, такой непривычный в это время, зловещий и загадочный. Я замер на месте. Каждый день представляя себе этот момент и ожидая его, я, оказывается, не был готов к встрече с ним, когда он наконец пришел.

Так в жизни бывает очень часто. В тот момент, когда надзиратель неожиданно открыл мою камеру и, хмуро насупившись, выкрикнул: «Зугумов, на выход» — я как бы раздвоился. Один Заур сказал: «Все, это конец…» Другой не говорил ничего — он, затаив дыхание и таинственную надежду, молчал. В ушах у меня звенело.

Для приговоренного к смерти всякий приказ, смысла которого он не понимает, ведет к месту казни. Говорят, что идущие на смерть видят перед собой события их прошлой жизни, подобно разворачивающемуся свитку. Люди, говорящие так, не лукавят. Именно тогда, в тот момент, я понял и в полной мере ощутил, что последней умирает именно надежда.

Словарь

Абвер — оперативная часть (отдел) в местах лишения свободы. Слово употребляется с середины XX века только в местах лишения свободы, преимущественно на северных командировках. В колониях центральной части России, а также на Кавказе и в Средней Азии — «кум-часть». «Судя по отзывам мужиков, эта падла стопудово пахала на абвер».

Анаша — высушенный и перемолотый куст конопли с листьями, стеблями и головками растения после снятия пыльцы (гашиша). Хотя это слово южного происхождения, его с дореволюционных времен употребляют во всех регионах страны, кроме южного, поскольку в республиках Северного Кавказа, Закавказья и в Средней Азии говорят: «план». Не следует путать с гашишем. *«Пара напасов этой анаши сводили курильщика с ума».*

Балан — бревно. Слово употребляется с 1930-х годов только в местах лишения свободы, в основном, на лесных командировках, на всей территории бывшего СССР. «По сплаву баланы шли вниз по реке Вычегда на нижние командировки».

Барыга — 1. Спекулянт-перекупщик, торгующий товаром, который пользуется особым спросом в преступном мире: наркотиками, драгоценными камнями, золотом, антиквариатом и другими вещами. Слово употребляется с середины XX века, только на свободе на всей территории бывшего СССР. *«Предлагая товар, барыга все время поглядывал по сторонам, опасаясь запала».* 2. Спекулянт в местах лишения свободы, торгующий не только наркотиками, но и любым товаром, который пользуется спросом: чаем, табачными изделиями, валенками, спецовкой, постельными принадлежностями и спиртным. Слово употребляется с середины XX века, только в местах лишения свободы, на всей территории бывшего СССР. *«Каким Хаим был центровым барыгой на зоне, таким стал и на районе».*

Бирка — 1. Пистолет. Слово употребляется с середины 1970-х годов на свободе, в основном, в российской части бывшего СССР. «На стрелку (см.) он пришел с биркой за поясом». 2. Небольшая (5 х 10 см) табличка с фамилией осужденного, прикрепленная к его шконке. Слово употребляется с начала 1960-х годов, только в местах лишения свободы, на всей территории бывшего СССР. «На ночной проверке в бараке зоны ДПНК обязан проверить соответствие фамилии осужденного фамилии, написанной на бирке, прикрепленной к его кровати». 3. Нагрудный знак осужденного (3 х 7 см), написанный хлоркой на черном клочке материи. Слово употребляется с начала 1960-х

годов, только в местах лишения свободы, на всей территории бывшего СССР. «Осужденный» без бирки на груди может тут же загреметь под крышу.

Блатняк — вор в законе.

Бозар — босяцкий разговор, непринужденная беседа. Не путать со словом «базар». Слово употребляется с начала 1960-х годов на всей территории бывшего СССР. *«Между ними шел бозар за территорию рынка».*

Бродяга косо не насадит — «бродяга» не сделает ничего такого, что бы могло идти в разрез с воровскими понятиями.

БУР — барак усиленного режима. Камера, рассчитанная на несколько человек, находящаяся на территории колонии, или за ее пределами. После Указа от 1961 года в него водворяли осужденных, нарушивших режим содержания (на срок до шести месяцев — на общем, усиленном и строгом режиме и на год в одиночной камере — на особом режиме). БУР отличался от карцера тем, что питание здесь было общее, то есть, такое же, как и в колонии, а после отбоя, когда отстегивались нары, заключенным выдавали матрасы на ночь. Аббревиатура употреблялась с начала 1930-х вплоть до конца 1960-х годов, когда была заменена аббревиатурой «ПКТ», в местах лишения свободы, на всей территории бывшего СССР. «Почти год кряду, через матрас, я просидел в БУРе на подсосе».

Верьверью — замысловатый обман.

Вкуривать — слушать и усваивать.

Втыкалы — карманные воры.

Выстегнулись — уставшие заснули.

В цветняк — абсолютно точно. Словосочетание повсеместно употребляется с дореволюционных времен. «Он в цвет угадал мусорские действия».

Головной — одна из трех зон, в которой находилось руководство, больница и т. п. учреждения, которые объединяли три лагеря.

Гомон — кошелек.

Гребень — гомосексуалист.

Грев , или **подогрев** , — запрещенные к хранению вещества и предметы (наркотики, шприцы, спиртные напитки, деньги, драгоценности), а также продукты питания и предметы первой необходимости, переправленные в места лишения свободы. Слова употребляются с начала 1960-х годов на всей территории бывшего СССР. «Присланный с воли грев мы сразу же распределили между братвой».

Движения , или **движха** , — продвижение какого-либо дела. Слово употребляется с начала 1930-х годов, в основном, в местах

лишения свободы, на всей территории бывшего СССР. «Несмотря на то, что я получал из Верховного суда и других инстанций откровенные отписки, зато появилась хоть какая-то движуха».

ДВК — детская воспитательная колония.

Домушник — квартирный вор.

ДПНК — дежурный помощник начальника колонии, заступающий, как правило, на сутки и осуществляющий непосредственный контроль над ситуацией в зоне, заменяя начальника учреждения. Аббревиатура употребляется с начала 1960-х годов, в основном, в местах лишения свободы, на всей территории бывшего СССР. «ДПНК обязан присутствовать под крышей во время вывода БУРовских на прогулку».

Дубак — сторож.

Жулик — вор в законе.

Жиган — вор в законе.

Загрузиться — 1. Добровольно взять на себя как свою вину, так и вину подельников. Это может произойти по двум причинам: или преступник — человек, живущий по воровским законам, или паровозу почему-либо выгоден именно такой следственный расклад. Слово употребляется с начала 1930-х годов на всей территории бывшего СССР. «По делу с Серым шли малолетки, так что ему пришлось загрузиться, чтобы отшить их от делюги». 2. Когда рядом нет воров, взять на себя ответственность положенца с тем, чтобы разрулить ситуацию.

Засухариться среди воров — выдавать себя не за того, кто ты есть на самом деле, среди воров.

Затарить — спрятать.

Кабур — небольшое отверстие, проделанное в стене, в полу или в потолке камеры. Пробивают кабуры черенком от алюминиевой ложки — единственным доступным в тюремных условиях инструментом. При обнаружении кабура надзиратели приводят рабочих, которые тут же заделывают отверстие цементом, но через какое-то время оно появляется вновь. Слово употребляется с начала 1930-х годов, в основном, в местах лишения свободы, на всей территории бывшего СССР. «Если в тюремной камере нет кабура, значит, живут в этой хате черти».

Карманник — карманный вор.

Кацебурка, бендешка — будка или сторожка на бирже или в тайге, на повале.

Кешарь — передача, посылка.

Колода стир — колода лагерных карт.

Кореш — друг.

КПЗ или **ИВС** — камера предварительного заключения или изолятор временного содержания.

Ксивота — документы: паспорт, военный билет и т. д.

Кубатурить — думать.

Легавые — милиция или администрация тюрем и лагерей.

Лепила — медбрат из заключенных, не смыслящий в медицине.

Лушпайки — очень старые стиры.

Малява — записка, тонко скрученная в целлофан и запаянная со всех сторон.

Мануфта — предмет одежды.

Майданщик — вор, орудующий по поездам.

Маяк — условный сигнал.

Маякнул — дал знать жестом, мимикой лица или выражением глаз.

Медвежатник — вор, специалист по вскрытию сейфов.

Напас — один раз или пару напасов чифира, что означает — сделать пару глотков чифира или пару затяжек курева.

Ничтяк — хорошо.

Обиженные — люди, совершившие неисправимые проступки в заключении и сурово наказанные за них.

Общак, общее — своего рода касса взаимопомощи, существующая внутри того или иного криминального сообщества. Это понятие бытует в преступном мире страны со времен первых беспризорников, живших общинами и сваливавших все награбленное и наворованное в одну кучу, и как нельзя лучше отражает один из главных неписаных воровских законов. Его неукоснительно придерживается основная часть преступного мира. В местах лишения свободы не принимают лишь взносы от ментов и обиженных. При необходимости помощь от общака оказывается как самим преступникам, независимо от того, где они в данный момент пребывают: в местах лишения свободы или на воле, так и людям, в той или иной мере соприкасающимся с преступным миром. Слова употребляются с дореволюционных времен. *«Если нет общака, то нет и воровского хода, поскольку одно от другого неотделимо». «С той делюги они отстегнули на общее немалую копейку».*

Парчак — одна из самых презираемых категорий сидельцев на взросляке. Униженный, грязный и неряшливый человек, зачастую страдающий венерическими заболеваниями. Это, как правило, отчаявшиеся и опустившиеся люди, на которых кроме заключения под стражу обрушилась еще масса, по их мнению, неразрешимых проблем. Слово употребляется с середины 1930-х годов, в основном, в местах лишения свободы, на всей территории бывшего СССР. «Став парчаком, он не выдержал и покончил с собой».

Перевертыш или **сухарь** — негодяй, выдающий себя под чье-то воровское имя (на их судьбе стоял крест).

Перевести на тройку — перевести на одну из трех расположенных рядом зон под номером 3.

Подельники — лица, проходящие по одному и тому же уголовному делу.

Положенец — осужденный, который исполняет в местах лишения свободы функции вора в законе. Такой человек должен обладать всеми качествами вора и не быть им лишь в силу своего возраста. Дело в том, что бродяги старше сорока лет редко поднимают свой вопрос, но их авторитет, как правило, соизмерим с воровским. Слово употребляется с середины 1970-х годов, в основном, в местах лишения свободы, на всей территории бывшего СССР. *«Быть на положении в этой зоне ему доверили урки, которых осудили в крытую* ».

Поселить на деревяшке — поселить на одном из двух корпусов пересылки Весляна. (другой корпус назывался «бетонка»).

Потерсить — поиграть в терс (картежная игра заключенных).

Пребывание на кресту — пребывание в больнице.

Приклюнуть — немного поесть.

Пропуль — кошелек или деньги, украденные и во избежание запала отданные напарнику.

Проходняк — расстояние между нарами или шконками в камере СИЗО, крытой или пересылки, а также в секции барака на зоне. Слова употребляются с дореволюционных времен. «Он подошел к проходняку, ничего не сказав, присел на корточки и стал ждать вопросов».

ПКТ — ПКТ — помещения камерного типа, обычно расположенные на территориях ИК, в которых содержатся злостные нарушители режима. Срок содержания колеблется от двух до шести месяцев в колониях общего, усиленного и строгого режима и до года в одиночной камере — в колониях особого режима. Иногда ПКТ располагается вне пределов колонии. В этом случае его называют «БУРом на отшибе». ПКТ отличается от карцера тем, что питание здесь — такое же, как и в колонии, а после отбоя, когда открываются нары, выдаются матрасы. До 1988 года заключенным, содержавшимся в ПКТ, назначалась пониженная норма питания. Существовал и целый ряд других ограничений (отсутствие постельного белья, запрет на прогулки, переписку, чтение книг, курение, получение посылок и передач). Некоторые из этих ограничений законодательно отменены в 1992 году. Аббревиатура употребляется с начала 1960-х годов, в основном, в местах лишения свободы, на всей территории

бывшего СССР. «Почти год кряду я просидел в ПКТ на подсосе».

Работать на козьих постах — исполнять работу активистов.

Ручечник — карманный вор — универсал, ворующий ручки с золотым пером, номерки от верхней одежды и т. п. предметы.

Свал — возможность уйти от какого-либо наказания. Слово употребляется со времен НЭПа на всей территории бывшего СССР. «С „Белого лебедя“ для вора свал один — только в могилу!» — из речи начальника соликамской тюрьмы при встрече этапа воров в законе.

Свояк — вор в законе.

Скула — внутренний карман пиджака, пальто, куртки.

Спалиться — попасться на преступлении.

Стиры — лагерные карты (самоделки).

Ставщик — из бригады карманников, предоставивший фраера втыкале.

Стакан — в данном случае, промежуток у вахты, между жилой зоной и свободой.

Столыпинский вагон — железнодорожный вагон, специально оборудованный и предназначенный исключительно для перевозки заключенных. В нем находятся те же купе, только без окон. Вместо коридорной стены и двери — решетки. Нары — трехъярусные. Средняя полка откидывается и делается сплошной. Весь вагон изнутри обит жестью. Коридорные окна закрашены и почти всегда законопачены. Конвоируют заключенных офицер, прапорщик и солдаты-срочники. Посадка в «столыпин» происходит под истерические крики солдат и лай собак. Из «воронка» надо мчаться бегом, в вагоне тоже следует передвигаться быстрым шагом. Сначала всех запихивают в одно купе, — по двадцать человек с баулами. Чтобы утрамбовать «пассажиров», задних травят собаками, бьют сапогами. Только когда поезд трогается, в свободном боксе зеков по одному шмонают и расселяют по купе. В сухой паек обычно входили: селедка, черный хлеб спецвыпечки и тридцать граммов сахара. При этом конвойные почти не давали пить, чтобы реже в туалет просились. На оправку выводили два раза в сутки — утром и вечером. По вагону нужно было бежать во весь дух, держа руки за спиной и наклонив голову. Дверь в туалет закрывать было нельзя. За спиной все время маячил молодой солдат, который постоянно орал и торопил. Также проходило и с женщинами — зечками. Приходилось возить с собой полиэтиленовые пакеты, в них зеки мочились, когда становилось совсем невмоготу. Мешки часто лопались, и к махорочному дыму и испарениям нескольких от десятков немытых тел примешивался запах мочи. Ею было пропитано буквально все в «столыпине». Если можно было

заплатить солдатам, то они разрешали арестантам сварить чифирь и приносили кружку воды. Тогда к фекальной вони примешивался дым от горящих тряпок. Окна в коридоре никогда не открывали, это не положено по инструкции. Особенно тяжело приходилось летом: «столыпин» нагревался как сковородка. Зимой были свои трудности. Прибыв на станцию назначения, зеков выгружали на платформу и рассаживали на корточки по трое в ряд. Стоило чуть переменить положение тела, как тут же следовал удар дубинкой по спине. У многих арестантов была плохая одежда, особенно обувь. Сидеть в ожидании машины приходилось минут по сорок. Некоторые бедолаги получали в результате этого обморожение ушей, носа и ног. Конвоиры за случившееся не отвечали. Слово и словосочетание употребляются с конца 1920-х — начала 1930-х годов, в основном, в местах лишения свободы, на всей территории бывшего СССР. «Нас выгружали из воронков на платформу, и под остервенелый рев конвойных собак мы не заходили, а влетали в „столыпин“. Слегка замешкавшись, можно было оставить кусок плоти в зубах разъяренного пса».

Стос — колода карт.

Сходняк — встреча воров в законе (региональный, всесоюзный сходняк), для обсуждения насущных вопросов. Принять в семью, тормознуть, оставить не вором и т. д.

Сука — предатель.

Съем — процедура окончания рабочего дня, проходящая на вахте, расположенной между промзоной или биржей и жилой зоной. Осужденные, построенные пятерками, делают несколько шагов вперед, их обыскивают и только после этого запускают в зону. При этом обязательно присутствует ДПНК, иногда кум, хозяин или режимник. Слово употребляется с конца 1920-х — начала 1930-х годов, в основном, в местах лишения свободы, на всей территории бывшего СССР. «Его закрыли в изолятор прямо со съёма, даже перекоцаться не дали».

Терс — одна из двух самых умных лагерных игр в карты.

Терьяк — опий-сырец.

Торговать — процесс воровства.

Третили — играли в «третья».

Третья — одна из двух самых умных лагерных игр в карты.

Тубанар — туберкулезный корпус, расположенный на территории тюрьмы. Слово употребляется с середины 1960-х годов, в основном, в местах лишения свободы, прежде всего среди малолеток и первоходов, на всей территории бывшего СССР. «На тубанарах всегда было воровское положение, потому что лежало там, в основном, отрицалово».

Урка — вор в законе.

Фартецела, фартяк — атрибут карманного вора, пиджак, целлофановый пакет, газета.

Фарцовщик, фарца — барыга, торгующий запрещенным товаром (импорт и т. д.).

Форточник — вор, проникающий в квартиру обычно ночью через форточку или через окно.

Фраер — одна из трех мастей преступного мира — потерпевший.

Фуфло — неуплаченный вовремя карточный долг.

Фуфлыжник — не уплативший вовремя карточный долг.

Ханыга — спившийся в прошлом преступник.

Хипиш — шум, скандал.

Цинканул — сказал, дал знать при помощи слов.

Щикотился фраер — «фрайер» обнаружил, что в отношении него пытаются совершить преступление.

Ширмач — карманный вор.

Шкар — брюк.

Шконарь — сварная металлическая кровать в местах лишения свободы, в которой вместо пружин используются несколько железных полос. Не следует путать с нарами. Слова употребляются с начала 1960-х годов, в основном, в местах лишения свободы, на всей территории бывшего СССР. «Закрой свой рот, упади на шконарь и чтобы я тебя больше не слышал!»

Шмон — обыск.

Шнифт — глаз. 1. Слово употребляется с середины XX века на всей территории бывшего СССР. «Что ты шнифты опустил, как бикса? Смотри в глаза, когда с тобой босяк разговаривает!» 2. Глазок в двери камеры в тюрьме, на пересылке, в штрафном изоляторе или в ПКТ. Слово употребляется с середины XX века, в основном, в местах лишения свободы, на всей территории бывшего СССР. «Стань на шнифт, Хохол!» 3. Общак, находящийся в каждом отряде зоны. Слово употребляется с середины 1960-х годов, в основном, в местах лишения свободы на всей территории бывшего СССР. «Шнифт в каждом отряде — это положняк для любой черной зоны».

Шнырь — дневальный.

Шпанюк — вор в законе.

Шуляга — шулер.

Чифирь — очень крепко заваренный чай.

Приложение

Справа от меня — начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, подполковник УФСКН по РД Валиева Хасайбат. Слева — оперуполномоченный того же отдела, старший лейтенант Сейфутдинова Надежда Викторовна.

Мои друзья детства. Слева направо: депутат городского собрания Исламов Асадулла, доцент кафедры стоматологической хирургии Газимагомедов Ахмад и

предприниматель Расул Омаров.

Слева направо: мои друзья и коллеги — ответственный секретарь еженедельника «Молодежь Дагестана» Гаджиев Марат, шеф-редактор газеты «Наш футбол» Натик Джафаров и предприниматель Расул Омаров.

В кабинете у друга детства, заместителя начальника колонии № 4 гор. Махачкалы, Магомедова Магомеда.

Слева направо: друзья детства — Сулейманов Шарапутдин (Шульц) и Исламов Асадулла (Асад) — в прошлом известные борцы вольного стиля.

Я после освобождения из КОМИ АССР, моя старшая дочь Сабина и отец.

Я в Кисловодске. Осень 2008 года.

Один из лучших карманных воров Кавказа Володя Карпов (Карп) с подельницей.

На свадьбе друга, слева направо: оперный певец Муксин Камалов, я, лучший скрипач Кавказа Дадаш Дадашев и актер Русского драматического театра, Алексей Тимохин.

Во время визита в колонию общего режима в Шамхал Тюбе (пригород Махачкалы), в качестве журналиста.

В Москве, бригада карманников. Стоят, слева направо: Олег (Осетин) и Серега (Шрам). Сидят в машине: за рулем я, рядом Паша (Пахруша).

На презентации моей книги «Бандитская Махачкала». Апрель 2009 года. Слева направо: старший тренер ф/к «Анжи» Махачкала Артур Пагаев, я и главный тренер Омари Тетрадзе.

Ведущий программы «Русские сенсации» на НТВ Алексей Егоров. Во время визита в Махачкалу в апреле 2008 года.

На презентации моей книги «Бандитская Махачкала». Друг детства, аудитор счетной палаты РД Давидбек Черкесов.

На презентации моей книги «Бандитская Махачкала». Друг семьи, главный редактор журнала «Дагестан» Далгат Ахмедханов.

Плакат с презентации книги «Бандитская Махачкала». Апрель 2009 года.

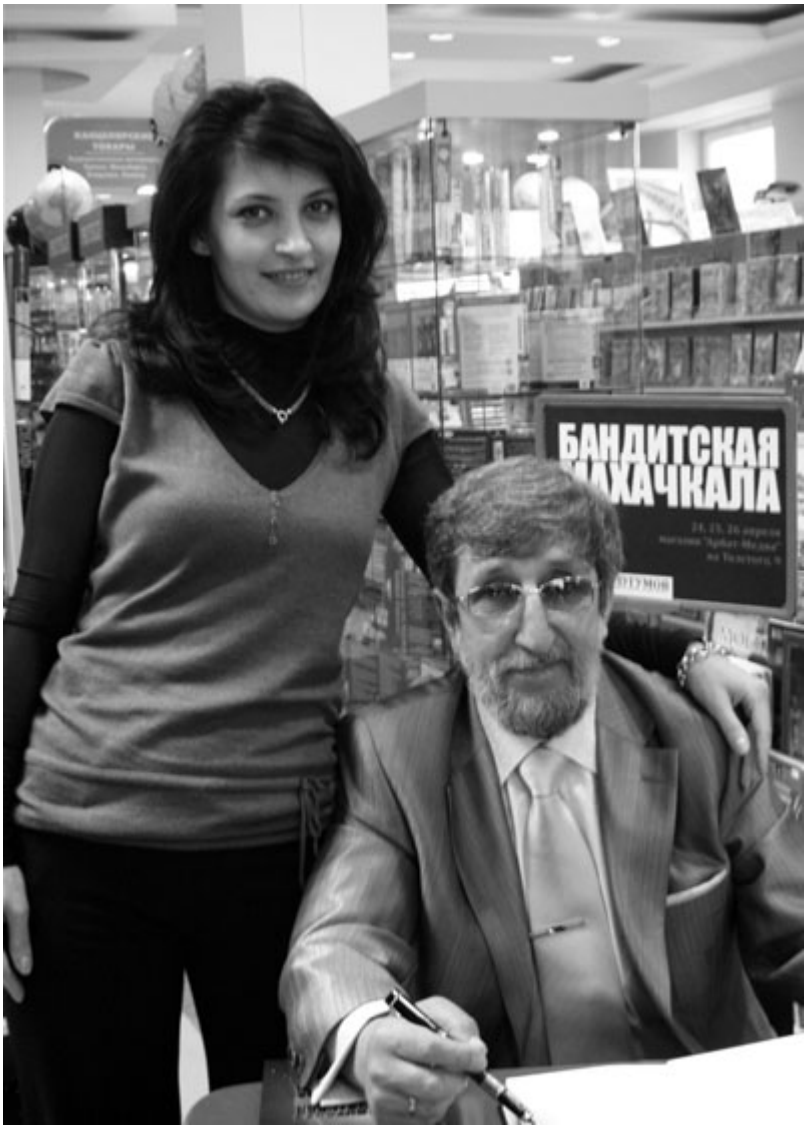
Я дома.

В центре моя старшая дочь Сабина с новорожденным сыном. Слева — внук Алексей, справа — жена Людмила. Роддом Махачкалы. 20 августа 2009 года.

Справа — начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, подполковник УФСКН по РД Валиева Хасайбат. Слева — оперуполномоченный того же отдела, старший лейтенант Сейфутдинова Надежда Викторовна.

Я и мой друг Сережа (Магнит), в ресторане «Теремок» в день моего рождения. 1 июня 2008 года.

Я в ресторане «Теремок» в день своего рождения. 1 июня 2008 года.



Я на презентации своей книги «Бандитская Махачкала». Апрель 2009 года.

notes

Примечания

1

К тому времени, о котором идет речь, Виктор Абвер провел в заключении уже без малого 30 лет без выхода. Он числился за Москвой, а это означало, что он был пожизненно заключен под стражу и единственный путь отсюда для него был путь на погост.

Родом он был из Белоруссии, из очень интеллигентной и влиятельной семьи. Окончив факультет журналистики Минского университета, он, ко всему прочему, прекрасно изъяснялся по-немецки. Война застала его в Германии, он был там в служебной командировке. За несколько дней до нападения на нашу страну немцы его арестовали якобы за шпионские действия, и он находился какое-то время в тюрьме, пока им не занялся Абвер. Он дал согласие работать на немцев. Знание немецкого, безусловно, сыграло решающую роль в его дальнейшей жизни, он стал работать в штаб-квартире абвера, в Берлине, в отделе пропаганды и пробыл там до самого конца войны. Когда же фашисты потерпели крах, он был пойман где-то на границе со Швейцарией и препровожден в СССР, осужден и этапирован в Сибирь. На момент нашего знакомства этот человек совершил уже семь побегов.

2

Здесь и далее см. словарь в конце книги. — *Ред.*

Болтливостью. — *Ред.*